ПК
45
У-18
Уваров П. С.
Типы и нравы
Сахалина. М., 1904

ПК
45
18

ПК
15
У18

П. С. УВАРОВЪ.

Типы и нравы Сахалина.

Изданіе Д. П. Ефимова,
Москва, Б. Дмитровка,
д. Бахрушиныхъ.
1904.

Изданія книжнаго склада Д. П. Ефимова. Москва, Б. Дмитровка, д. Бахрушиных

льтенбергъ, П. „Эскизы". 50 к.
чкасовъ. Пѣсни русскихъ писателей о волѣ. Изд. 2-е, дополненное. 75 к.
— Образцы изящной русской рѣчи. Сборникъ. 1 р.
уэрбахъ. Дача на Рейнѣ. Изд. 2-е. 2 р.
— Три единствен. дочери. Изд. 2-е. 50 к.
ильзе, лейтен. Изъ жизни одного маленькаго гарнизона. 1 р.
раунъ, Лили. Женскій вопросъ. 2 р.
ернштейнъ. Проблемы соціализма. 1 р.
ейерлейнъ, Фр. А. Іена или Седанъ? Романъ. 2 р.
урже, П. Изъ-за любви. 50 к.
— Трагическая идиллія. 1 р. 50 к.
— Дѣловой человѣкъ. 75 к.
— Призракъ. 1 р.
— Этапъ. 1903 г. 1 р. 50 к.
ьернсонъ. Свыше нашей силы. 50 к.
икторовъ П. Ученіе о личности. Изд. 2-е. 1 р. 50 к.
— Новый взглядъ на природу любви и брака. 30 к.
ербицкая. Освободилась. 1 р.
— Преступленіе Маріи Ивановны. 1 р.
огюэ. Го
— Антон
— Макси
артманъ
подъ
уптманъ
рцъ. Аг
соці
ффдингъ
Пер
енисюкъ.
кур
чес
къ
ксромъ
веръ
дэ, А. П
писки Г
„анар
Мошен
скіяп
ля. Нана
Плодор
Трудъ.

Ирвингъ, В. Жизнь Магомета 1 р.
Крестовская, М. Артистка. 2 р.
— Исповѣдь Мытищева. Вопль. 1 р.
— Сынъ и др. разсказы. 1 р.
— Ревность и др. разсказы. 1 р
— Внѣ жизни и др. разсказы 1 р.
Кюльпе. Современная философія Германіи. 80 к.
Ли, Іон. Дочери командора. Ром. Из 2-е. 60 к.
Лухманова. Институтка. Изд. 2-е. 1 р. 25
— Тайны жизни. 1 р. 25 к.
— Избранные разсказы. 1 р.
— 20 лѣтъ назадъ. 1 р. 25 к.
— Вопросы и запросы жизни. 1 р.
— Недочеты жизни современной же щины. 50 к.
Любичъ-Кошуровъ. Братъ человѣчеств 75 к.
Мясницкій И. Проказники. 1 р. 25 к.
— Гостинодворцы. Пов. 2 р.
— Милые люди. Изд. 3-е. 1 р.
— Мануфактуръ-совѣтникъ. 2 р.
— Наши ближніе. 1 р.
— Свадьба и др. разск. 1 р.

р.
3-е. 1 р. 25
-е. 1 р. 50
мор. сб. 1
ники. 1
е. 1 р.
антикова
р.
. 1 р.
р.
2 р.
. сб. 1 р
б. 1 р.
ин. Пiес
ъ. 1 р.
й. 1 р.

3. ф.
9-18
686/2

І. С. Уваровъ.

Типы и нравы Сахалина.

БИБЛИОТЕКА
ПОГАШЕНО
ПРОВЕРЕНО
ПОГАШЕНО

Изданіе книжнаго склада Д. П. Ефимова. Москва, Б. Дмитровка, д. Бахрушиныхъ.

1904.

Изданія книжнаго ск

льтенбергъ, П. „Эски
чкасовъ. Пѣсни рус
волѣ. Изд. 2-е,
— Образцы изящно
Сборникъ. 1 р.
уэрбахъ. Дача на Ре
— Три единствен. до
ильзе, лейтен. Изъ
ленькаго гарн
раунъ, Лили. Женск
ернштейнъ. Проблем
ейерлейнъ, Фр. А. І
Романъ. 2 р.
урже, П. Изъ-за л
— Трагическая иди
— Дѣловой человѣк
— Призракъ. 1 р.
— Этапъ. 1903 г. 1
ьернсонъ. Свыше на
икторовъ П. Ученіе
2-е. 1 р. 50 к.
— Новый взглядъ
и брака. 30 к
ербицкая. Освобод
— Преступленіе Ма
огюэ. Го
— Антон
— Макси
артманъ
подъ
ауптманъ
ерцъ. Аг
соці
ффдингъ
Пер
нисюкъ.
кур
чес
къ
ероміъ
веръ
дэ, А. П
писки П
„анар
Мошен
скіяп
ля. Нана
Плодор
Трудъ.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
488262

Товарищество типо-литографіи Владиміръ Чичеринъ въ Москвѣ,
Марьина роща, соб. домъ.

Государственная публичная
историческая библиотека

Надзиратель Воробей.

Полицейскій надзиратель Францъ Воробей — старый сахалинскій волкъ; много видалъ онъ на своемъ вѣку; много начальства смѣнилось при немъ въ ** скомъ округѣ изъ-за всевозможныхъ „недоразумѣній“ и по казеннымъ, и по частнымъ дѣламъ, но, несмотря на то, что почти въ каждомъ изъ этихъ дѣлъ Воробей игралъ одинаково видную роль съ тѣмъ-же начальствомъ, онъ всегда выходилъ изъ воды „сухенькимъ“.

Живетъ Воробей въ порту въ собственномъ домикѣ въ слободкѣ, носящей неоффиціально названіе Пузыревской отъ имени богатаго мѣстнаго торговца, бывшаго каторжнаго Кузьмы Пузырева.

Съ годъ тому назадъ Воробей женился на дѣвицѣ свободнаго состоянія Ненилѣ Митрохиной, и, какъ слышно, въ настоящее время у него уже что-то родилось...

По происхожденію литвинъ, онъ за время жизни своей на Сахалинѣ выучился хорошо говорить по-русски, и особенно усвоилъ

себѣ русскую ругань, съ которой такъ сроднился, что не можетъ слова сказать, не приправивъ его „сногсшибательнымъ“ выраженіемъ.

Даже въ разговорѣ съ начальствомъ, кстати сказать, относящемся къ нему съ особенной „нѣжностью“ и уваженіемъ, Воробей по забывчивости ввертываетъ такія словечки, отъ которыхъ вчужѣ становится неловко даже и каторжнымъ—людямъ, привычнымъ къ „выразительной“ русской рѣчи. Воробей, однако, не можетъ испытывать деликатнаго чувства неловкости за игривые обороты своего слова, потому, что его ухо уже не улавливаетъ излишнихъ „порожденій“ языка...

Воробей—домовитый хозяинъ.

Несмотря на то, что онъ получаетъ всего двадцать два—двадцать три рубля жалованья, онъ ухитряется держать своихъ двухъ лошадокъ, штукъ шесть свиней и цѣлый птичій дворъ, чего здѣсь не можетъ имѣть чиновникъ „изъ порядочныхъ“, получающій сто—полтораста рублей въ мѣсяцъ.

Удивительное дѣло: большинство людей, прибывающихъ на Сахалинъ, превращается въ самый короткій срокъ изъ простыхъ смертныхъ въ „экономистовъ“... Только подобной метармофозой, мнѣ кажется, и можно объяснить быстрое обогащеніе ихъ на этомъ островѣ.

Чѣмъ вызывается эта метаморфоза, точно сказать не сумѣю, но предполагаю, что при-

чиной ея является или сахалинскій „климатъ“, или сахалинская „среда“—среда людей, прошедшихъ и огнь, и воду, и мѣдныя трубы...

Какъ ни какъ, Воробей живетъ очень хорошо...

Кобылка [1]) его не любитъ, за глаза она величаетъ его „жиганомъ“, „крученымъ“, „варнакомъ“ и другими нелестными эпитетами, но, боясь его полновластной руки, конечно лебезитъ передъ нимъ.

Кличка „мордовской хари“,—какъ его тоже называютъ за глаза,—необыкновенно подходитъ къ нему: лѣтъ 47—48, средняго роста, сухощавый, широкоплечій, всегда выстриженный наголо, съ необыкновенно длинной и худой, какъ оглобля, шеей, съ лицомъ, словно судорогой сведеннымъ на сторону, съ кривымъ ртомъ, сложеннымъ въ злую улыбку, вѣчно показывающую двѣ осиротѣвшія десны, зубы изъ которыхъ кѣмъ-то выбиты, съ носомъ, похожимъ на осташевскій башмакъ, съ рѣдкой, торчащей пучками, щетиной вмѣсто усовъ и съ бѣлесоватыми плевками вмѣсто глазъ,—онъ справедливо можетъ называться этимъ именемъ.

Воробей, это — гроза всего **скаго округа; слава о его подвигахъ гремитъ даже далеко

---

[1]) „Кобылка“—новое имя „шпанки“, придуманное ею самою для себя, должно быть, въ насмѣшку надъ своей приниженностью на островѣ; въ этомъ прозвищѣ ясно виденъ намекъ на мебель, представляющую выгодное удобство палачу при отправленіи имъ нѣкоторыхъ экзекуцій.

за предѣлами Сахалина, на материкѣ восточной Сибири.

Когда-то давно попадались и среди представителей „кобылки“ такіе смѣльчаки, которые возставали открыто передъ незаконнымъ деспотизмомъ своего кровопійцы, но всѣ они очень плохо кончали...

На душѣ Воробья много грѣховъ.

Безчисленные разсказы „шпанки“ о его звѣрствахъ свидѣтельствуютъ о томъ, что его руки залиты кровью многихъ невинныхъ людей. Онъ безконечное число разъ привлекался къ отвѣтственности въ уголовномъ порядкѣ и за убійства, и за истязанія, но за недоказанностью преступленія бывалъ всегда оправданъ.

Начальство, какъ я уже сказалъ, всегда любило его, уважало и даже относилось къ нему съ особенной „нѣжностью“. Это, впрочемъ и неудивительно: такого человѣка, какъ Воробей, есть за что любить и уважать!..

Случалась ли въ К—скѣ кража, такъ что вещей не было никакой возможности найти, обращались къ Воробью:

— Хоть тресни, а найди!..

И, дѣйствительно, Воробей не былъ бы Воробьемъ, когда-бъ не отыскалъ пропавшей вещи, — точно изъ-подъ земли выкапывалъ онъ ее.

Промотаетъ ли господскій матеріалъ какой-либо изъ **скихъ пропоицъ-портныхъ или сапожниковъ, обращались къ тому же Воробью.

— Опять подлецъ Черновъ ушелъ по бродяжеству—заявлялъ ему кто-либо изъ чиновниковъ, возмущенный до глубины души тѣмъ, что каналья - портной пропилъ матеріалъ, отданный ему для шитья брюкъ, жилета и тужурки.

И не успѣвалъ чиновникъ кончить своей фразы о необходимости отыскать промотанныя вещи, какъ Воробей, пересыпая свою рѣчь самыми выразительными эпитетами, докладывалъ начальнику:

— Въ вашей тужуркѣ с...ъ с..ъ ушелъ... брюки, васкородіе, съ жилеткой—пьяная его харя!—заложилъ за полъ-бутылки спирта Мустафѣ Кариму, а въ тужуркѣ безъ праваго рукава ушелъ въ Пароантомари, нечесаная с...ь!.. Не извольте... безпокоиться, васкородіе, безъ кословія все найдемъ... Ужъ я ему, мокрохвостой собакѣ!—обыкновенно заключалъ онъ свою рѣчь, съ глубокимъ чувствомъ потрясая въ воздухѣ кулакомъ, и вслѣдъ за этимъ исчезалъ въ выходныхъ дверяхъ кухни.

Заслуживъ такимъ образомъ, благодаря необыкновеннымъ способностямъ къ сыску, любовь начальства, Воробей въ то же время нажилъ себѣ тайныхъ враговъ въ лицѣ своихъ товарищей-надзирателей.

Есть у Воробья, впрочемъ, одинъ другъ среди нихъ: это—Пѣтуховъ; Воробей обдѣлываетъ вмѣстѣ съ нимъ свои „дѣла“ и „дѣлишки“, но, какъ человѣкъ умный, онъ никогда не довѣряется ему сполна, зная про-

дажность друзей, особенно сахалинскихъ. А потому въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, разговорахъ и во всемъ чувствуется много чего-то, словно, недоконченнаго, недосказаннаго...

Пѣтуховъ — здоровенный дѣтина, лѣтъ тридцати трехъ—тридцати четырехъ, брюнетъ, съ большими плутоватыми глазами; онъ тоже женатъ, какъ и Воробей; имѣетъ двоихъ подростковъ-дѣтей; парень онъ, что называется, себѣ на умѣ, любитъ выпить, но любитъ и деньгу скопить, а потому зря лишней копейки никогда не истратитъ,—не истратитъ даже и на такую свою слабость, какъ спиртъ, если бы послѣдняго у него въ домѣ не оказалось въ моментъ желанія „зашибиться стаканчикомъ“.

Онъ любитъ много говорить, но слушать его очень тяжело по той простой причинѣ, что, выражая свои мысли вслухъ, онъ точно переводитъ русскую рѣчь, подбирая слова, на плохо знакомый ему китайскій языкъ, и при этомъ всегда кажется, что онъ дѣлаетъ необыкновенное физическое напряженіе, словно жилу тянетъ изъ себя.

Бабы обоихъ пріятелей, хотя и не особенно любятъ другъ друга, но частенько обмѣниваются между собою продолжительными визитами.

Двѣнадцатый часъ ночи...

На дворѣ стоитъ декабрскій морозъ, градусовъ въ десять. Свирѣпые порывы вѣтра съ моря съ такой силой налетаютъ на жалкіе **скіе домишки, что кажется вотъ-вотъ сметутъ ихъ съ лица земли.

Ночь темная, зги не видать...

Улицы занесены снѣгомъ до верха заборовъ.

Черезъ замерзшее окно избы Воробья, завѣшенное бѣлой сторкой, бѣлесоватымъ пятномъ свѣтится огонекъ во тьму непогоды.

Хозяйки нѣтъ дома; Воробей одинъ.

Облокотясь на столъ локтями, подперевъ ладонями голову, онъ задумчиво уставился стеклянными глазами въ стѣнку передъ собой.

— Не принеси только мнѣ, шкура!.. бродяга несчастная!—ударяя кулакомъ по столу, возбужденно вдругъ восклицаетъ онъ, но снова затихая, погружается въ расчеты:

— Пятьдесятъ семь есть... три Ѳомка с...ь принесетъ—шестьдесятъ; Исайка,—подлая его морда,—пару дастъ—шестьдесятъ два... два... шестьдесятъ два,—машинально шепчутъ его губы.

„До сотни далеко,—думаетъ онъ:—придется приналечь на собакъ проклятыхъ... въ прошломъ году сто двѣнадцать соболей однихъ, да семь крестовокъ, а нынче распустились, чертовы дѣти,—не несутъ. Забыли про меня... такъ я вамъ напомню!..“

„Что-то Ненила запропастилась въ гостяхъ?“—мелькаетъ у него тутъ же въ головѣ.

Безпорядочно разбрасываются его мысли; но снова напрягается его мозгъ, и снова онъ погружается въ расчеты:

— Шестьдесятъ два!.. Если по двѣнадцати съ полтиной... (будь они прокляты,—буду считать шестьдесятъ два соболя!)...—мысленно заключаетъ онъ: — если по двѣнадцати съ полтиной—шестьдесятъ полтинъ—тридцать рублей, да двѣ полтины еще—тридцать одинъ рубль... десять разъ по двѣнадцати — сто двадцать, да тридцать одинъ — сто пятьдесятъ одинъ...

Тутъ, чтобы не сбиться въ счетѣ, онъ зажимаетъ одинъ палецъ:—да еще сто двадцать—двѣсти пятьдесятъ одинъ, двѣсти шестьдесятъ одинъ, двѣсти семьдесятъ одинъ... двѣсти семьдесятъ одинъ рубль...

Зажимается второй палецъ и т. далѣе.

— Семьсотъ семьдесятъ пять рублей,—приходитъ онъ къ заключенію, но, неувѣренный въ правильности своего вывода, начинаетъ счетъ сначала; у него получается семьсотъ пятьдесятъ одинъ рубль; съ раздраженіемъ онъ считаетъ снова и снова, но каждый разъ у него получается новый итогъ...

По улицѣ съ шумомъ проносится сильный порывъ вѣтра; надъ головой Воробья, гдѣ-то на чердакѣ его дома, что-то съ грохотомъ падаетъ, стучитъ, хлопаетъ... въ печной трубѣ раздается протяжный свистъ, стоны, вопли...

Воробей быстро вскакиваетъ изъ-за стола, хватаетъ револьверъ и, прижавшись спиной

въ уголъ комнаты, замираетъ безъ движенія, указательнымъ пальцемъ правой руки нервно нажимая собачку револьвера...

Но вокругъ опять все стихаетъ.

— Онъ... онъ... не даетъ мнѣ покоя...—шепчетъ блѣдный, какъ полотно Воробей.

И вдругъ онъ вспоминаетъ, что сегодня тринадцатое декабря.

Морозъ проходитъ по его спинѣ; на лбу и вискахъ выступаютъ крупныя капли холоднаго пота...

— Проклятая ночь,—шепчутъ его помертвѣвшія губы, — проклятая ночь!.. И какъ я ее отпустилъ сегодня!..

Въ комнатѣ царитъ мертвая тишина; слышно, какъ щелкаютъ искорки, вылетая изъ стекла потухающей лампы... стѣнные часы мѣрно отсчитываютъ свое безконечное: тикъ-такъ, тикъ-такъ, тикъ-такъ...

Воробей не двигается съ мѣста.

Время тянется для него томительно долго.

Лампа все чаще и чаще выбрасываетъ вверхъ едва замѣтную искорку, и свѣтъ ея съ каждой минутой дѣлается все слабѣе и слабѣе.

Съ ужасомъ слѣдитъ за этимъ изъ своего угла Воробей...

Но вотъ по улицѣ проносится новый порывъ вѣтра, на чердакѣ избы что-то опять стучитъ и хлопаетъ... точно десятки ногъ бѣгаютъ наверху надъ его головой, а въ печкѣ раздается душу раздирающій старческій вопль.

„Убей разомъ... не мучай старика“...

Дрожь пробѣгаетъ по всему тѣлу Воробья...

Лампа на столѣ гаснетъ, черезъ ея стекло свѣтится только обуглившійся красный фитиль, бросая едва замѣтный кругъ свѣта на пеструю скатерть стола.

Часы на стѣнѣ жалобно протяжно зашипѣли и вдругъ, словно торопясь, часто, часто закуковали.

Пробило полночь.

— Я къ тебѣ... къ тебѣ пришелъ опять!— слышитъ Воробей надъ самымъ ухомъ слабый старческій шепотъ, и, словно шелестъ осыпающихся сухихъ осеннихъ листьевъ, звучитъ этотъ страшный голосъ въ окружающей тишинѣ.

Волосы на головѣ Воробья подымаются дыбомъ; онъ хочетъ крикнуть, но голосъ не повинуется ему; хочетъ стрѣлять, но рука съ револьверомъ, безсильной плетью повисшая внизъ, не подымается...

И вдругъ онъ чувствуетъ на своемъ плечѣ чью-то тяжелую руку.

— Забылъ меня?—шепчетъ страшный голосъ... И въ лицо, небось, не узнаешь теперь?..

На занавѣскѣ окна рисуются луннымъ свѣтомъ затѣйливыя фрески разукрашенныхъ морозомъ стеколъ. Вѣтеръ на дворѣ затихаетъ, затихаетъ вмѣстѣ съ нимъ и жалобный плачъ въ дымовой трубѣ.

— Смотри сюда, варнакъ! — продолжаетъ

шептать старческій голосъ, и чья-то рука отдергиваетъ у окна занавѣску...

Въ глазахъ Воробья ходятъ зеленоватые и желтые круги; онъ хочетъ бѣжать, но не можетъ шевельнуть ни однимъ членомъ.

Сквозь проталинку замерзшаго стекла виднѣется уголокъ неба; изъ-за разорванныхъ, причудливой формы тучъ глядитъ на землю полная луна, заливая все голубоватымъ свѣтомъ; дробясь безчисленными серебристыми искорками на узорахъ замерзшаго стекла, матовые лучи ея пробиваются въ комнату.

Воробей напрягаетъ всю силу воли, взглядываетъ по направленію голоса и замираетъ: у окна неподвижно стоитъ бѣлый, какъ лунь, старикъ съ туго затянутой веревкой на шеѣ; глаза его вылѣзли изъ орбитъ; часть сѣдой длинной бороды вырвана и виситъ клочьями на лохмотьяхъ арестантскаго халата; правая сторона лица сплошь покрыта запекшейся кровью. Воробей въ страхѣ зажмуриваетъ глаза...

— Узналъ?—шепчетъ старикъ.

— Узналъ!—стонетъ въ отвѣтъ Воробей.

— Помнишь свою веревку?—продолжаетъ спрашивать арестантъ, указывая на свою туго перетянутую шею...

— Помню...

— Ты не оставилъ меня въ покоѣ и въ землѣ... зачѣмъ ты тревожилъ мои старыя кости?.. Ты хоть и не православный, но все-же крещеный... Грѣшно тебѣ!.. Я прощаю

тебя, своего убійцу, въ моей смерти... ты не такъ виноватъ въ моей смерти, какъ тѣ, съ кѣмъ ты меня убивалъ!.. Я прихожу къ тебѣ послѣдній разъ... моя душа мучится безъ поминовенія... Поставь Спасителю свѣчку за упокой души грѣшнаго раба Миколая. Не обижай ради спасенія себя для вѣчной жизни несчастныхъ... и безсловесныхъ людей—арестантовъ... они мертвые люди... обѣщай мнѣ, что ты никогда ихъ не изобидишь ничѣмъ...

— Нѣтъ... нѣтъ... никогда... клянусь тебѣ! — бросаясь на колѣни съ неудержимыми рыданіями всхлипываетъ Воробей и, вздрагивая всѣмъ тѣломъ, ползетъ къ старику облобызать его ноги...

Но въ этотъ моментъ раздается страшный стукъ, и весь домъ вздрагиваетъ точно отъ землетрясенія...

Воробей просыпается ..

Передъ нимъ на столѣ ярко горитъ лампа, въ жарко натопленной комнатѣ царитъ мертвая тишина, только часы мѣрно постукиваютъ, да въ углу ведетъ свою пѣсню сверчекъ...

— Да отопри же, Воробей!.. Чо-ортъ...— ясно доносится до него съ улицы, и вслѣдъ за этимъ кто-то сильно стучитъ въ дверь.

Воробей быстро вскакиваетъ изъ-за стола, за которымъ только что спалъ, кладетъ на себя передъ распятіемъ крестъ слѣва направо, даетъ себѣ крѣпкій зарокъ съ этой минуты, въ память замученнаго убитаго имъ Миколая Печникова, никому изъ арестантовъ

и ссыльныхъ не дѣлать зла и быстро идетъ къ дверямъ, окликая на ходу: „кто тамъ?“

— Свои, дьяволъ!.. полчаса стучимся... не достучаться никакъ... Отпирай лѣшій! — слышатся съ улицы мужской и женскій голоса...

Загремѣла щеколда; дверь распахнулась и въ комнату вошли жена Воробья и Пѣтуховъ, объятые густымъ холоднымъ бѣлымъ паромъ; нѣсколько снѣжинокъ влетѣли за ними съ улицы въ комнату и моментально растаяли на тепломъ полу.

— Насилу дождались... слава тебѣ, Господи!—развязывая платокъ недовольно заговорила жена Воробья.

— Я, братъ, Воробушка, понимаешь...— началъ тянуть изъ себя жилу Пѣтуховъ, многозначительно подмигивая правымъ глазомъ.— Понимаешь того...

Пѣтуховъ, какъ многіе другіе, называлъ его Воробушкомъ.

— Я къ тебѣ... съ ка-а-мерціей... по дѣлу спирта... у меня продала баба, значится, сейчасъ ведро спирта... понимаешь... Ну!.. такъ вотъ. Агѣевъ Федоръ купилъ; понесетъ черезъ мостъ около окружнаго лазарета... перехватывай, иди скорѣе, а не то ускользнетъ... Только чуръ, братъ, безъ надувательства... дѣло на честь вести... десять бутылокъ твои, десять— мои, а то прошлый разъ разсиропилъ водой... ужъ нечего, братъ, нечего отговариваться...

Но Воробей и не думаетъ отговариваться;

онъ съ судорожной поспѣшностью натягиваетъ на себя ватную тужурку.

— Ночь-то лунная?—спрашиваетъ онъ.

— Что лестричествомъ все освѣщено,—отвѣчаетъ Пѣтуховъ. — Вьюга была страсть, а таперичка улеглась, только малость порошитъ... Тепло сразу стало, какъ вѣтеръ утихъ... Ну, вмѣстѣ выйдемъ!.. Я домой, а то, чортъ, Агѣевъ догадается еще, что я тебя подослалъ, а ты, братъ, поспѣшай!.. Завтра увидимся! Да! чуть было не забылъ: банка, мотри, изъ-подъ спирта—моя чтобъ твоя баба не заграбастала! Прощай!..

Съ этими словами Пѣтуховъ заворачиваетъ налѣво, а Воробей почти бѣгомъ направляется къ лазаретному мосту.

„Притаюсь за угломъ купчихинаго сада,—соображаетъ онъ,—а какъ только Агѣевъ взойдетъ на мостъ, я и выйду, какъ ни въ чемъ не бывало, къ нему навстрѣчу... Важно придумалъ... Десять бутылокъ мои... если продамъ ихъ по 2 рубля 75 копеекъ, получу 27 рублей съ полтиной... что жъ, ничего!.. и то хлѣбъ!.. прогуляемся и почти тридцать цѣлковыхъ въ карманѣ! А если еще изъ части этого дурака Пѣтухова бутылки двѣ спереть, да набуравить ему замѣсто спирта воды, такъ и всѣхъ заработаю тридцать пять...

Размышляя такимъ образомъ, онъ доходитъ, незамѣтно для себя самого, до избраннаго имъ мѣста и становится за угломъ забора такъ, что съ моста его не видно.

**вскъ спитъ.

Вокругъ не шелохнетъ. Темныя облака съ золотистыми краями окружаютъ величавую красавицу-луну; загадочно гордо смотритъ она съ высоты небесъ холоднымъ взоромъ на закутанную снѣгомъ землю...

Мелкія и рѣдкія снѣжинки, медленно колеблясь въ воздухѣ, опускаются внизъ... Изрѣдка безшумно дрогнетъ кое-гдѣ вѣтка дерева, беззвучно роняя въ окружающіе сугробы комокъ пушистаго снѣга...

Искрится алмазами бѣлый пологъ земли, сверкаютъ самоцвѣтными камнями его отдѣльныя снѣжинки. Невдалекѣ на зеленыхъ остроконечныхъ куполахъ церкви горятъ позолотою кресты.

— Идетъ старый чортъ... еле ноги волочитъ, дьяволъ!—хихикаетъ Воробей, выглядывая изъ своей засады.—Вотъ и банка за спиной въ мѣшкѣ...

Онъ снова какъ-то скверно хихикаетъ и, прячась за угломъ забора, зорко слѣдитъ за своей жертвой.

Высокій, сгорбленный, худой старикъ, съ длинной сѣдой бородой, въ старомъ арестантскомъ рыжеватомъ халатѣ въ накидку, подходитъ къ мосту. Онъ останавливается на минуту, бережно перекладываетъ свою ношу съ лѣваго плеча на правое, передаетъ конецъ мѣшка въ лѣвую руку, снимаетъ съ себя шапку и, зажавъ ее въ лѣвой же рукѣ, устремляетъ исполненный глубокой вѣры взоръ

Государств. публичная историческая библиотека
Всесоюзное О-во по изучению ссылки
Библиотека
Выбыло
15109

къ церкви и истово крестится. Потомъ, также не торопясь, надѣваетъ шапку на голову и всходитъ на мостъ.

Но едва онъ доходитъ до половины моста, какъ на встрѣчу ему выходитъ изъ-за угла Воробей.

— Господи!.. какъ изъ-подъ земли выросъ, — въ отчаяніи шепчетъ бѣдный старикъ.—Пронеси, Боже, грозу!.. пропадемъ мы со старухой иначе!..

И затѣмъ, поравнявшись съ проходящимъ уже мимо него Воробьемъ, онъ громко и ласково здоровается съ нимъ, снимая шапку:

— Здравія желаю, Францъ Людвиговичъ!..

— Здравствуй,—буркаетъ ему Воробей на ходу, не оборачиваясь.

— Благодареніе Господу! — шепчутъ помертвѣвшія губы старика. Гроза миновала... прошелъ!

И, прибавивъ немного шагу, онъ начинаетъ мысленно читать какую-то молитву.

— Эй! Агѣевъ!—доносится вдругъ въ этотъ моментъ. — Стой-ка, старый хрычъ! Ужъ не спиртъ ли у тебя тамъ?.. Покажь сюда!..

— Что вы? что вы? Францъ Людвиговичъ, отецъ родной!.. Сдѣлайте милость, смотрите!— Поспѣшно снимаетъ старикъ съ плеча ношу, надѣясь хоть этимъ обмануть надзирателя, но Воробья не проведешь.

— Покажь, покажь!—твердитъ онъ свое.— Э!.. э!.. старый чортъ! Банка... керосинъ скажешь, небось?.. А?!

Старикъ готовъ ужъ божиться, что это керосинъ, но Воробей, чтобы разомъ покончить съ нимъ разговоры, быстро вынимаетъ пробку, воткнутую въ вырѣзанномъ отверстіи банки, наклоняетъ всю посудину немного на бокъ, просовываетъ въ нее палецъ, нюхаетъ его сначала, а потомъ пробуетъ на языкъ...

— Твоя правда, чертова перечница, керосинъ! — заключаетъ онъ, возвращая Агѣеву пробку и поднимаясь снова на ноги.

— Керосинъ, керосинъ, батюшка!—необыкновенно довольнымъ, но спокойнымъ тономъ убѣждаетъ его старикъ, торопливо завязывая свой мѣшокъ. Онъ уже готовъ снова взять его на плечи, но тутъ Воробей, разражаясь неудержимымъ гаденькимъ смѣхомъ и пересыпая свою рѣчь самыми игривыми выраженіями и прибаутками, заявляетъ:

— Керосинъ-то... керосинъ!.. отецъ... да только плохой!.. Давай-ка его сюда, я тебѣ, собачьему сыну, ужъ такъ и быть завтра пришлю баночку другого, — хорошаго, фондовскаго!..

И ругаясь и захлебываясь отъ хохота, онъ беретъ мѣшокъ изъ рукъ Агѣева...

— Батюшка!.. Францъ Людвиговичъ, простите окаяннаго меня!.. Послѣдній разъ, видитъ Богъ, никогда больше не буду!.. Отнимете у насъ со старухой корку хлѣба... Все заложилъ татарамъ, что у старухи было, что самъ имѣлъ, все къ нимъ снесъ, чтобы купить эту банку... Пятьдесятъ рублевъ отдалъ!..

Не губите отецъ родной!.. Вѣчно Бога молить будемъ за васъ... — говоритъ старикъ, утирая полой арестантскаго халата полные слезъ глаза,—хоть по міру иди, если не сжалится ваше сердце надъ нами!..

Воробей коротко хихикаетъ.

— Батюшка, Францъ Людвиговичъ! Берите половину себѣ... Богъ съ вами!.. Только начальнику тюрьмы не жальтесь и не дайте намъ со старухою помереть съ голода... — слезно молитъ онъ.

Въ головѣ Воробья проносится мысль, что и старикъ страсть похожъ на Миколу Печникова. Онъ вспоминаетъ свой крѣпкій зарокъ, данный имъ самому себѣ передъ Распятіемъ Христа въ томъ, что онъ не обидитъ отнынѣ ни одного арестанта, и ему почему-то становится необыкновенно весело; онъ долго хохочетъ, глядя старику въ глаза и, наконецъ, со злобой говоритъ:

— Вотъ что, старая стерва, убирайся по добру по здорову, пока ребра тебѣ не переломалъ, а нѣтъ, такъ и въ карецъ попадешь и этого отвѣдаешь!

И онъ энергично подноситъ къ губамъ старика тяжеловѣсный кулакъ.

— Францъ Людвиговичъ, побойтесь Бога!.. какъ-то безнадежно тоскливо молитъ плачущій старикъ.

Но Францъ Людвиговичъ уже положилъ на плечо его банку со спиртомъ, и отвѣтомъ бѣднягѣ служитъ тяжеловѣсная пощечина. Вслѣдъ

за этимъ Воробей быстро поворачивается спиной къ плачущему старику, въ отчаяніи опустившемуся тутъ же на сугробъ снѣга, и, злорадно хихикая и ругаясь, направляется домой.

— Варварскіе глаза твои... недобрые... Кровопивецъ!—доносится до его ушей вопль плачущаго старика.

Но Воробей въ отвѣтъ на это, по-казацки, весело сплевываетъ въ сторону черезъ осиротѣвшія десны своего кривого рта и исчезаетъ направо за угломъ лазарета.

Маркизъ Иванъ Кузьмичъ Ламброзо.

Ссыльно-каторжному Лужкову на видъ лѣтъ тридцать. Это небольшого роста пухленькій блондинъ, съ жиденькими курчавыми волосами, съ коротенькой бородкой à lá Henri, съ голубыми маленькими плутоватыми глазками и вѣчно улыбающимся лицомъ хитраго ярославскаго мѣщанина.

Несмотря на то, что онъ живетъ въ тюрьмѣ и, слѣдовательно, лишенъ всякаго комфорта и долженъ подчиняться ея строгому режиму, онъ всегда жизнерадостенъ и годъ отъ году замѣтно ползетъ внизъ, словно самъ начальникъ ***ской тюрьмы.

Если бы я сказалъ, что онъ очень любитъ выпить, то, пожалуй, я выразился бы неточно, потому что онъ никогда не бываетъ трезвымъ, а самая страсть къ выпивкѣ возведена у него въ степень культа.

Пришелъ Лужковъ на каторгу, какъ онъ увѣряетъ „ни за что“, хотя въ его статейномъ спискѣ и упоминается статья закона, караю-

щая чрезмѣрно энергичныя и смѣлыя ухаживанія за прекраснымъ поломъ.

Какъ ни странно, но при наличности всѣхъ качествъ, отличающихъ въ немъ человѣка жизнерадостнаго, онъ проявляетъ иногда склонность къ задумчивости и сантиментальнымъ мечтаніямъ.

Онъ очень любитъ подолгу со всѣми бесѣдовать. Говоря съ вами о чемъ бы то ни было, онъ всегда сладко зажмуриваетъ глаза, словно котъ на сметану и, видимо, съ удовольствіемъ прислушивается къ своей медоточивой рѣчи.

За свой красивый почеркъ Лужковъ принятъ писаремъ въ К—ское окружное полицейское управленіе на жалованье 8 рублей въ мѣсяцъ, но въ полиціи онъ терпитъ массу непріятностей за громадное количество орѳографическихъ ошибокъ, которыя дѣлаетъ даже при перепискѣ бумагъ; это, впрочемъ, не мѣшаетъ Лужкову увѣрять своихъ товарищей, что онъ окончилъ московскій университетъ.

Онъ любитъ говорить съ ними о „высокихъ матеріяхъ“ и удивлять ихъ „учеными“ словами въ родѣ „философіи“, „психологіи“, „схоластики“, „логики“ и т. д. Иногда онъ и самъ не знаетъ значенія произносимаго слова, но съ тѣмъ большимъ удовольствіемъ употребляетъ его въ разговорѣ, основательно полагая, что отъ этого его рѣчь станетъ еще непонятнѣе для писарей и, слѣдовательно, „умнѣе“.

Лужковъ любитъ говорить о своемъ знатномъ происхожденіи, и хотя въ это уже никто

рѣшительно не вѣритъ, онъ постоянно знакомитъ кого-либо съ своей родословной, придавая при этомъ улыбающемуся лицу своему таинственный видъ.

Онъ называетъ себя маркизомъ Иваномъ Кузьмичемъ Ламброзо.

Каторга смѣется надъ нимъ, но тѣмъ не менѣе называетъ его этимъ именемъ, что доставляетъ ему громадное наслажденіе.

Онъ лѣнивъ, часто „отлыниваетъ“ отъ работы въ полиціи подъ предлогами различныхъ болѣзней, а иногда и проще: выйдетъ изъ тюрьмы на занятія, да гдѣ-нибудь „по спопутствію“ раздобудетъ спирта или водки и зальется на сутки, двое подальше отъ порта въ тайгу или на дальній поселокъ отводить свою грѣшную душу — „ищите“, молъ, черти окаянные „маркиза Ламброзо!“...

Случается, что, по приказанію начальства, его цѣлый день ищетъ надзиратель Воробей, но нигдѣ не находя и израсходовавъ напрасно весь лексиконъ своихъ ругательныхъ словъ, плюнетъ съ озлобленіемъ и промолвитъ: „самъ придетъ, стерва... Жрать нечего будетъ—притащится... Ужъ я-жъ ему тогда, подлюгѣ!..“

И, дѣйствительно, маркизъ возвращается самъ; онъ прекрасно знаетъ, что за свой прогулъ ему не миновать высидки въ карцерѣ, на хлѣбѣ и водѣ, но тѣмъ не менѣе у него всегда, для оправданія своего поступка, придумана какая-либо необыкновенная исторія.

— Вышелъ передъ службой погулять по

порту, да нечаянно заблудился въ тайгѣ, ваше высокоблагородіе!—докладываетъ онъ съ глупой физіономіей.

— Знаю, знаю, мерзавецъ!.. Отправить его въ карцеръ! — приказываетъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ чиновникъ Мокрохвостовъ.

И маркиза нѣсколько дней выдерживаютъ въ темномъ карцерѣ ссыльно - каторжной тюрьмы; иногда про него даже и совсѣмъ позабудутъ, а потомъ вдругъ вспомнитъ кто-либо изъ чиновниковъ полиціи и спроситъ у Мокрохвостова:

— Аѳинодоръ Иванычъ, а что нашего Ламброзо нельзя ли выпустить изъ карцера? Работы много скопилось; есть для него переписка... Ужъ онъ, кажется, давно сидитъ.

— Ахъ, чортъ возьми! Совсѣмъ и забылъ про подлеца... Шестыя сутки идутъ! А, впрочемъ, это ничего, чѣмъ больше его выдержишь, тѣмъ лучше, все равно, выходитъ, какъ вино въ старыхъ мѣхахъ.

Маркиза выпускаютъ. И снова до перваго удобнаго случая „загулять“, онъ посѣщаетъ полицію, удивляя своихъ товарищей „учеными“ словами, потѣшая ихъ разсказами о своемъ знатномъ происхожденіи и вызывая противъ себя негодованіе начальства за массу ошибокъ въ казенныхъ бумагахъ.

Какъ и вообще вся команда писарей изъ каторжныхъ, живущихъ въ тюрьмѣ, Лужковъ пользуется передъ остальными, содержащимися въ заключеніи, большими льготами, что

выражается главнымъ образомъ въ свободѣ выхода за тюремную ограду во всякое время дня до 9 часовъ вечера—времени переклички арестантовъ, а иногда и позже.

За окончаніемъ срока испытуемости, онъ имѣетъ даже право на жительство внѣ тюрьмы, но по недостатку средствъ на „домообзаводство“ живетъ въ ея стѣнахъ на казенномъ содержаніи, не думая о завтрашнемъ днѣ. Иногда онъ вспоминаетъ невольно, что близится день, когда его переименуютъ въ ссыльно-поселенца и, обезпечивъ на годъ скуднымъ и скверным пайковымъ довольствіемъ, выгонятъ, какъ собаку, на улицу изъ тюремнаго, хотя и грязнаго, но теплаго барака. Мысль эта сильно смущаетъ его и потому онъ старается всегда какъ-нибудь отвязаться отъ нея, выгнать ее вонъ изъ своей головы.

Въ такія минуты у него является грустное настроеніе и тогда, подсѣвъ къ кому-нибудь изъ своихъ товарищей, онъ, обыкновенно, начинаетъ разсказывать ему о какомъ-либо небываломъ эпизодѣ изъ своей жизни.

Чаще всего и охотнѣе, чѣмъ съ кѣмъ бы то ни было, онъ ведетъ бесѣду съ писаремъ полицейскаго управленія, ссыльно-каторжнымъ Бодягинымъ Иваномъ, своимъ сосѣдомъ по койкѣ въ тюремномъ баракѣ.

Бодягинъ—человѣкъ необыкновенно худой, высокаго роста, такой же блондинъ, какъ и Лужковъ; волосы на головѣ его торчатъ лучами во всѣ стороны, а борода никогда не

причесывается, благодаря чему Бодягинъ всегда имѣетъ неряшливый видъ. Бѣлки его сѣрыхъ впалыхъ глазъ всегда воспалены и красны, а изо рта постоянно несетъ крѣпкимъ букетомъ пивной; говоритъ онъ очень мало и неохотно, но зато съ необыкновеннымъ терпѣніемъ можетъ слушать нескончаемую рѣчь, безразлично, какого бы содержанія она ни была; въ своемъ „натуральномъ видѣ“ онъ угрюмъ, когда же хватитъ „лишнюю баночку“, то, хотя и веселѣетъ, но не надолго, такъ какъ въ этомъ случаѣ его быстро и сильно начинаетъ клонить ко сну.

Тускло свѣтитъ большая жестяная лампа по серединѣ огромной грязной комнаты; сквозь закопченное стекло едва виденъ маленькій кривой, заостренный язычекъ пламени, оканчивающійся вверху тонкой струйкой густой черной копоти. Строго говоря, лампа, такъ какъ въ ней нечему горѣть, не даетъ почти никакого свѣта, а только наполняетъ комнату удушливымъ запахомъ керосиноваго чада, но ее зажигаютъ ежедневно *по положенію*, такъ какъ кому-то необходимо въ мѣсячной отчетности вывести въ графѣ расхода стоимость одного пуда керосина, сгорѣвшаго въ ней, якобы, за тридцать сутокъ.

Въ комнатѣ было бы совсѣмъ темно, если бы у нѣкоторыхъ коекъ, помѣщающихся въ ней, не горѣли огарки сальныхъ свѣчекъ.

Вокругъ этихъ огоньковъ тѣсными кучками

сбились арестанты; кто штопаетъ свой дырявый халатъ, кто кладетъ заплату на разорванный бродень, а кто и просто такъ „зѣваетъ“, отъ нечего дѣлать, изъ-за группы головъ на огонь свѣчки.

Въ одномъ изъ угловъ, спрятавшись отъ оконъ за койкой, на голомъ полу, поджавъ подъ себя по-турецки ноги, расположились кружкомъ картежники; свѣтъ огарка, стоящаго среди нихъ, бросаетъ на грязную штукатурку стѣны отъ ихъ фигуръ длинныя, колеблющіяся тѣни. Игра ведется съ ожесточеніемъ, рѣжутся въ банкъ.

Одинъ изъ игроковъ снимаетъ съ себя высокіе смазные сапоги и, ругаясь, отдаетъ ихъ банкомету, получая „на смѣнку“ дырявые сношенные, порыжѣвшіе коты; кругомъ слышатся остроты и раскатистый хохотъ.

— Что, стерва, профершпилился?!.. Сказывалъ тебѣ, не суйся, не послушалъ, язви тебя въ душу!.. Такъ тебѣ и надо, собакѣ!..

— А тебѣ что, корявая харя?—огрызается проигравшійся:—твое какое дѣло?..

И снова направляется къ банкомету:—Новыя, лопни мои глаза, новыя! — восклицаетъ онъ, показывая ему свои брюки.

— Мотри, Митюха, безъ портокъ останешься!—раздается чей-то голосъ, прерываемый хохотомъ.—Оно, положимъ, время лѣтнее, а все же въ порткахъ теплѣе, да и къ начальствію на глаза срамно показаться безъ нихъ.

Но игрокъ уже ничего не слышитъ; сдѣлка

состоялась; банкъ продолжается, и онъ весь уходитъ въ созерцаніе колоды замасленныхъ рваныхъ картъ.

. . . . . .

— Эхъ, Иванъ Борисовичъ, совсѣмъ не та цивилизація была у моей мамани! — лежа на койкѣ и подперевъ рукой голову, печально повѣствуетъ своему сосѣду маркизъ Ламброзо.—Придешь, бывало, помню, со службы домой, сичасъ, какъ это въ нашемъ благородномъ обчествѣ принято, къ ейной ручкѣ приложишься, а она, сердешная, такъ и смотритъ тебѣ въ глаза: Ванюша, говоритъ, голубчикъ, скидавай свой голубой мундиръ съ золотыми палетами, да одѣнь свой шелковый халатъ шитый... Ну, пойдешь это за перегородку, сдѣнешь сичасъ золотой хронометръ съ боемъ, положишь на рояль, и давай на себѣ золотыя пуговки разстегать... А красивая у меня была форма! — какъ бы къ слову вставляетъ онъ.—Весь мундирчикъ голубой, бирюзовый, воротъ и абшлага розовые, съ золотымъ шитьемъ, на плечахъ палеты съ висюльками золотыми, брюки въ облипку свѣтло-зеленыя, съ краснымъ кантомъ, лаковые сапоги со шпорами, бѣлая сабля и на головѣ треуголка черная, со стрѣлой галунной сбоку...

Лицо маркиза просвѣтляется; онъ старается сдержать улыбку, расплывающуюся по его лицу, чтобы не вызвать недовѣрія Бодягина къ своему разсказу, но лицо его слушателя остается попрежнему угрюмо равнодушнымъ,

и Ламброзо оживленно продолжаетъ свой разсказъ:—Одѣнешь, это, халатъ, бывало, и идешь къ маманѣ: что, Ванюша, кушать тебѣ къ обѣду прикажешь, спрашиваетъ, бывало, она:—есть борщокъ малороссійскій съ сосиськами, есть и щи наваристыя съ кашей гречневой, и говядинка къ нимъ, какъ ты любишь, съ жиркомъ хрящеватымъ, на второе у насъ сегодня—осетрина заливная подъ хрѣномъ, на третье—телятины окорокъ жареный съ зарумяненной круглой картошечкой, потомъ пирогъ слоеный съ яблоками, чай, кофе, фрукты... и сигара гаванская для тебя, моего солнышка яснаго...

— А спиртъ-то ко щамъ?.. Али не было?—неожиданно перебиваетъ его Бодягинъ.

— Спиртъ-то?—на мгновеніе задумывается маркизъ: — какъ не быть,—сколько душѣ угодно!...

И вдругъ замолкаетъ.

— Эхъ! хорошо бы душу подмочить теперь,—замѣчаетъ Бодягинъ,—да тѣми щами побаловаться...

Его совсѣмъ разломило какъ-то; подъ ложечкой засосало, и онъ безнадежно откинулся головой на грязную подушку своей койки.

Маркизу тоже до страсти хочется выпить. „Но гдѣ ее возьмешь—выпивку,—коли денегъ нѣтъ ни гроша ломаннаго,“—тоскливо соображаетъ онъ:—„спереть бы гдѣ-нибудь!..“

И онъ косится на пустую койку своего со-

сѣда съ лѣвой стороны—Ѳедьки Косоногаго: „Ѳедька дуется въ банчокъ; вонъ его харя корявая растянулась въ улыбку—знать фартитъ подлецу!.. Чтой-то у него подъ подушкой такое?.. словно бы чуна старая... такъ и есть—чуна!..“ нащупываетъ онъ рукой и уже собирается вытащить ее на свѣтъ Божій и поднять Ѳедьку на смѣхъ, но въ этотъ мигъ рука его нечаянно натыкается сквозь сукно чуны на что-то твердое—словно бы горлышко отъ бутылки!..

— Ахъ, ты, дьяволъ косоногій!—машинально шепчетъ онъ, незамѣтно вытягивая свою руку обратно.

Всего его словно варомъ обдаетъ, а сердце такъ и бьется въ груди, словно птичка пойманная...

— Вотъ зачѣмъ онъ, скотская его образина, купилъ у меня сегодня по утру пустую бутылку... собачій сынъ!..

Мозгъ маркиза напряженно работаетъ: „Если свистнуть всю цѣликомъ,“—соображаетъ онъ, „трокнется, дьяволъ подлый,—догадается разомъ чьихъ это рукъ дѣло, еще кости изломаетъ, а упустить такого случая ни въ жисть нельзя... надо „работать“...

И вдругъ его осѣняетъ блестящая мысль:

— Ванька,—говоритъ онъ едва слышно Бодягину,—давай сюда пустую бутылку, чортъ!.. только такъ, чтобъ не видѣли... Здорово выпьемъ!..

— Что врешь?—не вѣря своимъ ушамъ

отзывается радостнымъ шопотомъ Бодягинъ, а самъ незамѣтно уже запускаетъ руку подъ свой соломенный тюфякъ:—бери, братъ маркизъ!..—не вставая съ койки, тычетъ онъ въ бокъ бутылкой отвернувшагося маркиза.

Но маркизъ уже „работаетъ"; призвавъ на помощь всю свою ловкость и умѣнье, зорко слѣдя за каждымъ движеніемъ арестантовъ-картежниковъ и арестантовъ, расположившихся кружками у огоньковъ, онъ выуживаетъ изъ чуны Ѳедькину бутылку; словно фокусникъ, ловкимъ движеніемъ моментально забираетъ онъ въ рукавъ пиджака сначала ея горлышко, а затѣмъ и всю съ дномъ; въ то же время, все еще лежа на койкѣ, эластичнымъ и быстрымъ движеніемъ онъ запихиваетъ бутылку Бодягина въ правый карманъ своихъ брюкъ, и наконецъ, какъ ни въ чемъ не бывало, встаетъ; рукавъ лѣвой руки его между кистью и локтемъ, словно хочетъ лопнуть, какъ будто маркизъ продѣлъ въ него не одну, а обѣ свои руки, но незамѣтно онъ накидываетъ на себя свое черное пальто—арестантскій крашеный халатъ — и спокойно выходитъ изъ комнаты.

Бодягинъ лежитъ на своей койкѣ; каждая минута ему кажется вѣчностью; онъ невыразимо волнуется, но искусно скрываетъ это и мысленно слѣдуетъ за маркизомъ: „хоша и не кончалъ ниверситета, а башковатый парень,"—думаетъ онъ про него.

Между тѣмъ маркизъ Ламброзо уже на тю-

ремномъ дворѣ; онъ нервно оглядывается вокругъ, и, видя, что за нимъ никто не слѣдитъ, быстро подходитъ къ бочкѣ съ водой, извлекаетъ изъ кармана брюкъ и рукава по бутылкѣ, вытаскиваетъ изъ нихъ зубами бумажки, которыми онѣ закупорены, и переливаетъ осторожно спиртъ изъ украденной бутылки въ пустую. Разливъ жидкость поровну въ обѣ бутылки онъ дѣлаетъ изъ каждой по одному глотку, поспѣшно доливаетъ затѣмъ ихъ водой и снова затыкаетъ бумажками; бутылку Бодягина онъ опять запихиваетъ въ карманъ брюкъ, а Ѳедьки Косоногаго оставляетъ въ лѣвой рукѣ и, пряча ее за спиной подъ халатомъ, возвращается въ баракъ.

Бодягинъ нервно поворачиваетъ къ нему голову. Маркизъ садится на свою койку, какъ бы въ раздумьи, а самъ тихо шепчетъ ему:— жди меня у старой бани... гуляемъ, братъ, здорово!...

Бодягинъ встаетъ, беретъ свой рваный выгорѣвшій картузъ и молча выходитъ, а маркизъ снова ложится на койку, оглядывается, какъ бы невзначай, вокругъ и вслѣдъ за этимъ незамѣтно впихиваетъ Ѳедькину бутылку съ „разсиропленнымъ“ спиртомъ въ старую суконную чуну подъ подушкой.

На душѣ у него сразу дѣлается легко: точно камень съ сердца свалило. „Ни по что не догадается, олухъ косорылый“, улыбаясь думаетъ маркизъ: „форменно обработано!.. Теперь остается только одно: пробраться въ

кандальную и всучить разсиропленный спиртъ старику Химкину... Хорошо, что въ кандальной спиртъ всегда вдвое дороже, чѣмъ можно купить у начальства!“ думаетъ онъ: „очумѣетъ, поди, старый отъ радости и не замѣтитъ, что спиртъ пополамъ съ водой,—разомъ четыре цѣлковыхъ отвалитъ, а тамъ къ чиновнику Обиралкину на кухню смахаю,—куплю двѣ бутылки чистаго... по два рубля подлецъ торгуетъ; самъ въ фондѣ рубль тридцать бутылку беретъ, а съ насъ деретъ по два цѣлковыхъ, животина безбожная!.. Потомъ пробѣгу къ колбаснику Павлу... авось, до двадцатаго повѣритъ, дуракъ, еще два фунта чайной съ чесночкомъ!.. Пайка хлѣба чернаго есть... а тамъ къ банѣ за Ванькой и зальемся въ тайгу... Важно!“

Однако, дольше лежать маркизъ не въ состояніи; да, впрочемъ, это и не къ чему больше—бутылка на мѣстѣ,—водворена, думаетъ онъ и, весело поднимаясь съ койки, беретъ подъ мышку ковригу затхлаго тюремнаго чернаго хлѣба и выходитъ изъ комнаты.

Сквозь густую листву глухой тайги на сѣдой мохъ, мягкимъ и пышнымъ ковромъ покрывающій корни деревьевъ, пробирается серебристо-матовый свѣтъ луны. Не шелохнетъ вѣтка; словно въ фантастическомъ мірѣ сказки кованымъ серебромъ сверкаютъ вверху освѣщенные листья боярки и игольчатыя вѣтви

пихтъ. Крѣпкимъ сосновымъ запахомъ дышетъ могучій лѣсъ...

Тихо кругомъ... изрѣдка только треснетъ гдѣ-то подъ лапками бѣлки или соболя сухая вѣтка и съ легкимъ шуршаніемъ упадетъ на землю.

Глубокой тьмой объята внизу чаща деревьевъ; неизвѣданной заманчивой тайной полна тайга, необъяснимой радостью наполняетъ она душу и легкой жутью охватываетъ сердце.

Вонъ, словно человѣкъ - гигантъ, раскинулся черезъ небольшую полянку упавшій столѣтній дубъ; будто застывшія безъ движенія громадныя очковыя змѣи, глядятъ его извилистые, вырванные изъ земли, корни; какимъ-то страшнымъ сказочнымъ чудовищемъ кажется издали приподнятая ими глыба земли съ разорванной косматой кочкой моха вверху... Опущены его могучія вѣтви; умираетъ въ нихъ жизнь, и, словно бѣлымъ богатымъ глазетовымъ саваномъ, окутываютъ ихъ серебристые зубчатые листья...

Вонъ крутой песчаный обрывъ... Надъ глубокимъ оврагомъ нависла громадная темная глыба земли; гигантская ель, вися надъ пропастью, впустила въ эту темную глыбу свои крѣпкіе корни, и обнаженные концы ихъ глядятъ съ крутизны обрыва въ холодную, сырую бездну оврага, скрытую тьмой... Гдѣ-то далеко внизу слышно металлическое журчаніе ручейка, словно тихій чарующій голосъ,

передаетъ на невѣдомомъ языкѣ волшебную сказку...

А надъ оврагомъ высоко, высоко на безоблачномъ небѣ, точно семья свѣтляковъ, мерцаютъ горящія звѣзды...

Тихо, не шелохнетъ... Спитъ тайга.

— Да какъ же ты это, чортъ лохматый, устроилъ?—разражаясь неудержимымъ хохотомъ, стонетъ Бодягинъ, запихивая себѣ въ ротъ громадный кусокъ колбасы.

— Ваня, другъ!—лопочетъ ему въ отвѣтъ маркизъ Ламброзо, глядя куда-то въ пространство посоловѣвшими глазами:—все разскажу тебѣ, все!.. Слушай, Ваня!..

Онъ какъ-то странно пошатывается впередъ всѣмъ туловищемъ и говоритъ заплетающимся языкомъ: —Химкинъ далъ четыре цѣлковыхъ и бутылку въ обмѣнъ... Я налилъ ее водой малость меньше, чѣмъ наливаютъ спиртомъ, и заложилъ, конечно, въ карманъ... Да, Ваня!.. въ карманъ заложилъ... Хорошо... Прихожу этта къ Обиралкину, собачьему сыну, на кухню... стучу... выходитъ ко мнѣ евонный поваръ... знаешь этотъ... какъ его?.. ну, Степка толстоносый... Выходитъ толстоносый Степка, я къ нему... „Такъ что,—говорю ему,—мнѣ спирту нужно...“ „Ладно,—говоритъ,—сколько,—говоритъ,—надо?“ „Двѣ бутылки давай“—сказываю... Хорошо!.. Двѣ бутылки... Выноситъ онъ пару бутылокъ, конечно... да!.. пару бутылокъ. Отдалъ я ему деньги, забралъ спиртъ, распрощались... Вышелъ я это въ сѣ-

ни и... мигомъ... понимаешь, Ванюша, мигомъ!.. бутылку съ водой изъ кармана, а со спиртомъ въ карманъ... Степка уже и двери припирать зачалъ, а я тутъ какъ тутъ у него подъ носомъ... „Добрый человѣкъ—говорю—погоди малость!..“ Впустилъ это онъ меня снова. „Что тебѣ?“—спрашиваетъ... „Да вотъ,—сказываю,—изобидѣлъ ты меня... не полна бутылка... не по закону налита, во сколько не хватаетъ!..“ И показываю ему тутъ пальцемъ на бутылкѣ съ водой... Ажно осерчалъ мой Степка... Взялъ бутылку, а самъ такъ и ругается, такъ и коститъ... „Грабители,—говоритъ,—не господа,—говоритъ,—а подлецы сущіе—по два рубля дерутъ разбойники,—говоритъ—а сами еще наровятъ изъ двухъ бутылокъ выгнать три“... Поставилъ ее на столъ въ сердцахъ, а самъ опять въ комнаты вышелъ изъ кухни... Меня смѣхъ разбираетъ, а смѣяться нельзя, все дѣло испортишь... коекакъ сдержался... Ладно... только выходитъ тутъ какъ разъ мой Степанъ и въ рукахъ у самого бутылка... „На,—говоритъ,—бери, да проваливай съ кухни домой“... Взялъ это я бутылку отъ него и самъ себѣ не вѣрю, не во снѣ ли уже—думаю—это все... да нѣтъ! не во снѣ видно... бутылка въ карманѣ, да двѣ въ рукахъ... ну для пущей лошки хлебнулъ глотокъ... какъ есть на яву...

— Ай да маркизъ, паскудная твоя рожа!—одобрительно восклицаетъ Бодягинъ,—башко-

ватый ты, братъ, парень, какъ я погляжу на тебя!... Молодчинища!..

И онъ снова заливается неудержимымъ смѣхомъ...

— Ну, а колбасу гдѣ сперъ?..

— Сперъ, ты говоришь?.. Сперъ?! Ахъ ты проходимецъ!.. образина твоя несчастная!.. Какое ты полное право имѣешь говорить мнѣ такія дерзости!—неожиданно оскорбившись, начинаетъ вдругъ кипятиться маркизъ: —Какое ты полное право имѣешь, я тебя спрашиваю?... А?

— Виноватъ, Иванъ Кузьмичъ!—придавая своему лицу глупое выраженіе, лопочетъ Бодягинъ...—простите... съ пьяныхъ глазъ выпалилъ!

— Съ пьяныхъ глазъ!.. оправданіе нашелъ... Ты, братъ, говори, да не заговаривайся!..

— Ну ладно!.. давай еще по баночкѣ, маркизъ, дернемъ!—проситъ Бодягинъ.

Маркизъ смягчается и, доставъ изъ-за-пазухи бутылку со спиртомъ, передаетъ ее товарищу:—На, жри, да мнѣ оставь малость!—говоритъ онъ.

Но Бодягинъ жадно высасываетъ остатки бутылки до дна и, ругаясь и хохоча, бросаетъ ее далеко въ сторону.

Маркизъ снова готовъ разсердиться, но вдругъ взглядываетъ въ эту минуту на потухающій огонекъ костра, и ему становится почему-то невыразимо грустно, на глазахъ его навертываются двѣ крупныя слезы и тяжело

упадаютъ на бортъ его арестантскаго крашенаго халата...

— Ваня, ми-лай!.. Ваня!—говоритъ онъ, умоляющимъ голосомъ:—грустно мнѣ, Ваня!.. пожалѣй меня!..

И онъ начинаетъ тихо плакать, а въ отвѣтъ ему раздается дикій раскатистый хохотъ...

— Сперъ колбасу, собачій сынъ!.. А еще маркизомъ себя величаешь!.. Варяга пьяная!..

И разражаясь площадной бранью, Бодягинъ, какъ снопъ, валится на спину, широко раскинувъ въ стороны свои длинныя худыя руки, и мгновенно засыпаетъ мертвымъ сномъ.

Маркизъ Ламброзо на четвереньках подползаетъ къ его головѣ и тормоша его за всклокоченную бороду, уныло повторяетъ:

— Ваня, милый!.. Ваня!..

Но Бодягинъ пьянъ мертвецки; на минуту онъ широко открываетъ глаза, торопливо буркаетъ слово „сперъ!“, хохочетъ во всю глотку и опять мгновенно засыпаетъ.

Тихо всхлипывая надъ спящимъ товарищемъ, маркизъ Ламброзо монотоннымъ голосомъ разсказываетъ ему что-то; онъ вспоминаетъ свой знатный родъ, бирюзовый мундиръ, „маманю“, говядинку съ хрящеватымъ жиркомъ, и тяжелыя слезы льются изъ его глазъ; голова его склоняется все ниже и ниже на грудь, туловище время отъ времени какъ-то странно вздрагиваетъ, подаваясь впередъ и вдругъ, какъ бы обезсилѣвъ, неожиданно опускается на землю. Нѣкоторое время маркизъ

еще всхлипываетъ, бормоча несвязныя слова, но вотъ мало-по-малу его голосъ стихаетъ и легкій свистъ вырывается изъ его ноздрей— маркизъ спитъ...

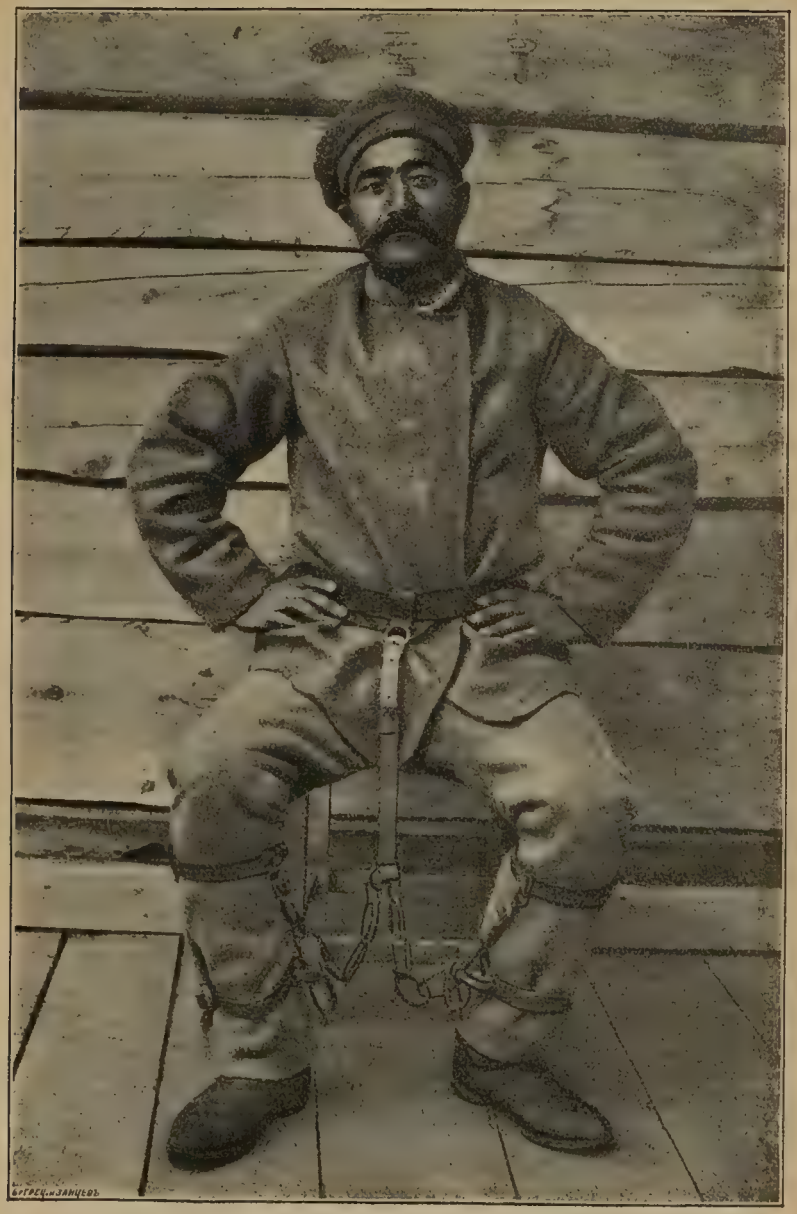
Тихо кругомъ... Небо свѣтлѣетъ... Гаснутъ мерцающіе свѣтлячки — звѣзды на далекомъ безоблачномъ небѣ; луна слабо серебритъ только макушки самыхъ высокихъ деревьевъ... Въ воздухѣ чувствуется легкая прохлада. Гдѣ-то вверху проносится словно шопотъ листьевъ; верхи деревьевъ слабо колышатся подъ лаской утренняго вѣтерка.

Въ лѣсной чащѣ раздается жалобное щебетаніе проснувшейся птички; на мгновеніе оно смолкаетъ, но вотъ повторяется снова и снова, и какъ бы въ отвѣтъ на него откуда-то несется веселое чириканье. Къ этимъ двумъ голосамъ присоединяется еще нѣсколько, и, наконецъ, со всѣхъ сторонъ несутся несмолкаемые голоса...

Звѣзды погасли... Словно замеръ на мгновеніе могучій лѣсъ, но вдругъ дрогнули верхушки его деревьевъ, золотисто-желтый свѣтъ хлынулъ теплой волной по нимъ, и зашумѣлъ онъ веселый, сіяющій...

Проснулась природа, но сладко спитъ еще маркизъ со своимъ другомъ. Около нихъ изъ подъ сѣраго пепла потухающаго костра тонкой извилистой струйкой несется вверхъ синеватый дымокъ.

Крѣпокъ ихъ утренній сонъ, безмятежно раскинулись они на сѣдомъ коврѣ моха, не



Типъ безсрочно-каторжнаго.

подозрѣвая даже грозящей имъ близкой опасности... А изъ-за чащи деревьевъ, окружающихъ небольшую полянку съ раскинувшимся черезъ нее сраженнымъ дубомъ - гигантомъ, глядятъ уже на нихъ чьи-то хищные, бѣлесоватые глаза.

Боже! съ какимъ ужасомъ бросились бы они, если бы не спали, улепетывать въ разныя стороны отъ этихъ страшныхъ глазъ; но какъ цѣпями сковалъ ихъ крѣпкій сонъ, и дружный храпъ вырывается изъ ихъ ртовъ...

— Ну, ты!.. маркизъ... язви твою душу!— слышитъ вдругъ, пробуждающійся отъ сильнаго удара въ бокъ Ламброзо. Онъ лѣниво открываетъ глаза и въ ужасѣ разомъ вскакиваетъ на ноги: передъ нимъ, какъ сказочное чудовище, раздернувъ кривой улыбкой рожу до уха, стоитъ надзиратель Воробей, а за нимъ его товарищъ Пѣтуховъ...

— Крути имъ, дьяволамъ, руки назадъ!— командуетъ Воробей своему товарищу, и, разражаясь сквернымъ хохотомъ, добавляетъ:—на безрыбьи и ракъ рыба!.. охотились на сокола— подстрѣлили пару кукушекъ... круче, круче завязывай!.. чтобъ имъ жилы чертямъ перервало!..

Воробей сплевываетъ, по - казацки, въ сторону, достаетъ кисетъ съ трубкой, наполняетъ ее табакомъ и закуриваетъ.

— А ушелъ подлецъ Соколовъ—дѣловымъ тономъ замѣчаетъ онъ:—ну, да все единственно,

рано ли, поздно ли подстрѣлю его, собаку, гдѣ-нибудь!..

Со скрученными назадъ руками маркизъ стоитъ ни живъ, ни мертвъ; въ головѣ у него только и есть одна мысль: „Господи! хоть бы не замѣтилъ!..“ А рядомъ съ нимъ, глядя на его оттопыренный карманъ, молитъ Бога о томъ же Бодягинъ.

— А что это у тебя, подлеца, въ порткахъ запихано?—неожиданно хватаетъ въ этотъ моментъ Воробей маркиза за карманъ.—Спиртъ?!.. Что-жъ ты не сказывалъ раньше, собачья твоя морда?.

И онъ съ хохотомъ вытаскиваетъ изъ кармана готоваго заплакать маркиза бутылку и жадно прикладывается къ ней губами, потомъ передаетъ ее Пѣтухову и говоритъ, сплевывая:

— На, братъ, подмочи малость свою грѣшную душу, да и въ портъ пора!..

Жиганъ Никуленко.

Смеркается...

Сильные порывы вѣтра несутся съ моря; грозные валы съ бѣлыми хребтами съ ревомъ пробѣгаютъ по узкой песчаной дорогѣ—изрѣзанной колеями отмели—и въ мелкія брызги разбиваются объ отвѣсныя скалы; стонутъ отъ ударовъ косматыхъ валовъ каменистыя стѣны, словно изъ чьей-то наболѣвшей груди вырывается тяжелый подавленный вздохъ...

А наверху робко жмется молодой полуобнаженный боярышникъ къ столѣтней старухѣ листвянкѣ; вся дрожитъ, качая тонкими вѣтвями голая верба, и, простирая къ тайгѣ свои могучія руки и склоняясь мохнатой шапкой, жалобно плачетъ старая ель, словно прощаясь съ дорогими дѣтьми или моля небеса о пощадѣ...

Шумитъ и реветъ потемнѣвшее море; въ тревогѣ тайга, полуобнаженная осенью; шатаются могучіе стволы ея деревьевъ, и трепещетъ красновато-желтое море порѣдѣвшей зеленой листвы...

— Ахъ ты, окаянный!—растерянно вскри-

киваетъ жиганъ [1]) Никуленко на налетающій порывъ вѣтра.

Онъ цѣпко хватается корявыми руками за выступающій изъ отвѣсной стѣны небольшой камень и прижимается всѣмъ своимъ тщедушнымъ искривленнымъ тѣломъ къ холодной стѣнѣ скалы, роняя внизъ цѣлую тучу мелкихъ камешковъ и сухого песку.

— Пропалъ!.. Смететъ, какъ муху, чортъ его взялъ бы, и крышка тутъ!—съ ужасомъ думаетъ онъ, косясь однимъ глазомъ внизъ.

Духъ у него занимается: онъ видитъ бѣшеное кипѣніе воды, видитъ бѣлые хребты валовъ, широкой лентой окаймляющіе далеко-далеко въ обѣ стороны скалистый берегъ внизу; вся отмель, по которой нѣсколько минутъ тому назадъ онъ шелъ, служащая обыкновенно дорогой между Корсаковскомъ и поселкомъ П... залита водой, и въ страхѣ онъ еще крѣпче жмется къ камнямъ.

— Саженей пять пролѣзъ, — соображаетъ онъ:—слечу внизъ, поди и костей не собрать!..

А вѣтеръ такъ и пронизываетъ его, такъ и жжетъ покрытыя трещинами корявыя руки; невыносимо больно Никуленко, но онъ боится шевельнуться и терпѣливо выноситъ всѣ муки. Впившіеся въ камень пальцы его коченѣютъ; тоскливо взглядываетъ онъ вверхъ и думаетъ: „до корня ели не больше, какъ два человѣческихъ роста; только бы добраться до него, а то пропадешь, какъ собака“...

[1]) „Жиганъ“ отъ глагола „нажигать“ мошенникъ, выжига.

Тяжело вздыхаютъ со всѣхъ сторонъ каменныя громады, внизу реветъ и плещетъ море, а сверху на Никуленко сыплется градомъ мелкая галька и цѣлая туча песку; онъ зажмуриваетъ глаза и старается не дышать. Острый камешекъ больно ударилъ его по пальцу; онъ стонетъ, ругается, но остается безъ движенія.

— Чтобъ тебя разорвало треклятаго!.. Видно до крови, — думаетъ онъ, но взглянуть на руку не рѣшается:—еще глаза ослѣпитъ, тогда и не доберешься до верха.

— А здорово сигаетъ съ моря, видно сейчасъ успокоится—соображаетъ онъ:—не прозѣвать бы самую тую минуту... какъ стихнетъ, такъ и виру [1]) вверхъ...

Глаза его все еще закрыты, но онъ весь насторожился и терпѣливо выжидаетъ, когда стихнетъ вѣтеръ.

Проходитъ томительная минута.

Тоскливо поскрипываетъ вверху стволъ старой ели, снизу доносится плескъ воды, а вокругъ него по камнямъ отвѣсной стѣны, словно оживленныя въ дикой быстрой пляскѣ кружатся мелкія песчинки.

Вѣтеръ на секунду стихаетъ, но какъ бы вдогонку за нимъ съ моря несется еще свирѣпый ураганъ; въ дикой злобѣ онъ налетаетъ на каменныя горы, словно желая ихъ сдвинуть съ мѣста, но у него не хватаетъ

---

[1]) „Виру“ на жаргонѣ шпаны означаетъ дать тягу, удрать.

силъ,—онъ слишкомъ коротокъ и завывая, какъ стая голодныхъ шакаловъ, онъ налетаетъ на встревоженную тайгу, обрывая ея пожелтѣвшіе листья и ломая сухіе сучья.

Еще разъ жалобно скрипнула ель, ахнули скалы, всплеснула волна, зашуршалъ песокъ, падая сверху, и вдругъ все какъ-то разомъ стихло, слышно только, какъ, журча и переливаясь, стекаютъ съ отмели отъ скалъ пѣнистыя, расплывчатыя, широкія волны.

Никуленко оживаетъ.

— Выручай, мать честная!—шепчетъ онъ и, напрягая всѣ свои силы и ловкость, неуклюже карабкается вверхъ по отвѣсной скалѣ, пользуясь каждымъ ея углубленіемъ и выступающимъ камнемъ.

— Слава Тебѣ Господи, вотъ и коряга,— онъ протягиваетъ дрожащую руку вверхъ и пробуетъ крѣпость обнаженнаго корня ели:— выдержитъ, язви его... Хошь и медвѣдя выдержитъ....

И уцѣпившись за него обѣими руками, Никуленко на мускулахъ притягивается вверхъ.

Еще секунда, еще одно невѣроятное усиліе— и онъ, наконецъ, наверху.

— Чтобъ тебѣ сгинуть, нечистая сила!— утирая крупныя капли холоднаго пота съ лица, задыхаясь отъ усталости, ворчитъ себѣ подъ носъ Никуленко:—чуть не кончился... Кабы не камень тотъ, смыло бы съ берега, какъ селедку дохлую... И чортъ его раздери, съ чего бы его разобрало? — мысленно задаетъ

онъ себѣ вопросъ,—съ утра погода стояла ясная, тихая, а тутъ, на тебѣ... разомъ какъ дернуло съ моря, словно взбѣсилось оно... Ишь, дьяволъ проклятый, всего залило водой...

Онъ осматриваетъ свой костюмъ и снова ругается: короткія, недостающія до щиколотки, словно объѣденныя крысами штаны его и съ такими же объѣденными полами перетянутая въ таліи ремнемъ женская ситцевая кацавейка неопредѣленнаго цвѣта, едва прикрывающая его голое тѣло—все залито водой: даже шапку на головѣ и ту смочило!.. Онъ снимаетъ ее и машинально отираетъ рукавомъ. И дѣйствительно: верхъ его кожаной круглой арестантской шапки съ мѣхомъ внутри, похожей болѣе на измятую грязную кастрюлю безъ ручки, вродѣ тѣхъ, въ которыхъ сахалинскіе кулинары разводятъ известь для бѣленія печей,—забрызганъ водой.

Между тѣмъ съ моря налетаетъ на берегъ съ новой силой свирѣпый порывъ вѣтра, до самыхъ внутренностей продувая измокшаго и усталаго Никуленко.

Его плутоватое, никогда, кажется, не знавшее мыла, лицо угрюмо; и безъ того темное отъ массы черныхъ жирныхъ угрей, синеватыхъ пятенъ и красныхъ прыщей поверхъ крупныхъ рябинъ, это лицо теперь посинѣло отъ холода и сдѣлалось еще темнѣй.

Мѣдно-красные, сбитые войлокомъ грязные волосы на его головѣ мокры отъ пота.

Печально смотрятъ его зеленоватые хитрые

глаза; во всей его маленькой, тщедушной, искривленной фигуркѣ видна тоска и усталость; даже волосы его плѣшивой, едва замѣтной бородки и жидкихъ усовъ развѣваются какъ-то сиротливо, обиженно...

Стуча зубами, Никуленко садится на землю и вынимаетъ изъ-за пазухи рыжій арестантскій котъ съ разинутымъ, словно у спящей рыбы, ртомъ на самомъ носкѣ и дамскій ботинокъ безъ пуговицъ съ оторваннымъ французскимъ каблукомъ; онъ осматриваетъ свою обувь, словно рыцарскіе доспѣхи, и со вздохомъ напяливаетъ ботинокъ на лѣвую босую ногу, а котъ—на правую. „Теперь пущай малость правая отдохнетъ, а то страсть эта женская обувь, проклятая, ногу тревожитъ“,—думаетъ онъ, поспѣшно вставая.

Съ минуту злобно смотритъ Никуленко на бушующее море, ругаясь грозитъ ему кулакомъ и, наконецъ, тяжело вздыхая трогается въ путь, держась опушки тайги.

Дорога черезъ горы неудобна и тяжела.

У Никуленко вообще какая-то странная походка: на ходу онъ весь извивается, словно одержимый „Виттовой пляской“; надъ нимъ всѣ смѣются за это, даже одно время его звали на каторгѣ плясуномъ; но если кто-либо изъ ссыльныхъ увидалъ бы его теперь, то не сразу бы повѣрилъ своимъ глазамъ, не сразу повѣрилъ бы, что Никуленко можетъ раздѣлывать на ходу такія безподобныя па.

Ныряя между ухабами и ямами, онъ выдѣ-

лываетъ самыя замысловатыя „фигуры“,—то пройдется павой, то запрыгаетъ козломъ, то лебедемъ проплыветъ, то изогнется змѣей, словно исполняетъ дикій танецъ ашантіевъ.

Несмотря, однако, на эти оживленныя тѣлодвиженія, которыя у другого человѣка могли бы показаться выраженіемъ крайне „веселаго“ настроенія, на душѣ у Никуленко очень тоскливо.

По обыкновенію онъ спѣшитъ на ночевку въ П.....ари; отъ порта этотъ поселокъ, если итти берегомъ моря, всего въ двухъ верстахъ, если же итти другой дорогой—черезъ мостъ, то верстахъ въ трехъ; Никуленко живетъ въ немъ не потому, конечно, что любитъ ежедневныя прогулки, а потому, что, въ поселкѣ П...ари квартиры вдесятеро дешевле, чѣмъ въ Корсаковскѣ: такъ, въ порту надо заплатить за уголъ въ мѣсяцъ рубля два, а на поселкѣ за него отдашь всего двугривенный. Этотъ-то расчетъ и побуждаетъ его жить тамъ.

Занимаясь чѣмъ Богъ приведетъ, онъ ежедневно бываетъ въ порту; „спеціальности“ онъ не имѣетъ никакой и потому охотно берется за все: доведется ли ему дрова колоть у зажиточнаго поселенца, — колетъ старательно цѣлый день; доведется ли вмѣсто пьянаго булочника по господамъ булки разносить,— разноситъ добросовѣстно; случится ли продать за охотника небольшую партію плѣшивыхъ соболей — „браковокъ“, — продаетъ самымъ честнымъ образомъ; но... стоитъ только

послѣ расчета зазѣваться зажиточному поселенцу, и у него, Богъ вѣсть куда, пропадаетъ топоръ; ищутъ, ищутъ, нигдѣ нѣтъ, „словно чортъ его съѣлъ“; стоитъ пьяному булочнику взять у Никуленко деньги за проданныя булки, какъ эти „окаянныя“ деньги исчезаютъ изъ пьянаго кармана, „словно и не были тамъ“; стоитъ охотнику назначить самую крайнюю цѣну за свои браковки, и ужъ ни въ какомъ случаѣ онъ не получитъ обратно ни пушнины, ни денегъ...

Бьютъ бѣднаго Никуленко нещадно, бьютъ почти семь разъ на недѣлю; много разъ въ году онъ лежитъ и въ лазаретѣ, но это не помогаетъ нисколько; не исправляется Никуленко, по прежнему не имѣетъ онъ спеціальности и по прежнему охотно берется за все...

За отсутствіе спеціальности бѣднягѣ и дали, какъ онъ самъ объясняетъ чиновникамъ, обидное прозвище „жигана“.

— Что подѣлаешь? На свѣтѣ много несправедливостей!..

Сегодня для Никуленко выдался день неудачи; правда, онъ заработалъ полтину рытьемъ ямы у подвыпившаго крестьянина изъ ссыльныхъ Фефелова Митрія, но подлецъ послѣ расчета, зорко слѣдилъ изъ-за угла сарая за своей лопатой, и едва Никуленко „поперъ“ ее съ собой со двора, какъ каналья Митрій выскочилъ къ нему изъ своей засады, отнялъ ее у него, да еще и по шеѣ наклалъ такъ,

„что и по сю пору, какъ повернешь голову, словно щелкаетъ что въ позвонкахъ“...

Вспоминая это, Никуленко на ходу берется рукой за шею и, потеревъ ее, злобно сплевываетъ въ сторону: „хоть бы за дѣло!...“— думаетъ онъ.

Но, впрочемъ, это мало его огорчаетъ и потому, сдѣлавъ еще шага два, онъ уже забываетъ объ этой неудачѣ. У него есть горе „почище“,—сегодня платежъ за уголъ: „оно, положимъ, денегъ-то хватитъ“,—думаетъ онъ— „да на выпивку ничего не останется, а вѣдь промокъ и продрогъ на вѣтру, какъ собака послѣдняя!“

И Никуленко снова круто задумывается.

— Не шторъ бы проклятый, берегомъ поспѣлъ бы во время — захватилъ бы Ваньку Митрохина еще на постояломъ... Тотъ бы выручилъ, потому какъ добрая душа въ емъ, да и не знаетъ меня еще порядкомъ—довѣряется!.. А теперь ужъ шалишь,—навѣрно, уѣхалъ!.. Эхъ, кабы задержался маненечко!— думаетъ онъ:—хоть бы ноги ему обломало, только бы застать его дома!..

И со слабой надеждой въ душѣ Никуленко прибавляетъ хода.

Постоялый дворъ ссыльно-поселенца Тряпкина занимаетъ крайнюю избу поселка.

Сквозь его низкія окна издалека еще привѣтливо свѣтится огонекъ лампы...

На дворѣ совсѣмъ темно. Холодный осенній вѣтеръ жалобно завываетъ въ горахъ и шумитъ деревьями тайги. Черныя облака заволокли небо, ни единой звѣздочки не горитъ на немъ, ни зги не видать кругомъ,—такая темнота окутала землю.

Уныло выстукиваетъ свою бозконечную дробь осенній дождь, словно сѣетъ черезъ сито; а то налетитъ вѣтеръ, и зашумятъ, забарабанятъ дождевыя капли кругомъ съ такой силой, будто вылетаютъ онѣ изъ пожарнаго рукава.

Весь мокрый, спотыкаясь и ругаясь на каждомъ шагу, ковыляетъ по улицѣ поселка Никуленко.

— Вотъ ужъ погодушка.. Чтобъ ее черти разодрали... Чуть не полдня плуталъ по тайгѣ, да и то насилу выбрался въ концѣ концовъ... Намокся, назябся; хоть тресни, а выпить надо, потому—чего добраго еще и околѣешь!—рѣшаетъ онъ окончательно и съ этими мыслями берется за скобу двери Тряпкинской избы. Онъ смѣло стучитъ въ нее ногой, обутой въ котъ и дергаетъ изо-всей силы правой рукой.

— Кто тамъ?—слышится изъ избы тонкій бабій голосъ.

— Отпирай, голубушка Матвѣевна, промокъ до костей!—откликается Никуленко, а самъ думаетъ: „неужто самого дьявола дома нѣтъ, вотъ важно бы было!.. Баба—дурища и не знаетъ, когда мнѣ срокъ платить“...

И едва открылась передъ нимъ дверь, едва онъ переступилъ порогъ сѣней, какъ уже ласковымъ вкрадчивымъ голосомъ, обращаясь къ хозяйкѣ, спрашиваетъ:

— Чтой-то сами отпираете нонече, Прасковья Матвѣевна? Али Кузьмы Потапыча дома нѣтъ?..

— Куда-жъ ему дѣваться? Эка погода-то какая,—отвѣчаетъ та, запирая за Никуленко дверь, и потомъ прибавляетъ:—Хватило чтой-то сразу его сегодня утрось, весь день лежитъ, занемогся малость съ чего-то!...

Въ сердцѣ Никуленко опять шевелится слабая надежда: „авось дрыхнетъ, бородатый дьяволъ, и платы за уголъ сегодня не спроситъ, а то хорошо-бы, кабы совсѣмъ померъ“,—думаетъ онъ, „все на человѣкѣ божіемъ поменьше грѣховъ будетъ, да и мы здѣсь помянемъ его по христіанскому обычаю двумятремя вдовьиными шкаликами“... А вслухъ говоритъ:—Эка напасть какая на Кузьму Потапыча!.. Что-жъ, почиваетъ, поди?...

— Куда тамъ!—машетъ рукой Матвѣевна:—такъ себѣ лежитъ только...

Тутъ ужъ всѣ надежды Никуленко разлетаются въ прахъ; съ сердцовъ, широко откидываетъ онъ ногой дверь направо изъ сѣней и входитъ въ большую низкую комнату, разомъ окидывая всѣ ея углы проницательнымъ взглядомъ.

„Ванюхи Митрохина нѣтъ, — уѣхалъ?.. И тутъ не фартитъ!“—проносится въ его головѣ.

Но среди прибывшихъ на ночлегъ онъ сразу узнаетъ „по одежинамъ“ зажиточныхъ людей; всѣхъ ночующихъ сегодня собралось двѣнадцать человѣкъ,—видно по случаю погоды.

Съ тремя постояльцами Никуленко знакомъ и здоровается съ ними, остальныхъ же онъ хотя и не знаетъ, но уже соображаетъ, около кого изъ нихъ можно руки погрѣть.

Вонъ трое разложились на полу, подостлавъ подъ себя свои верхнія одежды и разговариваютъ объ урожаѣ, покосѣ, о картошкѣ, капустѣ, объ уловѣ селедки и о цѣнахъ на клюкву въ порту. Это люди торговые,—ихъ не объѣдешь „на кривой“; они сами кого хочешь „окрутятъ“,—и Никуленко это хорошо знаетъ. А вотъ эти, что собрались у стараго почернѣвшаго отъ времени некрашеннаго деревяннаго стола, распивая бутылку спирта и закусывая чернымъ хлѣбомъ, намазаннымъ красной кэтовой икрой съ лукомъ,—эти, пожалуй, и пойдутъ на удочку.

Немного посидѣвъ въ своемъ углу, Никуленко подходитъ къ одному изъ своихъ знакомыхъ, калякаетъ съ нимъ нѣсколько минутъ, потомъ переходитъ къ другому, къ третьему и, наконецъ, незамѣтно усаживается за столъ къ закусывающимъ.

Одинъ изъ нихъ обращаетъ на него вниманіе:

— Здорово промочило,—замѣчаетъ онъ:—далече ходилъ куда-нибудь?

— Изъ порта, паря,—отвѣчаетъ Никулен-

ко:—Шелъ это обыкновенно берегомъ по отмели,—потому здѣсь—ближе считается; погода стояла свѣтлая, тихая, да вдругъ, какъ сиганетъ съ моря, ажно свѣта не взвидѣлъ... Такой шторъ поднялся, паря, что и-и-и!.. Чуть не смыло водой съ отмели, пришлось на кручу карабкаться, потому дороги не стало разомъ ни взадъ, ни впередъ. Ну ужъ и натерпѣлся!... Какъ и залѣзъ вверхъ—не знаю: такая, братъ, крутизна, что и вспомнить-то страшно—что твоя стѣна!.. Залѣзъ на гору, а тутъ и стемнѣло разомъ; иду, иду, а хоть тресни, ни чорта не видать... Слыханное ли дѣло,—часовъ пять отъ порта сюда шелъ—заплутался, видно нечистая сила обвела; едва-едва на путь выбрался, и промокъ же ужъ, какъ собака... Выпить пожалуй бы надо малость, а то еще застудишься, неровенъ часъ... Да и тутъ горе, опять-таки деньги потерялъ; мошну съ пятью цѣлковыми обронилъ, какъ лѣзъ на гору; такъ и осталась, окаянная, на камнѣ лежать... и видѣлъ ее внизу, а взять не могъ, потому жизни рѣшить боялся—внизъ спущаться ужъ очинно боязно было, того и гляди шею сломишь, а нѣтъ—такъ и голову разобьешь, ужъ и не знаю, какъ полтина въ карманѣ портковъ застряла...

Никуленко вынимаетъ полтину и небрежно кидаетъ ее на столъ.

— А знаешь, паря, — съ жаромъ вдругъ восклицаетъ онъ.—Знаешь, что тебѣ скажу... Вѣдь эта полтина не простая, лопни мои

глаза, не простая! У меня, вѣдь, и полтины-то не было, всего три бумажки: трешникъ, да двѣ рублевки. Нечистая сила въ карманъ мнѣ ее сунула. Это ужъ какъ есть, нечистая сила!.. Эхъ, чортъ возьми, не въ сорочкѣ я родился, а то бы разбогатѣлъ съ нея, стоило бы только схоронить ее у себя—милльонщикомъ сдѣлался бы... Да гдѣ ужъ тутъ, коли выпить охота... Эхъ, была не была, чтобы этой собакѣ, скареду Тряпкину, счастье не досталось, ужъ такъ и быть разыграю ее между добрыми людьми... Пользуйся, робя, фартомъ, ставь по гривнѣ; кто выиграетъ,—полтину заколдованную получитъ...

— А ну-ко-ся покажь ее сюды, —ворочая посоловѣвшими глазами, говоритъ одинъ изъ слушающихъ; онъ беретъ полтину и внимательно осматриваетъ ее со всѣхъ сторонъ:—какъ есть полтина... ишь нечистая сила, словно бы и настоящая, не отличишь отъ простой, обнаковенной...

Онъ кладетъ ее на столъ передъ собой и достаетъ кошелекъ.

— На, паря, разыгрывай! — выкидываетъ онъ на столъ два мѣдныхъ пятака:—кому пофартитъ, посмотримъ...

— Эхъ, важно бы выиграть! — замѣчаетъ другой бородатый, рыжій дѣтина, выкладывая рядомъ еще гривенникъ, и какъ-то глупо посмѣивается.

За этими двумя ставятъ по гривеннику еще четверо.

На столѣ собирается всего шестьдесятъ копеекъ. Никуленко беретъ деньги, пересчитываетъ ихъ и прячетъ въ карманъ.

— Теперь, робя, надо разыграть полтину,— говоритъ онъ. — Побудьте здѣсь малость у стола, а я сичасъ билетики сварганю... Эхъ, робя, угостили бы баночкой...

— Что-жъ вамъ, добрый человѣкъ,—говоритъ бородатый мужикъ, наливая Никуленко полъ-стакана спирта и доливая его водой.— Осуши на здоровье.

Никуленко беретъ стаканъ, крестится, кланяется всѣмъ сидящимъ за столомъ и, прильнувъ къ краю стакана губами, часто-часто, маленькими глоточками осушаетъ его до дна; потомъ лихо ставитъ его, звонко ударяя донышкомъ по столу, крякаетъ и сплевываетъ горькую слюну.

— Спасибо, робя! Будьте здоровы! — говоритъ онъ, утирая рукавомъ мокрыя губы и взявъ большой кусокъ чернаго хлѣба, густо намазываетъ его красной икрой, посыпаетъ лукомъ и, откусивъ раза два, выходитъ изъ комнаты въ сѣни.

— Чортъ возьми, какъ быть?—думаетъ онъ, нерѣшительно останавливаясь въ темнотѣ: — вернуться и разыгрывать ежели, всего шесть гривенъ останется; двадцать копеекъ изъ нихъ за уголъ отдай, а на выпивку съ закуской— всего ничего... Нѣтъ, лучше куплю у Тряпкина бутылку самосадки за восемь гривенъ, отдамъ, чтобъ ему подавиться, двугривенный

за уголъ, краюху хлѣба съ икоркой прихвачу и заночую какъ-нибудь у него на сѣновалѣ, что ли...

Тихо открываетъ онъ дверь изъ сѣней въ половину Тряпкина и, закрывъ ее за собой, окликаетъ вполголоса:

— Кузьма Потаповичъ! Денежки получите за фатеру, да бутылочку самосадки пожалуйте, да хлѣбца черненькаго съ икрой...

— А за самосадку платишь?—спрашиваетъ мужской голосъ черезъ перегородку комнаты.

— Наличными, чистенькими получите! — отвѣчаетъ Никуленко.

— Ладно, — слышится за перегородкой. — Прасковья, вынеси ему бутылку, восемь гривенъ получишь.

— Поскорѣе, пожалуста,—нервно торопитъ Никуленко.

— Сичасъ, сичасъ, соколикъ! — отзывается Прасковья.

— Да за фатеру двадцать—рубль! — продолжаетъ мужской голосъ.—А икры съ хлѣбомъ на сколько?

— На гривенникъ, Потапычъ!

— Ладно. Всего, Прасковья, съ него рубль десять,—заключаетъ Тряпкинъ.

— Сичасъ, сичасъ, роженый мой! — приговариваетъ Прасковья.

Она выходитъ изъ-за перегородки, держа въ рукахъ бутылку мутной самосадки и краюху хлѣба съ горькой икрой на ней. — На,

соколикъ, плати деньги,—приговариваетъ она, передавая все это Никуленко.

Поспѣшно выкладываетъ онъ передъ ней на подоконникъ всю мелочь и беретъ изъ рукъ ея бутылку и хлѣбъ.

— Считайте, Прасковья Матвѣевна!

— Вѣрно, касатикъ,—говоритъ она, сосчитавъ деньги, и Никуленко духомъ исчезаетъ изъ комнаты.

Плотно прикрывъ за собой дверь, онъ почти неслышно откидываетъ щеколду наружной двери и выходитъ на дворъ.

Небо словно разъяснило; мѣстами, сквозь разорванныя темно-сѣрыя тучи съ сѣдоватыми краями, мерцаютъ голубоватыя звѣздочки; вѣтеръ улегся, затихла кругомъ, окутанная темнотой ночи, тайга; только мелкій дождь уныло постукиваетъ по крышамъ, да изъ-подъ „капели“ со щелканьемъ падаютъ въ лужу крупныя капли воды.

Никуленко пугливо осматривается кругомъ, но на дворѣ никого нѣтъ, и, тѣнью пробѣжавъ къ сѣновалу, онъ беззвучно лѣзетъ вверхъ по приставной лѣстницѣ. Взобравшись, съ зажатымъ въ зубахъ горлышкомъ бутылки на сѣновалъ, онъ, держа въ лѣвой рукѣ хлѣбъ съ икрой, правой расчищаетъ себѣ на сѣнѣ мѣстечко.

— Вольготно отдохну,—думаетъ онъ.—Да и душу отведу на славу... Эхъ, дуракъ я!.. Да, вѣдь, вотъ еще что,—лѣстницу надо къ себѣ затащить, чтобы и не добрались до меня...

И Никуленко, бережно засунувъ до половины бутылку съ самосадкой въ сѣно, и положивъ рядомъ съ ней хлѣбъ съ икрой, поспѣшно направляется къ дверямъ сѣновала; ставъ на колѣни, онъ безшумно и ловко приподнимаетъ лѣстницу и втаскиваетъ ее за собой.

— Важный розыгрышъ вышелъ,—думаетъ онъ.—Ждутъ, поди, олухи косорылые заколдованной полтины, а она-то во уже гдѣ...

И подмигивая своимъ плутовскимъ зеленоватымъ глазомъ, зарывшись въ душистое мягкое сѣно, Никуленко съ невыразимымъ наслаженіемъ втягиваетъ въ себя живительную влагу.

Слабо мерцаютъ звѣзды, выглядывая изъ-за разорванныхъ темно-сѣрыхъ тучъ, уныло постукиваетъ по крышамъ мелкій дождь, да изъ-подъ капели со щелканьемъ падаютъ въ лужу крупныя капли воды.

Ночь холодная, мокрая; но Никуленко и тепло, и хорошо, и веселыя грезы тѣснятся у него въ головѣ...

Елка у бродягъ.

Тихая морозная звѣздная ночь.

Дремлетъ тайга надъ сугробами рыхлаго снѣга.

Тонутъ въ снопахъ серебристаго свѣта луны темно-зеленыя пирамидальныя ели и покрытыя раздерганными мягкими, изжелто-зелеными иглами пихты; развѣсистые, опушенные снѣгомъ вѣтви и прутья могучаго дуба, листвянки, боярки, ильмы, ясеня и бѣлоствольной березы частой сѣтью переплелись вокругъ нихъ.

Блестятъ и искрятся въ филигранномъ шатрѣ спящей тайги бѣлые хлопья пушистаго мягкаго снѣга, а сквозь частое и легкое кружево вѣтвей, съ далекаго безоблачнаго неба, мерцая и горя, задумчиво смотрятъ звѣзды на сверкающій искрометными точками бѣлый пологъ земли съ голубоватыми легкими тѣнями.

Узкой бѣлой лентой прихотливо вьется среди чащи деревьевъ лѣсная дорога; то завернетъ она полукругомъ направо, со скоситъ влѣво немного, то капризно подымается вверхъ, то полого спускается внизъ, а то вдругъ, стрѣ-

лой вытянувшись впередъ, словно обрывается вдали и, кажется тогда, что вмѣстѣ съ нею кончается тамъ и окружающая ее лѣсная глушь.

Ясно рѣжутся впереди по обѣ стороны на сіяющемъ лунномъ небѣ прихотливые контуры деревьевъ; отчетливо видитъ вдали обманутый глазъ темную полосу грани, отдѣляющую бѣлую ленту дороги отъ звѣзднаго неба; и кажется, что тамъ, за этой гранью, конецъ дороги, конецъ тайги, земли и конецъ всему, всему...

Дорога упирается прямо въ небо, въ безоблачное, морозное, спокойное, сіяющее небо!..

И тихо становится на душѣ, и сладкая жуть охватываетъ тогда спутника; онъ плотнѣе закрывается въ свою шубу и смотритъ на сіяніе спокойнаго неба, на блескъ мерцающихъ звѣздъ—этихъ невѣдомыхъ, далекихъ міровъ, и невольно душа его наполняется сознаніемъ величія Создавшаго вселенную.

Но проходитъ минута, другая, третья, — сытыя лошади, весело пофыркивая и позванивая колокольчиками, все бѣгутъ и бѣгутъ, разбрасывая ногами рыхлые сугробы снѣга; путникъ сгибается немного вправо и, устремляя изъ-за спины ямщика взглядъ впередъ, видитъ передъ собой надвигающуюся прямо на дорогу густую чащу лѣса...

Широкая кошева только-что перешла черезъ перевалъ горы; дорога, круто спускаясь внизъ, стала забирать вправо и вдругъ, словно

упираясь впереди въ чащу тайги, незамѣтно заворачиваетъ подъ прямымъ угломъ въ противоположную сторону.

— Далеко еще до поселка?—спрашиваетъ, наконецъ, путникъ изъ ссыльныхъ.

— Верстъ съ десятокъ еще будетъ,— лѣниво отвѣчаетъ, по обыкновенію не поворачиваясь, ямщикъ.

И снова мелькаютъ по обѣ стороны кошевы, озаренныя луннымъ свѣтомъ и засыпанныя снѣгомъ деревья; и снова все тихо вокругъ; только сытыя лошади весело пофыркиваютъ на бѣгу, позваниваютъ колокольчиками и разбрасываютъ ногами рыхлые сугробы снѣга.

— Стой ребята!.. Чего глотки дерете, словно вороны?.. Кажись,— колокольчикъ вдали... Да, тише ты, образина немытая!—командуетъ приземистый широкоплечій парень на четверыхъ своихъ товарищей, вытаскивая изъ сугроба выше колѣна утонувшую ногу.

Всѣ стихаютъ и прислушиваются.

— Такъ и есть,— колокольчикъ...

— Онъ самый!..

— Ну, и слухъ у Марка, язви его душу!

— Ѣдетъ „касатикъ“!—оживляются разомъ всѣ.

— Насилу дождались! — вырывается изъ ихъ грудей вздохъ облегченія.

— Ну за дѣло, ребята!—командуетъ Маркъ:— натягивай буксиръ!

Двое полуприкрытыхъ тряпьемъ бродягъ хватаютъ со снѣга толстую веревку и, протянувъ ее черезъ дорогу, поспѣшно привязываютъ ея концы къ двумъ толстымъ стволамъ деревьевъ.

— Обматывай перва, балда, вокругъ ствола. Вонъ мотри, какъ Костыль дѣлаетъ,—учитъ Маркъ,—аль не понимаешь? оборвутъ вѣдь лошади, дурень!..

— Чего ругаешься, чертова перечница? Сказалъ разъ и ладно: не вишь что ль—обматываю!..

— Ну такъ, такъ, — одобряетъ Маркъ, — кончай живѣй! Да потише—услыхать могутъ... Готово? Ну такъ!.. Важный шлагбанъ вышелъ... Прячься, робя!.. Вы двое по ту сторону веревки останьтесь, а мы съ Костылемъ и Ванюхой по эту орудуемъ... Ну, тихо! какъ дамъ цинкъ [1])—всѣ вылѣзай разомъ!

Двое бродягъ скрываются за деревьями по краямъ дороги, а Маркъ съ Костылемъ и Ванюхой, прежде чѣмъ спрятаться, быстро пробѣгаютъ еще отъ веревки саженей 5 — 6 въ сторону, откуда несется звонъ колокольчиковъ.

— Стой, — вполголоса командуетъ Маркъ двумъ товарищамъ, бѣгущимъ по другой сторонѣ дороги; тѣ послушно останавливаются,

---

[1]) „Дать цинкъ"—дать сигналъ.

исчезаютъ за деревьями, а Маркъ быстро выходитъ на середину дороги и еще разъ глядитъ въ сторону, гдѣ протянута веревка; за крутымъ поворотомъ дороги ее не видно и, довольный, онъ поспѣшно возвращается назадъ, какъ и всѣ остальные.

— Чисто сдѣлано! — думаетъ онъ: — не увернется голубчикъ!..

И, устремляя взоръ вдоль дороги, онъ затихаетъ.

Все яснѣе и яснѣе слышится звонъ колокольчика; вотъ и топотъ лошадей доносится до слуха и слабое фырканье, и вотъ, наконецъ, изъ-за перевала горы показалась и самая тройка: весело бѣгутъ лошади подъ гору; пофыркиваетъ коренникъ, а у пристяжекъ совсѣмъ опустились постромки, онѣ бѣгутъ только рядомъ, — не тянутъ подъ гору умныя животныя.

— Верстъ съ десятокъ еще будетъ! — отчетливо доносится до Марка голосъ ямщика, и сердце его учащенно бьется; онъ выпрямляется во весь ростъ и чувствуетъ, какъ все внутри у него словно горячей водой обливается. Крѣпко сжимаетъ онъ въ громадной мохнатой ручищѣ широкій ножъ и, сдвинувъ густыя черныя брови, повисшія надъ хищными глазами, зорко слѣдитъ за приближающейся тройкой.

Лошади насторожились; онъ видитъ, какъ коренникъ пугливо прядетъ ушами и слышитъ, какъ испуганно фыркаютъ пристяжки...

Тихо вокругъ. Спитъ лѣсная чаща; спятъ деревья ея въ привѣтливомъ уборѣ зимы, въ сверкающей бѣлой коронѣ снѣговъ, спятъ птицы и звѣри лѣсные, только звѣзды на небѣ мерцаютъ—не спятъ, да красавица ночи—луна серебритъ своимъ свѣтомъ дорогу.

— Вотъ, они—рядомъ...Время!—мелькаетъ въ головѣ Марка и, надувъ, какъ кузнечные мѣхи, могучую грудь, неожиданно, словно филинъ, испускаетъ онъ протяжный жалобный вой и стремительно бросается на дорогу.

Гулко разносится по тайгѣ дикій пронзительный, раздирающій душу крикъ и звонко повторяетъ его въ ночной тишинѣ громкое эхо...

Вздрагиваютъ испуганныя лошади и вдругъ, закусивъ удила, словно перышко подхватываютъ тяжелую кошеву и стремительно несутъ ее впередъ.

Гикаетъ ямщикъ, понявъ всю опасность, и замахивается кнутомъ на коренника, чтобы ударить его, но уже поздно... Чья-то могучая, словно стальная мохнатая рука сбрасываетъ его съ облучка на колѣни сѣдока и хватаетъ на лету выпавшія изъ рукъ его вожжи... Бѣдняга барахтается, силится вскочить, но не можетъ: чья-то приземистая коренастая, словно медвѣжья фигура, натягивая вожжи, что-бы остановить испуганныхъ лошадей, какъ ребенка придавила его тяжелымъ колѣномъ къ испуганному сѣдоку... и вдругъ, онъ узнаетъ въ этой страшной фигурѣ знаменитаго сахалинскаго душегуба—силача Марка.

Волосы на головѣ его встаютъ дыбомъ...

— Маркъ, Маркъ!..—шепчетъ онъ помертвѣвшими губами, и какъ молнія, проносятся въ его умѣ всѣ разсказы о его звѣрствахъ.

— Господи — озаряетъ его на мгновеніе надежда:—авось лошадушки выручатъ, — не остановятся.. донесутъ до поселка...—Но и эта надежда, у него исчезаетъ: онъ видитъ съ какой неимовѣрной силой натягиваетъ Маркъ, вожжи, онъ слышитъ хрипѣнье коренника и вдругъ чувствуетъ, что лошади разомъ садятся на ноги.

— Ай-да Маркъ,—кричитъ кругомъ нѣсколько голосовъ.

А ямщикъ лежитъ подъ нимъ въ кошевѣ, словно связанный канатами,—не можетъ шевельнуться.

—Остановилъ, душегубъ...—прощай жизнь,—думаетъ онъ.

— Вылѣзай, поганка!—слышитъ онъ наконецъ страшный голосъ, и могучая рука Марка хватаетъ его за шиворотъ:—но придержите-ка, робя „касатика", малость; обоихъ разомъ пришьемъ [1]) опосля!—говоритъ онъ со смѣхомъ, и двое оборванцевъ крѣпко хватаютъ его за руки.

— Ѳедоту Иванычу... наше вамъ почтеніе,—продолжаетъ, смѣясь Маркъ, обращаясь къ сѣдоку:—али „куклой" не запаслись на дорогу? Что не кажете?

---

[1]) Пришьемъ—убьемъ.

— Есть, Маркъ, и кукла—вотъ она!—улыбаясь мертвенно блѣдными губами, показываетъ ему старикъ - купецъ блестящій подъ свѣтомъ луны никеллированный револьверъ:—могъ тебя убить, какъ лошадокъ сдерживалъ, да вѣдь грѣшно это... Сегодня сочельникъ—Христосъ народился... убей меня лучше, коли въ Бога не вѣришь... Съ праздникомъ, Маркъ!..

И, бросивъ револьверъ въ сторону, старикъ встаетъ во весь ростъ, широко открывая передъ нимъ свои старческія объятья.

И опустилась вдругъ косматая голова Марка... тяжелый вздохъ вырвался изъ его могучей груди, а съ рѣсницъ его глазъ, сверкая, упала крупная слеза на истлѣвшій лоскутъ суконной рубахи...

Одно мгновеніе прошло только послѣ словъ старика: „съ праздникомъ, Маркъ“, на за это мгновеніе въ памяти Марка пронеслася вся его прежняя юная жизнь, и припомнилась ему елка нарядная, и припомнилась родная его, и онъ словно услышалъ опять ея ласковый голосъ: „съ праздникомъ, Маркъ!“

Задрожала въ немъ душа, и изъ глазъ впервые за всю его жизнь упали на грудь двѣ слезинки.

— Съ праздникомъ, старикъ! — подымая свою голову и хмуро глядя въ лицо Ѳедота, говоритъ онъ:—поѣзжай съ Богомъ, намъ твое добро не надо...—И съ этими словами Маркъ вылѣзъ изъ телѣги.

— Пусти ямщика, дьяволы!—рычитъ онъ:— отвязывай веревку...

Плачетъ старикъ Ѳедотъ Тихомировъ, плачетъ отъ радости и ямщикъ его, забирая въ руки вожжи, а лошади радостно фыркаютъ и бьютъ передними ногами снѣгъ.

— Съ Богомъ, Ѳедотъ!—доносится до кошевы суровый голосъ Марка,—съ Богомъ!

Ямщикъ хочетъ тронуть вожжами, но въ этотъ мигъ четверо бродягъ, обступившихъ кошеву, другъ за другомъ повторяютъ, весело смѣясь и снимая шапки: — съ праздникомъ, Ѳедотъ Ивановичъ! На чаекъ бы съ вашей милости...

— На елочку бы намъ чего пожаловали къ праздничку Христову!—весело выступая впереди товарищей, говоритъ Костыль, лукаво подмигивая однимъ глазомъ и, щелкая себя пальцемъ по шеѣ около уха.

— Забирай, ребята, хоть все; мнѣ ничего не надо, завтра къ вечеру и дома въ семьѣ буду—въ порту!.. Денегъ нѣтъ; съ собой не беру, изъ товаровъ, небось, и сами знаете, изъ Тихменевска въ портъ ничего не везутъ, а все остальное, что при мнѣ есть, отдамъ вамъ, даже и часы золотые даренные...

— Не обижай, ребята, старика, что самъ дастъ—бери, а больше не надо... ужъ для праздничка миловать, такъ миловать!—говоритъ Костыль.

— Ну вотъ что, братцы, берите вотъ этотъ чемоданъ: здѣсь есть изъ бѣлья кое-что и изъ теплой одеженки, потомъ вотъ корзину

съ припасами, тамъ и колбасы, и сыръ, и ветчинки окорокъ почти цѣлый найдете, двѣ бутылки коньяку, бутылку, чуть начатую, рома, два хлѣбушка—черный да бѣлый и еще кое-что изъ закусокъ въ жестяныхъ коробочкахъ; а вотъ тотъ ящичекъ—всѣхъ дороже для васъ подарочекъ—десять бутылокъ въ немъ спирта чистѣйшаго!.. Для кума хотя припасенъ онъ былъ—ну, да Богъ съ вами, берите, куплю ему другихъ десятокъ...

— Ай да Ѳедотъ!.. дай Богъ тебѣ здоровья!—вырывается у бродягъ въ одинъ голосъ и, быстро снимая съ кошевы указанныя купцомъ вещи, весело кланяются они ему:—добрый путь... весело праздники провести!..

Лошади трогаютъ.

— Спасибо, братцы!.. спасибо!—махаетъ Ѳедотъ шапкой бродягамъ:—и вамъ того-же!..

Весело заливаются колокольчики подъ дугой коренника, оглашая спящую тайгу своимъ серебристымъ звономъ; весело пофыркивая, бѣгутъ сытыя лошади, разбрасывая ногами глубокіе сугробы и взметая за собой столбы снѣжной пыли...

Среди густой дѣвственной тайги затерялся заброшенный поселокъ. Замело чуть не до половины снѣжными сугробами его низкорослые домишки и, словно лица безъ глазъ, мрачно глядятъ въ тайгу рамы ихъ оконъ съ выбитыми стеклами.

Давно уже никто не живетъ въ этомъ поселкѣ. По волѣ начальства неожиданно „от-

крывшаго“ его, онъ и „упраздненъ“ также неожиданно.

Плохое мѣсто выбрали пьяные агрономы чиновники Мокрохвостовы, господа изъ фельдфебелей подъ поселокъ; и какъ ни бились сами они, какъ ни мучили несчастныхъ каторжныхъ, перечисленныхъ въ поселенцы, чтобы заставить ихъ жить на указанномъ мѣстѣ, ничего не могли подѣлать—разбѣжались „окаянные“ въ разныя стороны: всѣ ушли „по бродяжеству“. Нѣкоторыхъ изъ нихъ изловили и обратили въ заводскія работы „за побѣгъ съ мѣста причисленія“; другіе сами вернулись „потому какъ и въ тайгѣ одинаково съ голода мерли не лучше чѣмъ на поселкѣ своемъ“, а третьи пропали безъ вѣсти...

— Чѣмъ ни житье было имъ въ Знаменскомъ? — удивлялся чиновникъ Мокрохвостовъ—лѣса вволю; земли подъ нимъ сколько хочешь; топоръ, лопата и кирка для постройки давались имъ отъ казны въ собственность на льготныхъ условіяхъ... Чего бы, кажется, еще? И помирать бы не надо! такъ нѣтъ-же! Куда тамъ! Подавай имъ рѣчку, говорятъ; подавай землицы подъ пашни, да подъ луга; подавай имъ еще чорта въ стулѣ... А то, что, говорятъ, намъ лѣсъ на болотѣ или песокъ съ глиной! Другія бы мѣста намъ, ваше-скородіе, сдѣлайте Божескую милость! Вотъ до чего зажрались!

— Всѣ разбѣжались!—обыкновенно, пожимая плечами и разводя руки въ знакъ полнѣй-

шаго недоумѣнія, оканчиваетъ онъ и теперь свою рѣчь.

Давно никто не живетъ въ Знаменскомъ.

Изъ трехъ десятковъ домовъ его только три—четыре построенные въ серединѣ поселка и притомъ попрочнѣе другихъ—уцѣлѣли, а остальные отъ непогоды и времени обратились въ развалины.

Хищные филины свили въ нихъ свои гнѣзда и ночами наводятъ страхъ своимъ крикомъ и плачемъ на проѣзжающаго мимо брошеннаго селенія путника.

Чуть стемнѣетъ и слышится здѣсь стонъ, плачъ ребенка и хохотъ; и далеко на сотни ладовъ разноситъ его по тайгѣ стоголосое эхо.

— Словно лѣшіе плачутъ,—робѣя говоритъ проѣзжающій мужичекъ изъ ссыльныхъ и, крестясь и читая молитву въ умѣ, подгоняетъ лошадокъ, „чтобы уйти отъ проклятаго мѣста“.

Много страшныхъ разсказовъ и разныхъ легендъ ходитъ въ народѣ объ этомъ поселкѣ и боится его „шпана“, называя его „заколдованнымъ“.

Спитъ Знаменское...

Точно глаза слѣпого глядятъ темныя окна его домовъ; но въ одномъ изъ нихъ сквозь забитыя ставни изъ щели пробивается тонкій лучъ красноватаго свѣта на снѣгъ...

Веселый говоръ и смѣхъ несется изъ стараго дома, и въ тишинѣ ночи ясно звучитъ удалая солдатская пѣсня:

„Ой, ой!.. О—е—ей!
„Вѣрьте совѣсти моей!..“

Надрываются сильные голоса.

„Вѣрьте со—вѣсти мо—ей!..“

Подхватываетъ эхо хоровую пѣснь, далеко разнося ее по всей тайгѣ...

— А чей это домъ, робя? не знаетъ ли кто изъ васъ?—обрываетъ пѣсню товарищей своихъ зычнымъ голосомъ Маркъ.

— А ну его къ... Ѳедьки Востроносова, кажись...—отвѣчаетъ Костыль.

— А! Это того самого, что 85 годовъ каторги набѣгалъ?

— Во—во, энтотъ самый!—весело хохочетъ Гвоздь:—а, вѣдь, Ѳедька сказывалъ мнѣ, какъ насъ оставлялъ-то подъ осень, въ тюрьму на зимовку идучи, безпремѣнно, говоритъ, товарищъ, по веснѣ съ вами опять буду... Мнѣ что, говоритъ, ну ихъ къ чорту, пущай хоть двѣ сотни годовъ еще набавляютъ. Наплевалъ бы я имъ всѣмъ въ хари, да и только! Моя спеціальность, говоритъ, ужъ такая: весна подходитъ — въ ваяжъ пущаться, осень кончается—въ тюрьму на фатеру...

И весело смѣются кругомъ бродяги.

— А здорово Ѳедотъ струсилъ—замѣчаетъ одинъ изъ нихъ, вѣшая бутылку коньяку на красующуюся стройную елку среди пустой комнаты съ голыми тесовыми стѣнами, покрытыми инеемъ.—Ишь, не держитъ, язви ее... сгинается вѣтка—бутылка больно тяжела! Отхлеб-

нуть что-ль, малость?—обращается онъ къ товарищамъ.

— Погоди ты, глаза твои ненасытные!—усовѣщеваетъ его Гвоздь:—дай сначала изукрасить елку-то!.. Вѣшай сперва, говорятъ тебѣ!.. а нѣтъ, такъ проваливай и безъ тебя обойдемся... Выжралъ свою долю, и будетъ пока, а зажжемъ елку, откроемъ чемоданъ съ одежиной, нарядимся по-праздничному, тогда другое дѣло—гуляй во всю!..

— Ну ладно, ладно, держитъ: повѣсилъ!..

— А окорокъ куда, хозяюшка?—спрашиваетъ подслѣповатый бродяга Гвоздя.

— Окорокъ?—задумывается Гвоздь,—пришпиль на маковку... нѣтъ, стой, погоди!.. во, тащи на маковку колбасу вареную, а окорокъ давай сюда, мы его по середкѣ распланируемъ...

— Вотъ этакъ важно!—прихваливаетъ онъ.—Ишь, красота какая! — говоритъ Гвоздь, доставая изъ корзины копченую колбасу въ свинцѣ,—что твоя краля нарядная!..

— Микитка, нарѣжь свѣчи стерлиновыя... кажись въ корзинѣ онѣ...

— Здѣсь, здѣсь, во!—показываетъ Микитка разорванную пачку свѣчей-пятерикъ на фунтъ...

— Сколько ихъ тамъ?

— Четыре.

— А гдѣ-жь пятая?

— Пятая?—обводитъ Микитка комнату глазами:—а горитъ что?..

— Ахъ, да!.. Ну рѣжь всѣ; на четыре части каждую!

— Есть—отзывается бродяга.

Быстро кипитъ работа подъ ловкими руками бродягъ; всѣ закуски развѣшаны уже на елкѣ и на упругихъ, покрытыхъ темнозелеными иглами, вѣткахъ ея бѣлѣются короткія искусно нарѣзанныя стеариновыя свѣчи.

Опустились внизъ граціозныя темныя вѣтви подъ тяжестью грузныхъ бутылокъ, колбасъ, сальтисона, сыровъ и коробокъ съ консервами, а посреди ея къ стройному штамбу грязной тряпкой привязанъ жирный окорокъ ветчины.

— Зажигай, ребята!—командуетъ Гвоздь.

И въ нѣсколько минутъ ярко освѣщается вся внутренность избы.

Весело горитъ елка, дробится и искрится свѣтъ огней на свинцѣ копченой колбасы и отражается на стеклѣ бутылокъ и жести коробокъ съ консервами.

— Ай да елка!—съ дѣтской радостью восклицаютъ бродяги, потирая корявыя руки...—Ай да елка!

— Ну ребята—сюда...—зоветъ къ чемодану Маркъ товарищей.—Снимай серьгу*), Гвоздь...

— Ахъ ты дьяволъ, Ѳедотъ ключа-то и не далъ,—вспоминаетъ Гвоздь,—ну да ладно, и такъ обойдемся и, присѣвъ къ чемодану, умѣлой рукой въ два пріема онъ открываетъ его.

Мирно дѣлятся бродяги Ѳедотовымъ бѣльемъ; всѣмъ приходится его поровну; только двѣ вещи: теплый пиджакъ на мѣху, да фрач-

---

*) Снять серьгу—ломать замокъ.

ная тройка на атласной подкладкѣ разыгриваются между ними.

Фракъ достается Марку, а пиджакъ Гвоздю; но Гвоздь давно уже замѣтилъ, что Марку очень бы хотѣлось получить пиджакъ и потому даритъ его атаману; тотъ сначала настойчиво отказывается отъ него, но потомъ принимаетъ, и въ свою очередь даритъ товарищу фрачную тройку.

Но у Гвоздя добрая душа, и онъ оставляетъ себѣ только одинъ фракъ—ужъ очень онъ его забавляетъ,—а брюки и жилетку отдаетъ товарищамъ: Ванюхѣ—жилетку, а Кузьмѣ-молчаливому—брюки; остается обиженнымъ только подслѣповатый Микитка, но и ему находится на днѣ чемодана подарокъ—красивый плюшевый красный альбомъ съ бронзовой застежкой и съ камнемъ свѣтлозеленаго нефрита въ бронзовой же оправѣ на верхней крышкѣ.

Всѣ довольны; всѣ весело смѣются, одѣваясь въ обновы, и думаютъ объ обильной выпивкѣ и сытной закускѣ.

На импровизированномъ столѣ—старой двери, положенной концами на чемоданъ и корзину, покрытой бѣлой простыней, блестятъ бутылки со спиртомъ и коробки съ консервами; лежатъ черный и бѣлый хлѣбъ, куски колбасы и ветчины и весело пускаютъ вверхъ струйки пара два дорожныхъ чайника, поставленные одинъ на другой: нижній съ кипяткомъ, а верхній съ чаемъ.

Полна огня широкая русская печь; только

пощелкиваютъ въ ней дрова, наполняя комнату тепломъ.

Всѣ весело садятся за столъ.

Маркъ въ тепломъ пиджакѣ, Ванюха въ жилеткѣ на атласной подкладкѣ по верхъ ночной рубашки, Кузьма—молчаливый въ новыхъ порткахъ, Микитка—подслѣповатый съ альбомомъ, а Гвоздь во фракѣ.

— Ну, братцы, съ праздникомъ Христовымъ!—говоритъ Маркъ, и, чокаясь другъ съ другомъ бутылками, всѣ жадно прикладываются къ ихъ горлышкамъ.

Праздничная попойка длится нѣсколько минутъ въ молчаніи.

— Гвоздь во фракѣ!.. ха-ха-ха!..—прыскаетъ вдругъ Кузька — молчаливый, устанавливаясь на Гвоздя покраснѣвшими глазами,—ха-ха-ха!..

И къ его смѣху присоединяются всѣ остальные.

— Заговорилъ, молчаливый дьяволъ!..

— Язви тебя...—хохочетъ и самъ Гвоздь, съ довольнымъ видомъ косясь на фалды своего фрака. И снова всѣ пьютъ и смѣются.

А посреди согрѣвшейся комнаты весело горитъ нарядная елка; дробится и искрится свѣтъ ея огней на свинцѣ копченой колбасы и отражается на стеклѣ бутылокъ и жести коробокъ съ консервами.

Аѳиногоръ Ивановичъ Мокрохвостовъ.

(Новогодній набросокъ).

Аѳиногоръ Ивановичъ Мокрохвостовъ, еще разъ остановясь въ дверяхъ столовой, окинулъ внимательнымъ взглядомъ сервировку стола, покрутилъ щетинистые сѣдые усы, сбросилъ щелчкомъ пальца съ рукава новаго сюртука соринку и, самодовольно улыбаясь, прошелъ въ кабинетъ.

Опустившись въ удобное, обитое кожей мягкое кресло передъ письменнымъ столомъ, онъ на минуту задумался, устремивъ свой взоръ въ правое окно, изъ котораго, сквозь сумракъ надвигавшейся ночи, словно двѣ желтовато-красныя звѣздочки, глядѣли два огонька,—одинъ изъ балагана—землянки кладбищенскаго сторожа, другой повыше и полѣвѣе—ближе къ берегу—изъ коморки ссыльно-каторжнаго Левчука—сторожа, недавно выстроеннаго деревяннаго К... маяка.

Бой стѣнныхъ часовъ привелъ Мокрохвостова въ себя; онъ быстро обернулся назадъ,

взглянулъ на циферблатъ и поспѣшно выдвинулъ средній ящикъ стола: „семь часовъ, чортъ возьми!.. Скоро начнутъ собираться гости, а у меня еще кое-что не кончено“,—подумалъ онъ. И, доставъ изъ стола небольшую черную книжку, на которой значилось: „для забора спиртныхъ напитковъ изъ лавки К... экономическаго фонда“, перебросилъ нѣсколько страницъ ея, взялъ счеты и быстро сталъ считать.

— Всего за октябрь, ноябрь и декабрь взято семьдесятъ четыре бутылки спирта и сорокъ—водки; иначе говоря—девяносто четыре бутылки спирта [1])—то-есть даже меньше разрѣшеннаго свыше!—Мокрохвостовъ сдвинулъ косточки счетовъ въ правую сторону и самодовольно улыбнулся;—но что бы это было, чортъ возьми, если бы не „Ярославль“!—подумалъ онъ:—и шести сотенъ бутылокъ не хватило бы... А теперь, на-те-ка, п-оконтролируйте меня, сколько у меня было за годъ спирта!.. Слава Богу, что „Ярославль“ ходитъ—книжечка чистенькая! Пусть говорятъ про меня, что я торгую, какъ кабатчикъ, а я покажу—вотъ, молъ, она, глядите: всего девяносто четыре бутылки за три мѣсяца!.. Снялъ скажутъ съ „Ярославля“ цѣлый винный погребъ... Ха, ха, ха!.. Такъ пусть ихъ докажутъ... Нѣтъ съ, шалишь, Мокрохвостовъ умѣетъ концы въ воду прятать!..

---

[1]) На Сахалинѣ 2 бутылки водки принято считать за бутылку спирта.

Закрывъ книжку, Мокрохвостовъ бережно положилъ ее опять на мѣсто и досталъ изъ стола листъ почтовой бумаги съ таинственными цифрами, ничего не говорящими человѣку непосвященному въ дѣло, но самъ Мокрохвостовъ понималъ каждую ея точку, каждую черточку; въ ней все имѣло значеніе, даже и размѣщеніе цифръ.

— Всего отъ оборота имѣю, слѣдовательно,— щелкая на счетахъ, соображаетъ Мокрохвостовъ,—780 рублей 5 копеекъ... Ничего... Слава Богу!.. Вѣдь за три мѣсяца только!.. Это выходитъ даже побольше чѣмъ жалованья... Вѣдь чистенькой прибыли 780 цѣлковыхъ!— думаетъ онъ, блаженно улыбаясь и уставясь любовными глазами на записку.

Нѣсколько времени онъ сидитъ неподвижно, глядя на нее, потомъ прячетъ записку въ столъ, и, закладывая руки за голову, хруститъ пальцами, съ наслажденьемъ потягиваясь, и, наконецъ, встаетъ изъ-за стола и, похаживая по комнатѣ, поетъ нѣсколько хриплымъ баритончикомъ:

— „Блаженъ мужъ, иже не идетъ на совѣтъ не-честивыхъ... И совѣтъ не-че-сти-выхъ, тако да по-гиб-нетъ“...

Въ это время изъ кухни доносится до его слуха звонокъ; черезъ нѣсколько времени онъ слышитъ, какъ ссыльно-каторжный Ефремовъ проходитъ изъ кухни чрезъ коридоръ къ парадным дверямъ и отпираетъ ихъ.

— Вѣрно Разгильдяевъ,—думаетъ Мокро-

хвостовъ: онъ человѣкъ набожный, — какъ никакъ изъ священнаго званія—сынъ церковнаго сторожа изъ нашего села!.. Будущій мужъ моей Катюши... Пусть проникнется уваженіемъ къ своему тестю!..

И Мокрохвостовъ слащавымъ, высокимъ фальцетомъ, закативъ подъ лобъ глаза, тянетъ, будто не видя, и не слыша ничего вокругъ:

„Да исправится мо-ли-тва моя,
„Яко ка-ди-ло предъ То-бо-о-ю...
„Воз-дѣ-я-ні-е ру-ку мо-е-ю
„Жерт-ва ве-чер-ня-я...

— Ваше высокоблагородіе, ихъ благородіе, господинъ Разгильдяевъ изволили прибыть,— докладываетъ Ефремовъ.

— „Жерт-ва ве-че-ер-ня-я“—тянетъ Мокрохвостовъ не своимъ голосомъ.—Что тебѣ, дьяволъ, отъ меня надо? — неожиданно вдругъ обрываетъ онъ пѣснопѣніе зычнымъ голосомъ.

— Господинъ Разгильдяевъ изволили прибыть,—докладываетъ вторично оробѣвшій Ефремовъ.

— А!.. Такъ, что же ты не сказалъ сразу... Экій дурень какой!.. Проси, проси скорѣй!..— и Мокрохвостовъ, словно неожиданно обрадованный, поспѣшно выбѣгаетъ на встрѣчу своему гостю.

— Очень радъ, очень радъ, родной мой!— пожимая гостю руку, твердитъ Мокрохвостовъ и, взявъ его подъ руку, ведетъ въ гостиную.

— Присаживайтесь, Степанъ Лукичъ, при-

саживайтесь, да скидавайте свои доспѣхи, пожалуйста...

Разгильдяевъ косится въ зеркало на свою фигуру, облаченную въ мундиръ тюремнаго вѣдомства, и, съ видимымъ сожалѣніемъ, отстегиваетъ шашку.

— Поставьте вонъ туда, въ уголъ,—хлопочетъ Мокрохвостовъ,—ну-съ, садитесь!.. Что у васъ новенькаго?—разсказывайте. Папироску не желаете ли?.. Ефремовъ!.. спичекъ...—кричитъ онъ.

Ефремовъ приноситъ спички и снова исчезаетъ.

— Новенькаго?.. — устанавливаясь неподвижнымъ взглядомъ на остриженную, какъ у новобранца, громадную голову хозяина, задумчиво спрашиваетъ Разгильдяевъ,—новенькое есть, Аѳиногоръ Ивановичъ... только ужъ и не знаю говорить ли вамъ сегодня... Лучше подожду, когда пройдутъ праздники...

— Что? опять что-нибудь накуралесили?

— Есть тотъ грѣхъ!.. Да говорить ли, правда, сегодня?..

— Что за пустяки! конечно говорите.

— Вышла скандальная исторійка, Аѳиногоръ Ивановичъ, на С...вкѣ... Я, фельдшеръ Щелкоперскій и монашкина дочка—Сонька... немножко выпили... ну и... и, какъ бы вамъ сказать...

— И передрались въ своей компаніи?..—смѣется Мокрохвостовъ,—ну, такъ это пустяки!!.

— То-то и дѣло, что не совсѣмъ такъ.

Если бы въ избѣ у монашки, такъ это бы наплевать, а то съ пьяныхъ глазъ мы попали въ чужую избу и давай тамъ колотить посуду, окна и все, что ни попадетъ подъ руку... двухъ бабъ еще тамъ же избили и старика старосту... а что хуже всего, такъ это то, что я сдѣлалъ выстрѣлъ изъ револьвера въ ихъ избѣ и... буду говорить вамъ ужъ всю правду... посовѣтуйте ради Бога, что тутъ дѣлать!.. съ меня сорвала старостиха, когда я лупилъ ея мужа, погоны и они остались у нея...

— Эхъ, какую вы оплошность сдѣлали, Степанъ Лукичъ!—ударивъ себя по ногѣ рукою, замоталъ головой Мокрохвостовъ:—развѣ можно это такъ дѣлать!.. Надо было во что бы то ни стало отнять у нея погоны... Ну, да что дѣлать, теперь ужъ поздно!.. Еще что было? Говорите ужъ все!

— Больше-то ничего, да только вотъ что плохо, бабы уже побывали у своего заступника и передали ему все дѣло, какъ оно было; и погоны у него. Говорятъ, что этотъ мерзавецъ уже и прошеніе имъ написалъ на насъ мировому, и выступаетъ противъ насъ на судѣ въ качествѣ истца.

— Ахъ, подлецъ... ну, буквально сталъ намъ всѣмъ поперекъ горла!..—задыхаясь отъ злобы, шипитъ Мокрохвостовъ. — Плохо дѣло, если только это такъ!.. Ужъ насолитъ же вамъ теперь эта язва!.. Петербургскій фертикъ!..

На минуту оба задумываются; хозяинъ

Арестанты на работѣ въ посту Александровскомъ на Сахалинѣ.

встаетъ, наконецъ, съ кресла и нервно ходитъ по комнатѣ.

— Вы никому не сознавались кромѣ меня?— оживляясь вдругъ, спрашиваетъ онъ гостя.

— Никому.

— Отлично! Такъ я васъ научу, какъ дѣйствовать... Быть-можетъ, намъ удастся оставить въ дуракахъ, да и упечь еще, куда Макаръ телятъ не гонялъ, этого фертика — потворщика каторги... Подавайте сами прошеніе мировому на него, — привлекайте его за подкупъ поселенцевъ къ клеветѣ на васъ... Понимаете?.. Эхъ, чортъ возьми, звонятъ... Ну, хорошо, завтра вечеркомъ заходите ко мнѣ; я васъ научу какъ дѣйствовать,—скороговоркой спѣшитъ кончить рѣчь Мокрохвостовъ и вдругъ, закатывая глаза подъ лобъ, затягиваетъ тонкимъ фальцетомъ:

— Блаженъ мужъ, и-же не иде на совѣтъ не-че-сти-и-выхъ...

— Скучаю, скучаю, Степанъ Лукичъ!..— подмигивая правымъ глазомъ, громко говоритъ со вздохомъ Мокрохвостовъ—только радости осталось у меня на старости лѣтъ—священныя пѣсни, да заботы о несчастной каторгѣ нашей... Одинъ одинешенекъ, вѣдь—жена и дѣти на материкѣ, ребятишки учатся!.. Что дѣлать, вся наша жизнь — сплошная жертва! Надо умѣть жить для другихъ, дорогой мой!

— Да полно вамъ, Аѳиногоръ Ивановичъ, какой вы старикъ!.. Вѣдь вамъ не больше сорока лѣтъ,—говоритъ Разгильдяевъ, глядя

съ восторгомъ на крѣпкую фигуру Мокрохвостова.

— Нѣтъ-съ, батенька, ошибаетесь—мнѣ 46,— замѣчаетъ довольный хозяинъ.

— Неужели?—восклицаетъ, притворно удивляясь гость, глядя на его сѣдину.

— Какая же мнѣ охота прибавлять себѣ года?—улыбается Мокрохвостовъ, а самъ соображаетъ:—„сорокъ шесть-то мнѣ было семь лѣтъ тому назадъ“.

— Жизнь, батюшка мой, не краситъ сахалинская, а то бы я и моложе выглядѣлъ... Вѣрите ли, вѣдь за одинъ годъ послѣдній весь посѣдѣлъ!—теребя широкую и длинную, какъ у итальянскаго разбойника, эспаньолку,—говоритъ Мокрохвостовъ,—вѣдь здѣсь только и живешь на нервахъ.

— Господа Линава и Пигай,—докладываетъ Ефремовъ.

— А!.. Проси, проси... милости просимъ, Ануфрій Петровичъ, пожалуйте, Александръ Ивановичъ,—суетится хозяинъ, встрѣчая гостей-японцевъ.

— Э!.. какъ васи здоровей?..

— Какъ позиваете?

Здороваются гости съ Мокрохвостовымъ и Разгильдяевымъ.

— Благодарю, какъ вы живете-можете?.. Садитесь, пожалуйста, господа!.. Что это Щелкоперскій не идетъ... А! вотъ и онъ, вѣрно! Легокъ на поминѣ... Звонили вѣдь, кажется?..

— Да,—подтверждаетъ Разгильдяевъ.

— Ну, вотъ и отлично: стало быть теперь всѣ въ сборѣ,—потираетъ руки хозяинъ.

— Господинъ Щелкоперскій, — докладываетъ Ефремовъ.

Входитъ Щелкоперскій и здоровается со всѣми.

— Ну, господа, скоро половина одиннадцатаго; не перейдемъ ли мы съ вами въ столовую пропустить по рюмашечкѣ?—предлагаетъ Аѳиногоръ Ивановичъ,—пусть ужъ новый годъ насъ застанетъ веселыми... Прошу васъ, безъ церемоній, пожалуйста!.. — и Мокрохвостовъ беретъ подъ руку Разгильдяева и первый входитъ съ нимъ въ столовую, а за нимъ слѣдуетъ Щелкоперскій и японцы.

— Садитесь, пожалуйста, — приглашаетъ Аѳиногоръ Ивановичъ гостей, занимая хозяйское мѣсто на концѣ стола и наполняя рюмки водкой,—выпьемъ по единой!

— Мозьно, — въ голосъ говорятъ оба японца.

Всѣ выпиваютъ и закусываютъ.

— Эхъ, селедку-то мой личарда и забылъ приготовить!.. Вѣдь этакій дурандасъ!—морща переломленный въ переносицѣ носъ, украшенный на концѣ густой сѣтью темно-красныхъ жилокъ, говоритъ Мокрохвостовъ, — ну, не могу... простите, господа, пойду сдѣлаю ему маленькую распеканцію...

И, пріятно улыбаясь, Мокрохвостовъ выходитъ изъ столовой.

— Ты что же, язви твою душу, селедку не приготовилъ, с.....ъ сынъ?—поднося громадный кулакъ къ зубамъ Ефремова, шипитъ онъ въ кухнѣ.

— Ваше высокоблагородіе, я сказывалъ Ивану... вѣдь я же самъ не привыченъ къ поварскому искусству,—старается оправдаться тотъ.

— Дѣла мнѣ нѣтъ никакого до твоей непривычности! Сказано тебѣ, съ тебя и спрашиваю... Морду бы тебѣ раскровянить, негодяю... Чтобъ сейчасъ была селедка на столѣ!.. Слышишь ты с.....чь! Сію минуту!.. иначе напоешься ты у меня для праздничка...

— „Рождество Тво-е Хри-сте Бо-же нашъ по-емъ и славимъ“—мурлычетъ Мокрохвостовъ, возвращаясь опять въ столовую, — сейчасъ, господа, и селедка будетъ!—весело говоритъ онъ гостямъ, — пока что — выпьемъ еще по единой.

Рюмки наполняются.

— Ваше здоровье!

— Будемте здоровы!

— А славнаго пивца, Ануфрій Петровичъ, прислали вы мнѣ ящичекъ, спасибо вамъ,— говоритъ Мокрохвостовъ Линавѣ, — гораздо лучше, чѣмъ вашъ керосинъ... Оно, положимъ, керосинъ хотя и не хорошъ ну, да, вѣдь, даровому коню въ зубы не глядятъ... Не правда ли? А?.. Выпьемъ, господа, еще по единой... За ваше здоровье!.. А! — щелкаетъ языкомъ

Мокрохвостовъ, осушая свою объемистую рюмку.

Болѣе часа длилась веселая пирушка.

Лица хозяина и гостей въ достаточной мѣрѣ раскраснѣлись; незамѣтно появившаяся на столѣ селедка была давно уничтожена и сиротливо глядѣли со стола опустошенныя бутылки и тарелки изъ-подъ закусокъ.

— Эхъ, когда я былъ фельдфебелемъ... то-есть... тьфу ты чортъ... когда я былъ поручикомъ, — поправляется Мокрохвостовъ,— здорово я пилъ... А теперь ужъ не то, уходитъ моя молодость—слабъ сталъ...

Стѣнные часы въ кабинетѣ въ это время бьютъ двѣнадцать.

— Двѣнадцать часовъ, — неувѣренно говоритъ Линава.—Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ!..

— Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ!— спохватывается и Мокрохвостовъ.—Эй! Ефремовъ, подлецъ... тащи сюда селедку, да шампанскаго подавай!.. каналья...—кричитъ онъ, растегивая по примѣру Разгильдяева сюртукъ, —шампанскаго, скоты!..

И блуждающимъ взглядомъ обводитъ онъ присутствующихъ.

Разгильдяевъ, широко разставивъ вытянутыя ноги и откинувъ голову на спинку стула, надрываясь поетъ, вытирая кулакомъ слезы.

„Не осенній мелкій дождечекъ
„Брызжетъ, брызжетъ сквозь туманъ“...

Фельдшеръ Щелкоперскій посвистываетъ носомъ и слегка всхрапываетъ, положивъ голову на руки, сложенныя на столѣ.

Японцы съ двухъ сторонъ стараются пояснить что-то Мокрохвостову насчетъ торговъ на рыбные промыслы по западному берегу Сахалина и при этомъ обѣщаютъ ему поставлять безплатно въ теченіи всей его жизни на островѣ и керосинъ, и свѣчи, и пиво, и мыло, и все что ему угодно...—Только устройте намъ это дѣльце, Аѳиногоръ Ивановичъ!—наперерывъ лопочутъ они.

А Мокрохвостовъ, не слушая ихъ и обѣщая въ то же время все для нихъ сдѣлать, слезливымъ голосомъ выкрикиваетъ Разгильдяеву:—Степанъ Лукичъ!.. Степа... Степушка, будь мужемъ моей Катюши... женись на ней, лопни мои глаза...

— Ну тебя къ чорту... Отвяжись ты съ ней... Рыломъ она не вышла—не отдавая себѣ отчета въ томъ, что говоритъ, отвѣчаетъ Разгильдяевъ и снова затягиваетъ свою пѣсню.

Мокрохвостовъ нѣкоторое время недоумѣвая смотритъ на него, потомъ грозитъ невѣдомо кому кулакомъ и кричитъ:—тащи его на кобылу... чтобы отъ первой розги околѣлъ!.. Морду бы тебѣ раскровянить негодяю за селедку...

И вдругъ стихая, начинаетъ всхлипывать:—Бѣдные!.. Страдальцы!.. Люблю я васъ, видитъ Богъ, какъ дѣтей своихъ... всю каторгу люблю!..

И, свѣсивъ голову на грудь, онъ засыпаетъ...

Поэтъ Гришка Варшавскій.

— Ваше-скородіе, Гришка Варшавскій сапоги тэбѣ приносилъ будэтъ, — просовывая черномазую голову въ дверь кабинета, докладываетъ мой поваръ-татаринъ Мусса.

— А!.. тащи его сюда,—говорю я.

— Э-эхъ!—щелкаетъ языкомъ и укоризненно качаетъ головой Мусса,—всякій скатына ташши тэбѣ въ кабынэтъ надо!.. Ходы самъ на кухня, развѣ такъ господа дэлаютъ?.. Ты съ нимъ какъ съ чиловэкамъ, а она пайдетъ, бродяга нечастная, да по господамъ врать станэтъ— я съ гаспадинамъ секлетарямъ чай кушалъ, сигарка курилъ... Ходы самъ кухня, ваше-скородіе!..

— Не пойду, лѣнь,—смѣясь отвѣчаю я:— тащи его сюда!

— Эхъ, баринъ, баринъ, помяны ты слова мои,—говорытъ въ порта будутъ про тэбѣ нэ хорошъ...

— Ерунда!—отвѣчаю я:—а если даже и такъ, то мнѣ-то что—дѣтей не крестить съ твоими господами!.. Зови его сюда!

Видя, что меня не переупрямишь, Мусса,

саркастически улыбается, скрестивъ на груди жилистыя руки съ засученными рукавами, и, какъ бы сожалѣя дурака-барина, качаетъ головой, слегка прищуривъ на меня черные глаза. Постоявъ нѣсколько секундъ безъ движенія, онъ тяжело вздыхаетъ и молча выходитъ, наконецъ, изъ комнаты.

„Странный человѣкъ этотъ Мусса, — думаю я:—сколько въ немъ противоположностей! Насколько я его знаю—это добрѣйшая душа, а между тѣмъ, онъ сосланъ сюда на Сахалинъ въ безсрочную каторгу за семнадцать звѣрскихъ убійствъ на Кавказѣ—онъ былъ разбойникомъ, рѣзалъ людей тамъ! Когда надняхъ я расцарапалъ гвоздемъ руку, и онъ увидалъ на ней кровь, то съ такимъ видомъ схватился за голову, закрывая свои глаза, и съ такимъ ужасомъ заохалъ, втягивая сквозь искривившіяся губы въ себя воздухъ, что можно было подумать, что вотъ-вотъ онъ лишится чувствъ; а между тѣмъ, самъ же онъ разсказывалъ мнѣ, смѣясь, какъ нѣсколько минутъ кричала отрубленная имъ человѣческая голова, болтая языкомъ разинутаго рта. Когда недѣлю тому назадъ, я посѣялъ кошелекъ съ пятьюдесятью рублями и уже потерялъ всякую надежду на то, что онъ отыщется, Мусса принесъ мнѣ его, говоря, что онъ нашелъ его въ саду; въ то же время,—мнѣ хорошо извѣстно, я провѣрилъ это самъ,—каждый день онъ воруетъ у меня по нѣсколько копеекъ съ провизіи, крадетъ и

продаетъ мой керосинъ, масло, сахаръ и тому подобныя мелочи. Онъ заботится обо мнѣ, какъ о своемъ ребенкѣ; мнѣ передавали, что, когда я былъ боленъ, онъ плакалъ ночами, стоя у дверей моей спальни; онъ ревнуетъ меня къ моимъ дѣтямъ, къ женѣ, а между тѣмъ вездѣ ругаетъ меня на всѣ корки и взводитъ на меня всевозможныя небылицы... Трудно его понять!..“

— Здравія желаю, ваше высокоблагородіе! — меланхолическимъ голосомъ, не торопясь, говоритъ, входя въ комнату и останавливаясь у дверей съ сапогами въ грязныхъ отъ работы рукахъ, сапожникъ Григорій Ткачевъ, прозванный Варшавскимъ.

— Здравствуй, голубчикъ.

— Сапожки вамъ принесъ,—подаетъ онъ ихъ мнѣ:—примѣрите?

— Давай.

Я надѣваю сапоги, а Ткачевъ закладываетъ руки назадъ и, отойдя опять къ дверямъ, внимательно осматриваетъ всѣ вещи въ комнатѣ, поворачивая голову изъ стороны въ сторону.

Ткачевъ — человѣкъ лѣтъ 37—38, очень высокаго роста, худой, необыкновенно широкоплечій, съ громадными ногами и руками; лицо его было бы даже красивымъ, если бы на немъ не было рябинъ и нѣсколькихъ глубокихъ шрамовъ; обрамленное темно-каштановыми волосами и богатѣйшими усами запо-

рожца, оно носитъ на себѣ отпечатовъ какого-то унынія и меланхолической задумчивости.

Говоритъ онъ всегда не торопясь, слѣдя за гладкостью рѣчи; считаетъ себя очень умнымъ человѣкомъ, къ своему сапожному ремеслу, хотя и кормится отъ него, относится съ презрѣніемъ; по образованію ставитъ себя (пожалуй и справедливо!) на одинъ уровень съ большинствомъ сахалинскихъ чиновниковъ; любитъ очень стихи и знаетъ ихъ наизусть цѣлую прорву; когда разговариваетъ, съ кѣмъ можно не стѣсняясь, то часто украшаетъ свою рѣчь двумя-тремя риѳмованными строфами какого-нибудь поэта; онъ поклонникъ Некрасова и въ то же время одинаково благоговѣетъ передъ Пушкинымъ и передъ какимъ-нибудь современнымъ піитой Анчуткой Безпятовымъ, не находя разницы въ твореніяхъ двухъ этихъ поэтовъ; года три тому назадъ Григорій Ткачевъ „съ пьяныхъ глазъ“ и самъ попробовалъ написать „какую-нибудь чепуху“ и, какъ онъ разсказываетъ, „взялъ перо и смаху навалялъ три страницы писчаго листа“, а когда проснулся на слѣдующее утро, „опохмѣлился малость“ и привелъ себя „въ натуру“, такъ даже ахнулъ: просто диву дался, какъ могъ написать такое стихотвореніе, —„ажъ слеза меня прошибла!.. И вотъ пошло съ тѣхъ поръ, и пошло!.. Какъ зачалъ писать, какъ зачалъ... и-и-и!—страсть сколько теперь у меня этихъ сочиненій развелось... Во! цѣлая книга!..“

И Ткачевъ во всю ширь растягиваетъ при

этомъ свою громадную пятерню, чтобы дать понятіе о толщинѣ этой книги стихотвореній.

Ткачевъ страдаетъ запойчиками и въ то же время онъ игрокъ, то-есть, прекрасно владѣетъ колодой картъ, знаетъ всѣ вольты и передержки, проведетъ кого угодно въ „клинъ", втащитъ въ „баламутъ", сдастъ вамъ „кругляка" и въ „пятерикъ"[1]) надуетъ; но, не смотря на свое геніальное умѣніе играть, онъ всегда проигрываетъ „и чортъ-те знаетъ съ чего! лучше меня никто не сдастъ, это ужъ безъ хвастовства скажу, а вотъ поди-жъ ты, не фартитъ да и только!"—разводилъ обыкновенно онъ руками.

Благодаря этимъ двумъ несчастьямъ, онъ почти всегда ходитъ безъ сапогъ, въ однѣхъ „исподнихъ", да въ рваной ситцевой рубахѣ на голое тѣло, даже ничѣмъ не перевязанной въ таліи. Въ этомъ легкомъ костюмѣ иногда его застаетъ и зима; впрочемъ, въ холодное время года на головѣ его всегда красуется старая-старая вылинявшая и вытертая суконная фуражка съ громаднымъ козырькомъ, онъ ее не можетъ ни проиграть, ни пропить, ни даже потерять; гдѣ онъ ни оставлялъ, гдѣ ни терялъ ее—она все возвращается къ нему обратно.

---

[1]) „Клинъ", „баламутъ", „круглякъ" и „пятерикъ"—особые строи колоды картъ—шулерскія подтасовки передъ сдачей. „Втащить въ баламутъ", въ клинъ, въ пятерикъ и т. п., значитъ обыгрывать въ баламутъ, въ клинъ, въ пятерикъ и т. д.

— Думаю пить бросить, ваше высокоблагородіе,—грустно улыбаясь, говоритъ мнѣ Ткачевъ.

— Хорошее, братъ, дѣло!

— Играть бросилъ; уже съ мѣсяцъ картъ въ рукахъ не держалъ!

— Ну!—удивляюсь я:—молодчина!

— Надоѣла жизнь собачья, хочу человѣческій образъ принять... Сталъ стихами въ сурьезъ заниматься!—неожиданно вдругъ выпаливаетъ онъ и конфузливо смолкаетъ.

— А, что, Ткачевъ, скажи по совѣсти, били тебя когда-нибудь за твои...—какъ бы это сказать, думаю я, чтобы его не обидѣть:—ну, за твои... фокусы въ карточной игрѣ?

— За что же бить-то, ваше высокоблагородіе?..

— Какъ за что,—если попадался?..

— Если очень пьяны бывали въ игрѣ, случалось и взыскивали; а вообще, большей частью, у насъ не обижаются на эфто, потому какъ и сами всѣ игроки тѣмъ же оружіемъ дѣйствуютъ.

— Неужели ничего?—удивляюсь я.

— А чего-жъ тутъ,—смѣется Ткачевъ:—какъ сапожки, ваше высокоблагородіе, ничего сшиты?

— Хорошо, очень хорошо. Сколько тебѣ остается получить съ меня?

— Девять получилъ, ваше высокоблагородіе, пять еще; всѣхъ четырнадцать.

— Ну, спасибо, братъ,—отдаю я ему день-

ги:—хорошо сшилъ, и не надулъ какъ Михѣевъ.

— А, что Михѣевъ окрутилъ видно съ задаткомъ? Взялъ да и пропилъ?..

— Да.

— И много ваше высокоблагородіе?

— Тоже девять рублей.

— Ахъ, подлый! Нѣтъ ужъ, ваше высокоблагородіе, со мной не случается эфтого. Лучше какъ собака безъ куска хлѣба издохну, а такой пакости ни въ жисть не позволю себѣ... Что же за Воробьемъ не изволили посылать?

— Нѣтъ.

— А надо бы; онъ бы у него изъ глотки ихъ вырвалъ, да принесъ вамъ.

— Ну, братъ, изъ-за девяти рублей чтобъ увѣчили человѣка!.. Богъ съ ними совсѣмъ!— отмахиваюсь я руками.

— Такъ что-жъ, ваше высокоблагородіе, вонъ господинъ Мокрохвостовъ намеднись какъ отлипартовалъ портного Бѣлыхъ за свой старый жилетъ... Мало того, что Воробей увѣчилъ его желѣзной палкой своей, такъ и господинъ Мокрохвостовъ преподалъ ему собственноручно полный курсъ ниверситета, ажно кровь изъ его пьяной хари выступила,— чтобъ была, говоритъ, завтра же жилетка мнѣ новая замѣсто старой моей, а нѣтъ, такъ въ клоповникѣ сгною... Ну, видитъ Бѣлыхъ, что не шутятъ съ нимъ, понатужился и на утро приволокъ господину Мокрохвостову новенькую... божится, пять цѣлковыхъ самому стала,

а старую насилу-насилу за двугривенный, говоритъ, подъ залогъ Абдулкѣ всучилъ... Нѣтъ, послали бы за Воробьемъ, ваше высокоблагородіе!.. Неужто же нѣтъ?.. Ну, какъ вамъ угодно...

— Вотъ что, Ткачевъ, скажи пожалуйста,— говорю ему я, желая перемѣнить тему,—какіе ты теперь пишешь стихи?

— Да разные, ваше выкокоблагородіе; сейчасъ, напримѣръ, пишу я воспоминанія... Позвольте, ваше высокоблагородіе, въ кухню пройти, покурить малость... ужъ оченно меня отъ вашей цыгарки разбираетъ—страсть какъ пахуча, ажно у самого аппетитъ разыгрался.

— То-есть ты хочешь сигару? — спрашиваю я.

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе, нешто я могу это,—смущенно отвѣчаетъ Ткачевъ,—я говорю, если позволите, у васъ на кухнѣ козью ножку только скурю и приду опять сюда къ вашей милости, про то самое стихотвореніе—досказать, коли интересоваться изволите моимъ сочинительствомъ...

Но я прекрасно понимаю, конечно, его хитрость: ему хочется попросить у меня сигару, но онъ не смѣетъ сдѣлать этого, а между тѣмъ, ему извѣстно также, что стоитъ только попросить у меня чего-нибудь, хотя бы даже намекомъ, — я не откажу. И, дѣйствительно, какъ отказать обездоленному человѣку въ такомъ пустякѣ? Не все ли равно, что выкуритъ въ моемъ кабинетѣ сигару чиновникъ

Мокрохвостовъ, что Гришка Варшавскій; въ послѣднемъ случаѣ мнѣ даже несравненно пріятнѣе, потому что я сознаю, что доставляю человѣку громадное удовольствіе. Этотъ громадный 38-лѣтній Гришка Варшавскій въ данную минуту никто иной, какъ ребенокъ,—ему доставляетъ удовольствіе покурить душистую сигару въ присутстіи начальника; быть-можетъ, за свою жизнь на Сахалинѣ не одинъ разъ онъ будетъ вспоминать объ этомъ послѣ и разсказывать товарищамъ съ наивнымъ хвастовствомъ. „Доставлю ему удовольствіе"—думаю я, и подаю ему сигару:—на, возьми.

— Покорнѣйше благодарю, ваше высокоблагородіе, — съ чувствомъ благодаритъ онъ, и смущенно вертитъ ее между пальцами; лицо его заливаетъ краска, а на лбу и вискахъ выступаютъ крупныя капли пота; онъ вытираетъ ихъ широкой черной отъ ваксы ладонью и оставляетъ на кожѣ лица черныя полосы.

— Да ужъ и закуривай,—говорю я.

И словно съ отчаяньемъ лѣзетъ онъ въ карманъ для часовъ на своей рваной рубахѣ, какъ-то торопливо и неловко закуриваетъ не съ того конца, прячетъ спички снова въ карманъ и, наконецъ, зажимаетъ почти всю сигару въ кулакѣ.

Я дѣлаю видъ, что не замѣчаю его смущенія и говорю:—Такъ значитъ ты пишешь теперь воспоминанія... Какія же? О чемъ?

— О господинѣ Стыдницкомъ — бывшемъ

начальникѣ нашей тюрьмы. Вы не застали его, ваше высокоблагородіе? Нѣтъ?.. Ну, ужъ, скажу я вамъ, и человѣкъ былъ... страсть, крутой!.. сущій звѣрь!.. Поролъ нашего брата такъ, что страсть, прямо на смерть бывало закатывалъ... Суровый былъ человѣкъ... Никакого начальствія надъ собой не признавалъ, чуть что не по немъ такъ сейчасъ и пойдетъ садить непристойными словами хоть кого бы тамъ не было; и самого губернатора даже, сказываютъ, разъ изругалъ на чемъ свѣтъ стоитъ... Въ Бога онъ хоть и вѣрилъ, а и въ церкви при всемъ народѣ бывало тоже не разъ самыми скверными словами попа обзывалъ... Да что, обзывалъ!.. Случилось какъ-то, попросилъ нашъ батька у него подъ Рождество рабочихъ изъ тюрьмы, чтобы снѣгъ откидать вокругъ церкви, потому сильно ее замело тогда; а Стыдницкій-то нашъ, какъ разъ въ тѣ поры не въ духѣ былъ; вотъ стоитъ это попъ нашъ у церкви и говоритъ ему: „вы бы намъ человѣчка два отпустили, Николай Наколаевичъ“, — а тотъ посмотрѣлъ, посмотрѣлъ на него этакъ хмуро, вынулъ трубку изо рта, сплюнулъ въ сторону, да какъ чесанетъ попа непотребнымъ словомъ, у того ажно глаза на лобъ вылѣзли; ну попъ нашъ въ амбицію вдарился и пошла это у нихъ ссора... А надо вамъ сказать, ваше высокоблагородіе, у Стыдницкаго въ рукахъ кнутъ былъ въ это время—пріѣхалъ, знать, къ кому-нибудь на лошади—постоянно самъ правилъ... Вотъ

они стоятъ да не ладятъ; Стыдницкій непотребнымъ словомъ, попъ въ амбицію, Стыдницкій непотребнымъ словомъ, попъ опять въ амбицію, дальше больше, — не вытерпѣлъ нашъ Стыдницкій, какъ затопочетъ на попа ногами,—„ахъ ты такой сякой, немазаный! Поговори еще, запорю тебя, язви твою душу!“ кричитъ, да какъ замахнется кнутомъ! Попъ бѣжать, онъ за нимъ, а у ограды народъ собрался—хохочутъ... Вотъ какія здѣсь дѣла срамныя были раньше, ваше высокоблагородіе!.. Теперь что — благодать!.. Такъ вотъ про этого Стыдницкаго я и зачалъ теперь сочинять стихи, да про надзирателя Воробья, да еще про одного татарина ссыльнаго изъ персидскихъ принцевъ; онъ теперь ужъ ослободился отъ каторги и на родину этапомъ высланъ—въ Персію; а тогда при Стыдницкомъ онъ былъ у насъ въ тюрьмѣ поваромъ и за эконома вродѣ; былъ онъ любимчикомъ начальника тюрьмы, а вороватый былъ татаринъ!.. Бывало моритъ, моритъ насъ баландой [1]) на махнѣ [2]) недѣлю цѣлую да и только; а провіантъ-то, мясо, что на котелъ отпускается и все тамъ прочее—все продаетъ это, да карманъ свой набиваетъ, и не смѣй слова сказать ему; а сказалъ кто — пойдетъ къ Стыдницкому нажалится, ну и ложись на кобылу... Натерпѣлась тогда каторга вволю!..

---

[1]) Баланда—тюремный супъ, или вѣрнѣе, грязная тепловатая водичка.

[2]) Махня—названіе сахалинской рыбы, вродѣ селедки.

Такъ вотъ, ваше высокоблагородіе, коли желаете, я прочитаю вамъ свое стихотвореніе, если припомню...

— Пожалуйста, я даже запишу его, — говорю я, заинтересованный его разсказомъ; съ этими словами я беру листъ бумаги и перо,—ну, читай, Ткачевъ!

И онъ, подперевъ свободной отъ сигары рукой щеку и, переминаясь съ ноги на ногу, читаетъ мнѣ монотоннымъ голосомъ:

„Тамъ, гдѣ море вѣчно плещетъ
„Въ пустынны берега,
„Тутъ Стыдницкій ссыльныхъ хлещетъ,
„Среди тюремнаго двора;
„Тутъ и принцъ ихъ отравляетъ
„Баландой съ тюремнаго котла“...

— Тутъ еще про надзирателя Воробья поминается у меня, ваше высокоблагородіе; тогда онъ и не то раздѣлывалъ, вмѣстѣ съ господиномъ Стыдницкимъ—прямо убивали вдвоемъ каторжныхъ и все имъ съ рукъ сходило безнаказанно... Дальше такъ у меня идетъ:

„Воробей нашъ налетаетъ
„И нагайкой ссыльныхъ бьетъ,
„Руки ноги имъ ломаетъ
„И къ Стыдницкому ведетъ,
„Тутъ коротка имъ расправа—
„Плети, розги, кандалы...
„Среди двора есть часовня;
„На часовнѣ стоитъ крестъ,
„Подъ часовней есть кобыла
„На-готовѣ повсегда....

Тутъ Ткачевъ замолчалъ и сталъ усиленно вдругъ тереть свой лобъ:—Эхъ запамятовалъ дальше, ваше высокоблагородіе, а тутъ-то и пойдетъ самое интерестное,—говоритъ онъ; наконецъ, еще нѣсколько разъ повторяетъ онъ двѣ послѣднія уже записанныя мною строчки, но дальше у него дѣло не идетъ.

— Эхъ, ваше высокоблагородіе, все одно, какъ и Пушкинъ, никогда не помню своихъ стиховъ—говоритъ онъ;—ежели васъ интересуетъ мое сочинительство, то я принесу ихъ вамъ завтра.

— Ну, отлично,—соглашаюсь я,—а скажи, пожалуйста, что это значитъ, что у тебя упоминается въ концѣ стихотворенія про часовню и про кобылу?

— Ахъ, да вѣдь вы не знаете! вѣдь раньше у насъ пороли арестантовъ на тюремномъ дворѣ у самой часовни; тамъ и кобыла стояла у стѣнки-то часовенки—подъ крестомъ; и пороли насъ тамъ и въ лѣто, и въ зиму. Вотъ я и смѣюсь, что нашли, дескать, мѣсто подходящее для порки арестантовъ.... Не такъ какъ теперь, ваше высокоблагородіе, теперь очинно все, какъ слѣдуетъ, заведено начальствіемъ нашимъ,—поспѣшно прибавляетъ онъ.

— Ну, спасибо, голубчикъ,—говорю я ему,—спасибо, братъ, за стихи... славно ты пишешь...

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, вся шпанка ужъ очинно хвалитъ,—довольно улыбается Ткачевъ:—теперь, ваше высокоблаго-

родіе, играть въ карты я бросилъ, брошу и пить,—надоѣла собачья жизнь,—хочу человѣческій образъ принять — займусь стихами въ сурьезъ... Завтра по утру безпримѣнно принесу вамъ свои стишки на память...

— Ну, спасибо, братъ, спасибо... Задержалъ я тебя... съ Богомъ!

— Счастливо оставаться! — говоритъ Ткачевъ и неуклюже выходитъ изъ кабинета.

— Ваше-скородіе, тэбѣ бариня чай кушать зоветъ, къ сибэ; ходы кушать чай,—говоритъ, входя въ это время ко мнѣ Мусса, а самъ укоризненно качаетъ головой и щурится на меня.

На слѣдующій день, идя мимо окружнаго лазарета въ японскую лавку, я встрѣтилъ на улицѣ Григорія Ткачева; выписывая по дорогѣ замысловатые вензеля, онъ во всю глотку оралъ:

„Затопила баба баню,
„Позвала . . . . . .

Я посмотрѣлъ на него укоризненно, думая устыдить его этимъ, но онъ уставился прямо на меня посоловѣвшими безсмысленными глазами и не узналъ меня.

Такъ мнѣ и не пришлось узнать конца его стихотворенія.

„Монашка“.

— И жила я съ нимъ, почти, три года, роженый мой... счастливо, весело жила!.. Только и мѣшала намъ съ Миколкой эта вѣдьма проклятая—жена его,—говоритъ Монашка, наполняя до половины спиртомъ стаканъ съ выбитымъ краешкомъ и, поводя безсмысленнымъ взглядомъ по комнатѣ, она поправляетъ прядь выбившихся изъ-подъ платка рыжевато-каштановыхъ волосъ.

— А что же, Митрій Савостьянычъ, водички бы надоть маненько аще, вся вышла—говоритъ она, указывая на пустую бутылку изъ-подъ воды,—наше дѣло женское, мы не можемъ, какъ вы, голый мархиль [1]) тянуть... На-ко-ся, нацѣди тетеньку,—и Монашка передаетъ бутылку Митрію Савостьянычу.

— Да будетъ тебѣ, Анна Ивановна, пріѣдетъ твой, поди, съ минуты на минуту... Оставь, краля моя!...—и подымаясь съ табуретки, неровными шагами онъ подходитъ къ ней и, многозначительно подмигивая правымъ гла-

[1]) Мархилемъ или мархилевкой на Сахалинѣ между каторжанами называется спиртъ.

зомъ, обхватываетъ ее за талью корявой рукой:—хоть одинъ сахарный поцѣлуй—шепчетъ онъ, склоняясь къ ея лицу и обдавая ее горячимъ дыханьемъ.

— Погоди... Не трожь!.. Эка, лакомый какой,—еле выговаривая слова, хохочетъ Монашка.

— Да чего годить... сказываю тебѣ твой пріѣдетъ съ минуты на минуту... Поцѣлуй же,—проситъ ее Митрій Савостьянычъ.

— Отвяжись ты, сатана... Говорю тебѣ, отвяжись,—продолжаетъ она хохотать, отбиваясь отъ него руками:—мотри, Савостьянычъ, будешь лѣзть такъ, ей-Богу, озлюсь... Слышь, оставь, немытая харя твоя!—весело взвизгиваетъ она, откидываясь спиной къ стѣнкѣ.

Но Митрій Савостьянычъ не унимается.

— Да брось ты, окаянный!—уже съ сердцемъ вскрикиваетъ Монашка и хватаетъ со стола бутылку:—мотри, харю тебѣ разобью... Охальникъ этакій! — ругается она, оправляя на себѣ платье и головной платокъ:—сказано обожди, ну и жди, стало быть.

— Да чего ждать-то?—съ сердцемъ поворачиваясь къ ней лицомъ, говоритъ раскраснѣвшійся Митрій Савостьянычъ, успѣвшій отскочить на середину комнаты:—твоего мужика не видалъ, что-ли?... Эхъ, ты!... Дура, баба,—укоризненно качаетъ онъ головой:—дождешься съ тобой, что кости обоимъ обломаетъ ни за что!..

— Ну, ладно, Митрій Савостьянычъ... Ужъ

и осерчалъ,—смѣется опять Монашка,—по баночкѣ еще!... только малость въ себя притти дай, — уговариваетъ она его — еще по единственной раздавимъ, анделъ!.. Принеси водички, родной мой,—покачиваясь всѣмъ туловищемъ упрашиваетъ она его.

— Ей-Богу, по одной, Аннушка?—спрашиваетъ онъ, недовѣрчиво глядя ей въ глаза.

— Лопни мои глаза, Митенька, — рѣшительно отвѣчаетъ она, крестясь невѣрной рукой.

— Ну, ладно. Только поспѣшай, Аннушка, выпивать-то... Гдѣ вода-то у васъ припасена?—спрашиваетъ онъ, беря бутылку.

— Въ сѣнцахъ, рожоный мой... въ сѣнцахъ, — отвѣчаетъ Монашка,—какъ откроешь дверь, такъ въ углу налѣво и стоитъ кадушка; въ ей и есть...

Митрій Савостьянычъ выходитъ въ сѣни, а Монашка беретъ стаканъ со спиртомъ и нюхаетъ его.

— Ишь, чертово зелье!—безпричинно смѣясь, вскрикиваетъ она и ставитъ его снова на столъ. За ушами у нея щемитъ и что-то комомъ подступаетъ къ горлу.

— Сейчасъ, сейчасъ, Митрій, сейчасъ рожоный мой!—блуждая стеклянными глазами по комнатѣ, шепчетъ она мокрыми губами и вдругъ затихаетъ, откинувшись спиной къ стѣнкѣ.

Платокъ на ея головѣ опять развязался и съѣхалъ на ея узкія плечи; волосы въ без-

порядкѣ опустились на лицо, закрывъ съ двухъ сторонъ низкій, испещренный морщинками, лобъ; воспаленные сѣрые глаза смотрятъ совершенно, какъ стеклянные, изъ-подъ упухшихъ красныхъ вѣкъ; постоянно розоватый конецъ ея тонкаго птичьяго носа, еще сильнѣе раскраснѣвшись, выглядитъ такъ, какъ будто у нея сильнѣйшій насморкъ, а всегда опухшее лицо и мясистыя мокрыя губы придаютъ ей видъ страдающей водянкою и если бы не ея общая худоба, то по лицу ея можно было бы принять сейчасъ за одержимую этой болѣзнью.

Въ комнатѣ тихо. Но вотъ открывается дверь и стуча сапогами и слегка покачиваясь на ходу, къ Монашкѣ подходитъ Митрій Савостьянычъ.

— Анна Ивановна... А-сь! Анна Ивановна!— говоритъ онъ, ставя бутылку на столъ,—будете пить еще, аль и такъ ужъ баланца въ достаточной мѣрѣ набрались?

— Ихъ-ха! — взвизгиваетъ въ отвѣтъ Монашка, поводя надъ головой рукой и прищелкивая пальцемъ.

— Будетъ, Аннушка, краля моя!—отодвигая отъ нея стаканъ со спиртомъ, говоритъ онъ.

Но Монашка замѣтила это и тянется за стаканомъ:—нѣтъ, нѣтъ, Митрій, выпьемъ! по баночкѣ... Ну, садись... Откушай, Митенька... Откушай, говорю тебѣ!—еле плететъ она рѣчь.

Вздыхая, Савостьянычъ садится и наливаетъ

себѣ другой стаканъ:—будемъ здоровы,—говоритъ онъ, чокаясь съ ней, и духомъ выпивая все до дна, сплевываетъ, морщась, и поспѣшно отправляетъ въ ротъ кусокъ чернаго хлѣба съ ломтикомъ свиного сала, густо посыпаннаго солью.

Монашка тоже пьетъ; но она пьетъ совершенно иначе—она цѣдитъ спиртъ чрезъ зубы маленькими частыми глоточками, временами отрываясь отъ стакана для передышки; она не пьетъ всего спирта сразу, а по частямъ—съ наслажденьемъ, какъ-будто что-нибудь необыкновенно пріятное на вкусъ и, отправляя въ ротъ закуску, непремѣнно снова запиваетъ ее и уже только тогда пережевываетъ.

— Да, Митрій Савостьянычъ, счастливо жила я съ Миколкой, — вспоминаетъ снова Монашка прерванный разсказъ свой,—только и мѣшала намъ съ нимъ эта вѣдьма, жена его... Сколько разъ, бывало, лупитъ онъ ее за меня, чтобъ, значится, не тревожила моихъ невровъ, такъ нѣтъ, вѣдь, — не унимается!... Придетъ, бывало, ко мнѣ на фатеру и плачется, и плачется... и такъ разстроитъ меня въ концѣ концовъ, что и сказать не умѣю... Перва это одна она ко мнѣ хаживала, — все усовѣщевала, да упрашивала мужа ейнаго вернуть ей, потомъ съ рабенкомъ махонькимъ повадилась... Знала въ каки часы мужъ-то ейный—Миколка на фабрикѣ работалъ, ну и норовила въ эфто время самое ко мнѣ потрафлять... Ста-

нетъ, бывало, на колѣнки передо мной и давай плакать: „Анна Ивановна“,—гритъ бывало,— „не хотите мнѣ мужа вернуть, Богъ съ вами... Отдайте ребяткамъ голоднымъ отца ихъ— кормильца!..“ И такъ-то жалобно плачетъ, бывало... А то еще мальченка-подросточка, годковъ шести, съ собой приведетъ, и вдвоемъ съ нимъ давай плакаться передо мной... „Отдай“,—реветъ вѣдьма,—„отца дѣтямъ голоднымъ!..“—„Отдай тятьку!“ скулитъ и щенокъ ея. Ну, я по дурости пожалѣй ихъ и скажи какъ-то Миколкѣ, что такъ, молъ, да эдакъ... надо, молъ, ребятокъ пожалѣть... Мотрю, а у Миколки и слезы на глазахъ... Спохватилась я потомъ-то, да ужъ и поздно—съ одного слова мово, словно кто отворожилъ его отъ меня—совсѣмъ ко мнѣ измѣнился... Ну, ладно, думаю себѣ... Заберу тебя снова въ руки... А тутъ какъ разъ комната-то сусѣдская у хозяйки фатерной ослобонилась и переѣхалъ Миколка въ нее со своимъ семействомъ... Ну, я то бабенькой въ тѣ поры славной была,— еще краше съ лица-то выглядала.—Лафа,— думаю, себѣ,—теперь-то скручу,—такъ ужъ не выпущу!...—и давай его снова заманивать къ себѣ. Долго ли, коротко ли, а пошло у меня дѣло на ладъ—прибрала опять Миколку къ рукамъ и хорошее снова житье пошло у насъ съ имъ. Только опять же не даетъ намъ покоя его жена-вѣдьма. Вотъ и надумай я отъ нея избавиться... Позвала это, какъ сейчасъ помню, на Миколу — передъ Рожде-

ствомъ ее къ себѣ въ гости со всѣми щенятами:— не побрезгайте, молъ, угощеньицемъ, а я ужъ всѣхъ васъ порадую.—Та-то и уши развѣсила— смотритъ и глазамъ своимъ не вѣритъ... „Такъ и такъ,—говорю,—рѣшила я отъ Миколки навсегда отказаться... поняла, молъ, что грѣхъ это великій семью чужую губить и завтра совсѣмъ, молъ, уѣзжаю отседова тайкомъ отъ Миколки... Пущай, молъ, и не ищетъ меня! А васъ, коли зла на меня не держите, прошу всѣхъ угощеньицемъ моимъ на прощанье не побрезговать... Душа, молъ, моя покойна будетъ, — буду знать, что не серчаете на меня больше“... Такъ вѣришь ли, Митрій Савостьянычъ, такъ это вѣдьма моя расчувствовалась, ажно въ слезы вдарилась... Да правду всю коли сказывать, такъ ужъ не слѣдъ скрывать—прослезилась и я за одно съ ей, потому какъ ребятишекъ жаль стало мнѣ ейныхъ... Что, думаю себѣ, сдѣлали мнѣ эти анделы, чѣмъ они виноваты... Дала я имъ этта по канхветкѣ,—сосите,—говорю,—а сейчасъ и супъ будетъ... И угостила-жъ я ихъ всѣхъ супомъ!—съ хохотомъ добавляетъ Монашка,— на утрось, посля Миколы, не просыпались, да съ той поры и по сейчасъ ѣсть не просятъ...

— За энто и пошла сюда?—спрашиваетъ Митрій Савостьянычъ.

— Ну, да, за это!—утвердительно киваетъ головой Монашка.

— А что же Миколка-то?

— А песъ его знаетъ!.. Сказывали, будто,

умомъ рехнулся,—допивая спиртъ и злобно хмурясь, нехотя роняетъ она.

— Эхъ, ты, носатый мой!.. помолчавъ съ минуту, шепчетъ Монашка, кладя ему руку на плечо и заглядывая ему въ лицо смѣющимися снова глазами.

— Краля моя!.. идолъ сердца моего... Анделъ!.. — прерывающимся голосомъ шепчетъ онъ, сжимая ее въ своихъ объятьяхъ.

— Погоди... стой!—вырывается отъ Митрія Савостьяныча Монашка и, прислушиваясь, спрашиваетъ:—а двери-то, не смотрѣлъ, хорошо ли приперты?

Но не успѣлъ онъ отвѣтить, какъ дверь распахнулась и въ комнату вошла дочь Монашки—Сонька.

— Погоди, я вотъ скажу Аверьяну Матвѣичу, что опять безъ него здѣсь Савостьянычъ прохлаждался сегодня,—обращаясь къ матери заговорила она.

— Ахъ, ты, поганка подлая,—кричитъ ей въ отвѣтъ, зеленѣя отъ злости, Монашка,—тоже туда, стращать меня вздумала!.. Скажи, скажи, морда твоя пакостная!.. Кому-то лучше будетъ?.. А я вотъ про тебя тоже скажу!.. Не знаю я, думаешь, что ты съ чиновника Разгильдяева намедни-сь рупь заработала?.. А?.. Ахъ ты, с...а ты подлая!.. Гдѣ деньги, сказывай?.. Пошто не сдала Аверьяну Матвѣичу? Да чего ты рыло-то свое косишь, подлая?... Такъ бы и выколупала твои бѣльмы проклятыя!.. Хи-хи-хи!.. актерка какая объ-

явилась!—передразниваетъ она дочь,—погоди, похохочешь у меня, какъ онъ крысиные хвосты твои рвать зачнетъ!.. Опять, паскуда, на канхветы весь рупь извела... У!.. харя твоя безстыжая!.. Скажи только!..

— Ну, Анна Ивановна, спасибо за угощеньице, — загребая со стола свою шапку и протягивая Монашкѣ руку, говоритъ Митрій Савостьянычъ:— до свиданья, Сонюшка, вы не жальтесь Аверьяну-то, а то вѣдь и мнѣ безчестія какого не вышло бы отъ бабы моей... поди, съ пустяковъ съ энтихъ бороду всю повыдергаетъ... Она вѣдь у меня баба... и-и-и... озарная!..—выходя въ сѣни говоритъ онъ и, еще разъ кланяясь обѣимъ, съ шумомъ закрываетъ за собой дверь.

Нѣкоторое время послѣ ухода гостя и Монашка, и Сонька молчатъ; Монашка прибираетъ со стола, а Сонька присаживается къ окну и глядитъ на дорогу.

— Мамка, а мамка! — какъ - то тоскливо вдругъ вырывается у нея, — не жалься на меня дядѣ Аверьяну...

— А, холера, иначе запѣла!.. Нѣтъ, моя милая, я те покажу, какъ при народѣ мать свою срамить!..

— Мамка!.. не серчай... я те полтину дамъ, что осталась у меня отъ рубля Разгильдяева...

Монашка разомъ смягчается къ дочери, но еще молчитъ, дѣлая видъ, что продолжаетъ сердиться,—а то еще заберетъ себѣ въ башку, что обрадовалась полтинѣ ейной, да и

съѣдетъ на четвертакъ, подлая,—соображаетъ она.

— Мамка, вонъ и Аверьянъ ѣдетъ, — пугливо прячась за простѣнкомъ окна, говоритъ Сонька,—не жалься ему на меня, мамка... бери полтину,—и, развязавъ зубами узелокъ холщевого носового платка, она вынимаетъ изъ него единственную свою серебряную полтину и отдаетъ ее матери.

Въ комнатѣ тихо.

— Богъ тебѣ судья, Сонечка!.. Огорчаешь ты меня,—слезливымъ голосомъ причитаетъ Монашка, опуская полтину въ карманъ юбки и торопливо залѣзаетъ на полати.

Монашка притаилась на полатяхъ, Сонька усердно машетъ рукой, вышивая какое-то полотенце, а посреди комнаты откормленный котъ, мурлыча безконечную свою пѣсню и въ тактъ поматывая головой, тщательно моетъ усатую мордочку.

Но вотъ во дворъ въѣхала, постукивая, небольшая телѣга, и черезъ нѣсколько минутъ, широко распахнувъ дверь, въ комнату вошелъ высокаго роста сутуловатый и сухощавый мужикъ.

Не здороваясь съ Сонькой, онъ кидаетъвъ ея сторону свирѣпый взглядъ и, вѣшая на гвоздь свою шапку, грубымъ голосомъ спрашиваетъ:—а гдѣ твоя матка?.. небось, опять пьяная по поселку путается?.. Добро бы зарабывала съ эстого, а то вѣдь лишь бы мархилевки

набраться... Обо мнѣ и думать не хочетъ, чтобы мнѣ въ помочь быть...

— Да дома же говорю я вамъ, дядюшка,— указывая на полати рукой, говоритъ Сонька,— вонъ она спитъ.

— Дрыхнетъ, окаянная... Только и дѣла ей, что мархиль тянуть, да на боку валяться... Что я ей не благодѣтель, что держу ее у себя, собаку?.. Нешто кто возьметъ къ себѣ такую стерву въ сожительницы? Эй, ты, Монашка, язви тебя... слѣзай съ полатей, пока за косы не сволокъ!.. Иди, дармоѣдка, лошадей прибрать!..

— Самъ дармоѣдъ, — слѣзая съ полатей, хрипитъ Монашка, — трясучка несчастная!.. Меня коритъ, что мархиль тяну, а самого, дьявола, не съ мархилевки трясетъ?.. Не даромъ трясучкой прозываешься... Варварская харя твоя, безжалостная!.. —и что есть мочи хлопая дверью въ сѣни, она выходитъ пошатываясь на дворъ...

— За косы не сволокъ!—доносится, въ избу, ея хриплый визгливый голосъ со двора,—ахъ ты орясина корявая, да я тебѣ сама, стервецу, бороду твою паскудную всю повыдергаю!..

Прибравъ лошадей, Монашка снова возвращается въ избу и опять забирается на полати.

— Сызнова нализалась,—ворчитъ себѣ подъ носъ Аверьянъ,—небось опять свистнула что-нибудь изъ кладовки да на мархиль воровскимъ манеромъ смѣняла...

Но Аверьянъ тотчасъ же разувѣряется въ своемъ предположеніи, такъ какъ Монашка, возмущенная до глубины души его несправедливостью, хватаетъ полѣно, Богъ вѣсть, какъ попавшее на полати, и швыряетъ его въ своего сожителя, осыпая его самой отборной руганью.

— И какъ не озлишься тутъ,—думаетъ она,—ничего не скрала сегодня; Митрій Савостьянычъ, ожидая поощренія мово, угощалъ задаромъ, — самъ принесъ... Ужъ, кажется, какъ честнѣе быть, чѣмъ я сегодня, такъ и то вѣдь не ладно... О! чтобъ тебя разорвало, проклятаго!—прибавляетъ она вслухъ, поворачиваясь лицомъ къ стѣнѣ.

— Стало быть все цѣло!—успокаиваясь думаетъ Аверьянъ,—а все же надо въ кладовкѣ-то поглядѣть.

И онъ молча выходитъ въ сѣни.

Аверьянъ Матвѣичъ Башковъ,—по прозванію Трясучка,—мужикъ разсудительный; онъ ни на кого не полагается ни въ чемъ, только своимъ глазамъ вѣритъ. Онъ любитъ больше всего на свѣтѣ деньги, а послѣ денегъ – выпивку; просыпаясь рано поутру, онъ ежедневно выпиваетъ большую кружку спирта, иначе весь день его будетъ трясти и гнуть во всѣ стороны, какъ бересту на огнѣ. Бабъ онъ терпѣть не можетъ,—что сатана въ домѣ, что баба - одинъ чортъ... „баба даже почище дья-

вола,“—постоянно говоритъ онъ. Но не смотря на свою ненависть къ бабамъ, онъ пять лѣтъ тому назадъ взялъ себѣ сожительницу—Анну Ивановну Вихляеву, прозванную за свое изумительно „скромное“ поведеніе Монашкой. Этому удивлялись всѣ ссыльные съ его поселка, знавшіе Башкова какъ „бабьяго врага“, да и самъ Башковъ, по началу, не вѣрилъ какъ-то глазамъ своимъ, видя въ своей избѣ женщину; омерзительно ему было отъ такого сосѣдства, да дѣлать нечего, приходилось мириться съ горемъ... „Доходно больно бабу-то имѣть“, утѣшалъ себя Аверьянъ,—„а то бы нешто взялъ бы я себѣ въ домъ этакую гадину... Чего изъ за денегъ не сдѣлаешь“?—глубоко вздыхалъ онъ, бывало, по ночамъ, ворочаясь съ боку на бокъ,—„а тутъ еще и какія деньги-то! Самое большое годокъ покормлю еще щенка-то ейнаго, тамъ и на заработокъ годна будетъ!..“

И Аверьянъ, забывая объ омерзительномъ сосѣдствѣ сожительницы, при этой мысли блаженно улыбался въ темнотѣ, высчитывая по пальцамъ приблизительный доходъ, который будетъ приносить ему черезъ годъ Сонька—дочка Монашки.

— Черезъ годъ—десять стукнетъ,—для Сахалина дѣвка въ самый разъ будетъ!—думалъ онъ.—Вотъ когда деньгу огребать стану, какъ вдвоемъ работать зачнутъ... поди богаче меня во всемъ округѣ человѣка не будетъ!..—И

долго не спалось Аверьяну при этихъ очаровательныхъ мечтаньяхъ.

Сонька, дѣйствительно, оправдала его надежды ровно черезъ годъ... но зато ея мать— „паскуда несчастная“—не только дохода не давала Аверьяну, но наоборотъ разоряла его. Стоило ему уѣхать съ С...вки въ портъ по дѣламъ и конецъ!—пропадала въ домѣ кулями мука, пропадала мѣшками картошка, цѣлыми боченками квашеная капуста или огурцы, мясо, овесъ, словомъ все, а коли кладовка съ припасами не запиралась Аверьяномъ на время отсутствія изъ дому, то исчезала его одежина и бѣлье. Сначала Аверьянъ не догадывался въ чемъ тутъ дѣло и только руками разводилъ, глядя на хохочущую пьяную Монашку, а потомъ какой-то добрый человѣкъ, попавшись ему на глаза въ пропавшей у него малиновой рубахѣ, когда Аверьянъ вцѣпился было уже этому человѣку въ глотку, открылъ ему сущую правду... Аверьянъ такъ и остолбенѣлъ, узнавъ, что все это дѣла Монашкиныхъ рукъ; онъ никакъ не ожидалъ отъ нея такой дерзости и рѣшилъ изловить ее и жестоко избить за все на слѣдующій же день.

Онъ ее избилъ,—„чуть не кончилась совсѣмъ“,—хвасталъ Аверьянъ сосѣду, придя къ нему съ окровавленными руками,—„ажъ кулакамъ больно“!—жаловался онъ, и при этомъ со вздохомъ облегченія увѣренно заключилъ: „разомъ конецъ положилъ,—больше не захочетъ моей науки!“...—Но черезъ полчаса, вер-

нувшись отъ сосѣда домой, онъ не засталъ Монашки, а вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружилъ и исчезновеніе изъ кладовки двухъ бочекъ солонины. Аверьянъ чуть не плакалъ отъ злости. Явившаяся на слѣдующее утро Монашка была „пьянѣе земли“ и громче чѣмъ когда-нибудь хохотала прямо ему „въ харю“. Аверьянъ сдержалъ себя,—„дай пропущу, попробую“,—думалъ онъ, и пропустилъ ее. На слѣдующій день Монашка его обрадовала... пропала только одна бочка солонины—послѣдняя въ домѣ!.. Тутъ ужъ Аверьянъ билъ ее смертнымъ боемъ,—чѣмъ попало билъ, „и о стѣнку билъ, и объ печку билъ, только печкой не билъ!“—разсказывалъ онъ. Но и это не помогло. Монашка заболѣла отъ побоевъ, но, выздоровѣвъ черезъ нѣсколько дней, украла пять сотенъ вилковъ капусты, продала ихъ кому-то за четверть цѣны, а деньги опять пропила; дома она снова хохотала Аверьяну „въ харю“, а Аверьянъ билъ ее.

Такъ живетъ Монашка съ Аверьяномъ всѣ пять лѣтъ.

Съ дочерью своей—Сонькой она тоже не ладитъ.

— Какая ты мнѣ къ чорту дочь,—постоянно говоритъ ей Монашка,—коли антиреса моего не соблюдаешь!.. На кой дьяволъ отдаешь ты всѣ свои гроши Аверьяну, давала бы тайкомъ половину матери... Вѣдь я-то тебѣ родная, а онъ кто? Станетъ онъ заботиться о тебѣ, думаешь?.. Дура ты, дубина стоеросо-

Типъ каторжницы.

вая!.. вотъ что!.. Давала бы мнѣ половину... Вотъ, лопни глаза мои, что собрала бы тебѣ на приданое.

— Да вѣдь пробовала я, мамка, давала, а гдѣ, онѣ—деньги-то тѣ у тебя?.. На водку ушли!.. Все единственно для меня, что ему, что тебѣ отдавать ихъ...

— Все единственно!—переговариваетъ Соньку Монашка:—а коли единственно, такъ почему-жъ не мнѣ?..

— Господи! да вѣдь сама знаешь почему не тебѣ!—стономъ вырывается у Соньки,—не отдай ему денегъ—убьетъ вѣдь, голодомъ изморитъ...

— А ты плюнь на это, дура, какъ я плюю, а деньги все же мнѣ отдавай...

— А, ну васъ и съ деньгами!.. Отдавала Аверьяну и буду отдавать ему!.. Чортъ съ имъ, пусть подавится, потому какъ и не желаю я, чтобы кости мнѣ ломалъ онъ для ради твоей водки.

Монашка злится на Соньку за то, что никакъ не можетъ получить съ нея половины ея заработка и старается устраивать ей за это всевозможныя каверзы. Зорко слѣдитъ она за ней, чтобы не оставалось у нея никогда ни гроша,—„ужъ если не мнѣ, такъ и не ей, подлой!“—думаетъ она,—„пущай все Аверьяну отдаетъ, а я все едино свою половину изъ его кладовки возьму!..“

И горе Сонькѣ, если она „засыпается“ [1])

---

[1]) Засыпаться—попасться.

Монашкѣ съ конфектами,—не миновать ей отъ Аверьяна потасовки—донесетъ на нее матка ему и подвинтитъ его вздуть ее хорошенько.

Иногда, впрочемъ, Сонька откупается, но и то не совсѣмъ, а на время, отъ доносовъ своей матери: дастъ Монашкѣ львиную долю своего заработка, та и молчитъ до поры до времени, а тамъ озлится за что-нибудь и опять Соньку лупятъ.

Очень рѣдко и не долго, но все же случается, что Монашка живетъ съ дочерью мирно. Обыкновенно это бываетъ тогда, когда въ домѣ Монашкѣ нечего украсть—напримѣръ, если пусты кладовыя, или если самъ Аверьянъ околѣваетъ, застудившись гдѣ-нибудь.

— Господи! хоть бы подохъ окаянный!—молитъ Бога тогда Монашка, глядя на своего сожителя. Ей и въ голову не приходитъ, что, въ случаѣ смерти Аверьяна, все его имущество пойдетъ въ казну, и она сама готова помочь ему перебраться съ полатей въ лучшій міръ.

На душѣ у Монашки бываетъ въ это время очень тоскливо, потому что въ ротъ ей не попадаетъ ни капли мархиля.

— Чортъ ихъ знаетъ, мужиковъ!—обыкновенно думаетъ она въ это время,—вѣдь, кажется, что съ лица я не уродина, а вотъ, на поди, не шибко нравлюсь имъ подлецамъ... Сонька махонькая, а и то больше меня зарабатываетъ... Кому какой фартъ, впрочемъ!—утѣшаетъ она себя.—А Сонькѣ фартитъ, под-

лой, надо бы съ ней помириться, потому какъ черезъ нее заработать можно пока.

И Монашка подъѣзжаетъ къ дочери.

На дворѣ зима.

Глубокій снѣгъ покрываетъ землю; до половины оконъ замели снѣжные сугробы маленькіе домишки Соловьевки, причудливыми холмами раскидались они по дорогѣ, ведущей въ портъ и сравняли берега рѣчки съ дорогой.

Какъ-то весело глядитъ тайга, опушенная снѣгомъ, словно обрадовались ему, какъ старому знакомому, зеленыя елки и пихты и вѣтви обнаженныхъ деревьевъ.

На поселкахъ начинается зимняя спячка; нечего дѣлать ссыльнымъ, развѣ только ѣсть, да спать. Всѣ охотники ушли на рѣки—ставятъ петли на соболей и кидаютъ пометы на лисъ; всѣ работники въ бѣдныхъ семьяхъ разошлись на зиму по мѣстамъ, кто куда, лишь бы не быть дома лишнимъ ртомъ; въ избахъ остались только люди самые нужные для хозяйства да негодные никому и ни къ чему больные и старики.

Ужъ около недѣли, вслѣдствіе распутицы, до перваго снѣга иначе, какъ верхомъ никто не можетъ попасть изъ С...вки въ портъ.

— Здорово въ порту сейчасъ цѣны поднялись на все,—говоритъ Монашка Аверьяну,—слышь, ты, Трясучка... Масло сливочное, сказываютъ, полтину, а нѣтъ—пятьдесятъ пять

за хфунтъ даютъ... Яйца четвертакъ—тридцать копеекъ десятокъ... Молоко восемь копеекъ бутылка, а сливки двадцать... Давай проѣду въ портъ, коли самъ не можешь... Али Сонькѣ препоручи, коли мнѣ не вѣришь, пусть на ейномъ отвѣтѣ лежитъ товаръ... А я такъ съ ей для присмотра поѣду...

— Пусти козла въ огородъ! — ворчитъ съ полатей больной Аверьянъ.

Онъ обязательно самъ бы поѣхалъ въ портъ, но дѣлать нечего, онъ боленъ и приходится, волей-не-волей, поручать дѣло Сонькѣ и Монашкѣ.

Скрѣпя сердце Аверьянъ отдаетъ Сонькѣ ключи отъ ледника, гдѣ хранятся всѣ молочные продукты.

— Да, мотри у меня, вся башка вспухнетъ, коли ежели не тово что-нибудь будетъ... На твоемъ отвѣтѣ весь продуктъ молочный и вся выручка!.. Слышь, ты? — грозно помахиваетъ онъ ей головой въ напутствіе.

— Слышу, слышу, дяденька Аверьянъ, будьте покойны, — отвѣчаетъ Сонька, — все будетъ въ порядкѣ.

Ей только бы вырваться поскорѣе изъ дому,—въ порту она знаетъ, „завсегда заработать можно!“ Стоитъ только заѣхать къ чиновнику Разгильдяеву, или къ этому старому челдону Попину, а ужъ тамъ навѣрнякъ цѣлковый, другой перепадетъ... „Можно будетъ канхветъ купить у фондѣ, да ленточекъ алыхъ въ косу... А коли ежели матку напоилъ бы

кто на мое счастье разомъ, какъ въ портъ пріѣдемъ, такъ и изъ продуктовъ бы кое-что можно бы на себя истратить: взять подороже, сказать Аверьяну подешевле,“—думаетъ она, одѣвая на себя ватное пальто.

— Ну, мы ѣдемъ съ мамкой, дядюшка Аверьянъ,—говоритъ Сонька Башкову, — купить въ порту ничаво не закажешь?..

— Ничаво,—отвѣчаетъ Аверьянъ, — мотри за товаромъ, чтобы матка не сперла...

— Ни, ни, будьте покойны.

— А она ужъ въ саняхъ?—безпокойно спрашиваетъ Аверьянъ, оглядывая избу.

— Въ саняхъ.

— Не свистнула ли чаво?.. Больно скоро усѣлась что-то,—высказываетъ Аверьянъ свое подозрѣніе.—Ну, авось на эфтотъ разъ Богъ милостивъ!.. Ужъ, кажется, нечего и украсть,—еще разъ оглядывая съ полатей всю комнату, говоритъ онъ...—Съ Богомъ, Сонька! Мотри у меня, чтобы молодцомъ быть... Не продешеви товаръ-то... Мархилевки—спирта проси у господъ замѣсто денегъ побольше... Хорошо, все продашь—канхветъ куплю!..

— Ладно, ладно, дяденька Аверьянъ... Постараюсь,—говоритъ Сонька, затворяя за собой дверь въ сѣни.

— Да поскорѣй возвращайтесь!—доносится до нея изъ-за дверей.

— Ладно, дяденька!

Весело бѣжитъ Сонька къ санямъ, а Монашка ужъ давно ждетъ ее въ нихъ.

— Ну, отпустилъ варваръ? — безпокойно спрашиваетъ она Соньку.

— Отпустилъ.

— Слава Тебѣ, Господи!.. Ну, Сѣрко!.. — вскрикиваетъ Монашка, дергая вожжу и здоровый конь разомъ выноситъ широкія розвальни за ворота налѣво и легкой рысью бѣжитъ по дорогѣ, занесенной снѣгомъ.

Не больше, какъ черезъ часъ и Монашка, и Сонька были въ порту. Имъ подфартило: всѣ почти продукты онѣ продали за чистый спиртъ нѣсколькимъ чиновникамъ... Одинъ взялъ разомъ двадцать фунтовъ масла столоваго, да пятнадцать сливочнаго и, дай Богъ здоровья ему, хорошо заплатилъ; на кругъ по полтинѣ сосчиталъ за хфунтъ; десять бутылокъ водки далъ, да четыре — спирта... „Еще полтина лишняя выходитъ одна, потому какъ водку сичасъ никакъ не можно дешевле считать, какъ цѣлковый за бутылку, а спиртъ — два цѣлковыхъ“ — соображаетъ Сонька, — „стало быть здѣсь ужъ можно пользы имѣть съ одной бутылки очищенной... Аверьянъ не узнаетъ...“

У нихъ остался въ саняхъ всего одинъ колобокъ сливочнаго масла, когда сани ихъ въѣзжали въ ворота казеннаго дома, занимаемаго чиновникомъ Попинымъ.

Учащенно забилось Сонькино сердце, — вдругъ да дома нѣтъ, — думала она, глядя на окна. Но тревога ея была напрасной: Попинъ самъ вышелъ на крыльцо, какъ бы встрѣчая дорогихъ гостей, и лукаво посмѣиваясь и,

какъ граблями, расчесывая свою вьющуюся черную бороду, весело кричитъ ей съ крыльца:— Здраствуй, Сонюшка... Давненько не видались... Очень, очень кстати пріѣхали... Мнѣ няня нужна...

— Да кого няньчить?—спрашиваетъ Сонька.

— Какъ кого?.. меня!—покачиваясь слегка на ногахъ и хохоча уже во всю глотку, отвѣчаетъ Попинъ, и игриво щиплетъ ее за подбородокъ. — Ну, а ты, благочестивая мать,— говоритъ онъ, обращаясь къ Монашкѣ, — можешь пока позаняться на кухнѣ съ другимъ ребенкомъ — съ моимъ личардой... Ему тоже нянька нужна... Аккуратъ для него подходящая будешь... Пойдемъ, Сонька...

Всѣ входятъ въ кухню.

— А вотъ что, Монашка, правда,—говоритъ Попинъ. — Оставлю-ка я Соньку на недѣлю на другую у себя нянюшкой... Иванъ, попотчуй-ка хорошенько свою гостью,—и, подмигивая глазомъ, Попинъ щелкаетъ себя по воротнику.—Ты Аверьяну передай, что она осталась у меня; онъ въ обидѣ не будетъ, — говоритъ Попинъ Монашкѣ, беря Соньку за руку.

— Павелъ Семенычъ, — робко жмется къ нему Сонька,—а какъ же съ деньгами быть?.. Надо-ть ихъ Аверьяну послать съ кѣмъ-нибудь...

— Ну, такъ мать и свезетъ,—говоритъ Попинъ, лукаво глядя на Монашку.

— Нѣтъ ужъ... Нельзя ли съ кѣмъ по-

слать... А нѣтъ, такъ мнѣ самой ѣхать доведется,—отвѣчаетъ Сонька.

— Да что ты, дура, барина затруднять вздумала... Конечно я свезу, — волнуется обрадованная Монашка.

Но въ это время всѣ кругомъ заливаются оглушительнымъ хохотомъ.

— Ну, ладно, я пошлю къ Аверьяну человѣка, — говоритъ Попинъ. — Пойдемъ, нянюшка...

Онъ обнимаетъ Соньку за талью и уходитъ вмѣстѣ съ ней въ комнаты.

Монашка стоитъ нѣсколько минутъ, молча хмурясь, посреди кухни и вдругъ, словно вспомнивъ что, распахиваетъ на себѣ салопъ и, снимая съ шеи черезъ голову веревку, достаетъ изъ-подъ салопа смазные сапоги чернаго товара съ длиннѣйшими голенищами и громадными подошвами съ подковами.

— Не нужны ли сапоги, Иванъ?—говоритъ она, обращаясь къ повору Попина, — дешево отдамъ.

— Покажь-ка... А чьи это будутъ?—ухмыляется тотъ.

— Вѣстимо мои!

— Ахъ ты, чертова перешница...—хватаясь за животъ, хохочетъ поваръ. — Нешто ты въ такихъ ходишь?..

— Въ такихъ ходишь!..— передразниваетъ его Монашка.—Чего харю-то косишь, дьяволъ!.. Не нужны, такъ и сказывай, не нужны, а не

смѣйся надъ моей простотой, да честностью... Дурень!..

Но поваръ все еще хохочетъ.

— За бутылку спирта берешь?—рѣшительно спрашиваетъ его Монашка,—не берешь, такъ другого купца найдемъ... Ну тебя къ дьяволу!—сердится она и ужъ хочетъ снова повѣсить сапоги на шею, но поваръ видитъ, что сапоги почти совсѣмъ новые и понимаетъ, что они стоятъ не меньше десяти рублей. „Какъ не взять ихъ!"—думаетъ онъ.—„Нельзя случая опущать!"—И сквозь слезы смѣха весело говоритъ:—Ладно, ужъ, оставь!..

Монашка отдаетъ ему сапоги и садится за столъ.

— Ну, а когда же угощенье будетъ?—спрашиваетъ она, отправляя бутылку спирта въ карманъ салопа.

— Сейчасъ, Анна Ивановна, сейчасъ...

Поваръ хлопочетъ у стола, приготовляя закуски и выпивку, а Монашка, глядя на сапоги, лежащіе у него на кровати, думаетъ: „что-то будетъ мнѣ завтра отъ Аверьяна?!.. И глупая жъ харя станетъ у него, какъ сапоговъ хватится утрось!.."

Выѣздъ на материкъ.

I.

Близится май мѣсяцъ. Немощеныя улицы Корсаковска стали непролазны. Отъ массы растаявшаго снѣга онѣ превратились въ сплошныя озера и топи.

Убогіе, ветхіе домишки, окруженные обнаженными деревьями палисадниковъ, залитые яркимъ солнечнымъ свѣтомъ, глядятъ своими многочисленными заплатами на Божій свѣтъ, словно и они понимаютъ праздникъ природы, словно и они хотятъ привѣтствовать весну...

Въ воздухѣ тепло; изрѣдка съ залива Анива потянетъ свѣжею струйкой вѣтерокъ и, пролетѣвъ по большой улицѣ, мимо тюремныхъ бараковъ, скроется въ глухой тайгѣ, шевеля обнаженными вѣтвями деревьевъ и верхушками вѣчно зеленыхъ пихтъ.

Откуда прилетѣлъ ты, вѣтерокъ? Не съ далекой ли родины принесъ ты привѣтъ черезъ море-океанъ въ міръ отверженныхъ, семьѣ бѣдняковъ, лишенныхъ свободы?

II.

На постояломъ дворѣ, въ Писарской слободкѣ, наискось отъ дома мирового судьи, въ домѣ бывшаго крестьянина изъ ссыльныхъ Мовши Зильбергроша, а нынѣ Лукачева, собралась большая компанія.

Едва ударили въ церкви первые колокола, возвѣщавшіе Корсаковску о концѣ обѣдни, какъ на обрывѣ горы въ концѣ улицы показались: ссыльно-каторжный Бориска Непомнящій съ сожительницей Марѳой Ивановой, писарь полицейскаго управленія Митрій Зюзелевъ и крестьянинъ изъ ссыльныхъ Микита Кудряшевъ; всѣ были одѣты по-праздничному.

Бориска Непомнящій былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти пяти, очень бодрый для своихъ лѣтъ, съ добродушнымъ лицомъ, обрамленнымъ свѣтло-русыми волосами съ просѣдью. Жилъ онъ хорошо и даже богато; любилъ и самъ выпить и людей угостить. Три года тому назадъ онъ получилъ право жительства внѣ тюрьмы и взялъ себѣ тотчасъ въ сожительницы миловидную молодую бабенку, сс.-поселенку Марѳу Иванову.

Побѣдой надъ сердцемъ Марѳы Козьминишны онъ не столько былъ обязанъ своей красотѣ, сколько отложенной годами копейкѣ. Ему оставалось еще семь лѣтъ каторги, но благодаря счастливому случаю—по-сахалински „фарту“—въ настоящее время ему уже

удалось раздобыть крестьянскій паспортъ и, продавъ все свое движимое и недвижимое „имущество“, онъ лихорадочно ждалъ только прибытія въ Корсаковскъ парохода, на которомъ собирался выѣхать на материкъ, вмѣстѣ съ своей сожительницей.

Марѳа Козьминишна Иванова, какъ я уже сказалъ, была молодая, миловидная женщина— ей было лѣтъ подъ тридцать, она любила своего „стараго чорта“ и жила съ нимъ, что называется, душа въ душу, что не мѣшало ей, однако, на сторонѣ очень и очень часто „пошаливать“.

„Старый чортъ“ большую часть своей жизни былъ на веселѣ и, должно быть, потому никогда не замѣчалъ растущихъ на его лбу роговъ.

Хотя собственникомъ всего „имущества“ былъ „старый чортъ“, но распоряжалась всѣмъ хозяйствомъ Марѳа, и у нея же на рукахъ находились даже всѣ его деньги, которыя онъ „долженъ былъ“ сдавать на сохраненіе.

Писарь полицейскаго управленія Зюзелевъ былъ человѣкъ лѣтъ сорока. За небольшую мзду онъ продѣлывалъ для блага „шпаны“ въ полиціи всевозможные „кунштюки“, которые сходили ему съ рукъ всегда благополучно.

Не смотря на свои дипломатическія способности и порядочный, благодаря имъ заработокъ, онъ былъ нищъ, какъ Іовъ, и ходилъ и лѣто, и зиму задрапированнымъ въ обры-

вокъ какой-то клеенки (остатки макинтоша); говорили, что лѣтомъ онъ носилъ макинтошъ даже прямо на голомъ тѣлѣ.

Его губила страсть къ вину.

Кудряшевъ былъ красивый парень лѣтъ 35. Онъ тоже собирался на выѣздъ. Все, что было у него—было съ нимъ. Онъ ни въ чемъ не нуждался, но чѣмъ онъ жилъ—для всѣхъ было загадкой. Онъ славился какъ ораторъ и кавалеръ, и его всюду любили.

Прыгая отъ одной лужи къ другой, мужчины отпускали трехъэтажныя словечки, а дама ныряя за ними на подобіе утки, по временамъ только пронзительно взвизгивала.

У самаго крыльца постоялаго двора, привѣтливо и въ то же время хитро улыбаясь, заложивъ руки въ карманы, стоялъ татаринъ Абдулка. Дождавшись Непомнящаго, когда тотъ подошелъ къ нему почти вплотную, Абдулка степенно вынулъ правую руку изъ кармана и, здороваясь съ Бориской, весело проговорилъ гортаннымъ голосомъ.

— Уѣзжать на матэрикъ будэшъ?.. Давай Богъ, давай Богъ!.. добрый путь!.. Послѣзавтра твоямъ уѣзжаетъ?..

— Во вторникъ, братъ!..

— Заходи, гостемъ будешь,—сказалъ Абдулка,—радъ всегда тебя угостить...

И Абдулка, поздоровавшись съ остальными членами компаніи, исчезъ вмѣстѣ съ ними за дверями избы.

III.

Вечерѣло. Въ воздухѣ становилось прохладнѣе. Косые лучи заходящаго солнца покрывали багрянцемъ тесовыя крыши поселенческихъ домовъ и румянили стволы и верхушки деревьевъ. По лазури небесъ плыли легкія розоватыя облачка.

Изъ открытыхъ оконъ постоялаго двора неслась заунывная пѣсня:

„Всѣ гости роскошно одѣты,
„На лицахъ всѣхъ радость была...“

съ надсадкой выкрикивалъ пьяный женскій голосъ.

Ему вторили въ разбродъ три, четыре мужскіе голоса...

— Ми-лай... ми-лай!..—сильно покачиваясь на ослабѣвшихъ ногахъ, говорилъ Непомнящій, обнимая за шею писаря Зюзелева и распахивая настежъ выходныя двери избы.—Митрій Иванычъ!.. ми-лай!.. Отецъ ты мнѣ родной... вотъ ты кто... понимаетъ моя душа окаянная, что не округъ далъ мнѣ слободу, а ты, Митрій Иванычъ... ты... отецъ... голубь... вѣкъ за тебя Бога молить должонъ...— и, грузно опускаясь на ступеньки крыльца, чтобы сѣсть, Непомнящій продолжалъ:—Нешто моя душа не чувствительная? Нѣтъ, Митрій Иванычъ, отецъ ми-лай, сгнить бы мнѣ безъ тебя здѣсь... И понизивши голосъ, до едва слышнаго шепота, онъ вдругъ сталъ

всхлипывать...—Семь лѣтъ еще каторги!.. А?—прерывая рыданія, душившія его, восклицалъ Непомнящій.—Семь лѣтъ, люди добрые!..

Но тутъ писарь Зюзелевъ, зажимая ему ротъ, перебилъ его:—Будетъ тебѣ, Борисъ Николаевичъ... и не радъ, что связался съ тобой... изъ-за тебя еще самъ попадешь, чего добраго...

Но Борисъ Николаевичъ не унимался:—Семьбы лѣтъ еще ка-торги... добрые люди!..—всхлипывая вскрикивалъ онъ снова и снова Зюзелевъ зажималъ ему ротъ:

— Будетъ тебѣ, пьяная харя, горланить... попадешь опять замѣсто материка, какъ три года назадъ вонъ туда (Зюзелевъ указалъ по направленію тюрьмы), вотъ и будешь знать тогда „семь лѣтъ“, да не семь ужъ тогда, а съ прибавкой.

На этотъ разъ горячее увѣщаніе писаря, приправленное двумя - тремя крѣпкими словечками подѣйствовало на Бориса Николаевича буквально магически: дико вытаращивъ глаза, онъ сталъ часто, часто твердить заплетающимся языкомъ: — Мо-лчу, м-лчу, м-лчу, м-лчу... ми-лай!.. ни, ни, ни... м-лчу...

И, прерывисто, тяжело вздохнувъ, всхлипывая, какъ ребенокъ, онъ прислонился спиной къ столбу крыльца и вдругъ, присвистнувъ носомъ, заснулъ.

Зюзелевъ оглядѣлся вокругъ и, быстро обшаривъ карманы спящаго, но ничего не найдя въ нихъ, кромѣ нѣсколькихъ мѣдныхъ

монетъ, со злобой сплюнулъ и, пробормотавъ, что-то очень не лестное по адресу ихъ владѣльца, торопливо зашагалъ къ обрыву горы.

Въ это время на крыльцо вышли Марѳа, Кудряшевъ, Абдулка и толстая женщина,— жена хозяина постоялаго двора.

— Не фартитъ, Марѳа Козьминишна, нашимъ, — говорилъ Кудряшевъ,—весь второй участокъ нонче не въ милости у округа...

— А что округъ-то вамъ?—визгливо надсаживалась Марѳа. — Что вамъ округъ, песъ его задави?..

— Какъ-же Марѳа Козьминишна, „что округъ?“ Округъ — начальство... нешто безъ его резолюціи есть выѣздъ? — никогда!..

— Ешшо бы!—авторитетно выговорила жена хозяина постоялаго двора.

И, какъ бы въ подтвержденіе этого восклицанія, вращая, какъ колесами, бѣлками выпученныхъ глазъ, Абдулка издавалъ неопредѣленный гортанный звукъ, что-то среднее между „о“ и „у“.

— Вотъ хоть бы теперь, къ примѣру, придумали брать съ крестьянъ нашего участка поручительство и не пущать весь второй участокъ безъ него на материкъ. Хоть волкомъ вой, нѣтъ нашему брату выѣзда и шабашъ, а изъ перваго участка, гляди, поселенцы и безъ ручательства ѣдутъ... Вотъ тебѣ и „што округъ!“

— Крученый!.. чтобъ ему...—Марѳа не договорила.—Экъ, его разломило,—вздохнула она, замѣтивъ спящаго сожителя.

— „Што округъ?“ А вотъ что округъ,—продолжалъ Кудряшевъ,—принималъ онъ, эта значится, въ прошломъ годѣ подъ Рождественскій постъ въ нашемъ участкѣ на Большомъ Такоэ отъ поселенцевъ въ казну хлѣбъ... ну даетъ, конечно, 80 коп. за пудъ, хорошо!.. обидно намъ показалось: „Ваше ск-родіе,—говоримъ ему,—явите милость Божескую, дайте, хоша бы, по 95“. „Нѣтъ,—говоритъ,—сказалъ 80 и шабашъ!“ Ну мы и порѣшили собча,—хлѣба не сдавать... Осерчалъ округъ: „даю,—говоритъ,—три дня строку вамъ на обдумыванье, можетъ и продадите по 80 коп. за пудъ“, значится... Ну, ладно... Прошли, конечно, три дня, вотъ зовутъ насъ опять въ округъ. Пришли.—„Чего, — говоритъ — надумали?“ А мы ему опять за свое: „по 95 за пудъ отдадимъ, ваше ско-родіе, а дешевле никакъ не можно“. Вотъ тутъ-то, какъ осерчаетъ онъ, ажно ногой въ полъ вдарилъ: „ну, хорошо,—говоритъ,—вы меня три дня даромъ продержали, а я васъ три мѣсяца, будетъ время, проманежу“. Ну, сказалъ, этта значится, и уѣхалъ отъ насъ ни съ чѣмъ. Думали, думали мы опосля что за притча такая: „три мѣсяца проманежу“ и не могли догадаться, а теперь-то, какъ пошли къ ему съ прошеньями на выѣздъ, онъ и прихлопнулъ насъ тутъ:

— Второго участка?— спрашиваетъ.—Такъ точно ваше скородіе...—Ну такъ давай ручательство, безъ ручательства второй участокъ не отпущу...—тутъ-то мы и раскусили тою притчу...

Вотъ какъ, Марѳа Козьминишна. Эхъ!—вздохнулъ Кудряшевъ,—до Бога высоко, до царя далеко, дѣлаютъ здѣсь съ нами, что хотятъ, мы люди мертвые. Такъ-то, Марѳа Козьминишна! Вотъ што для насъ округъ!

— Ешшо бы!—авторитетно повторила со вздохомъ жена хозяина постоялаго двора, а Абдулка опять издалъ неопредѣленный гортанный звукъ.

— А, ну его ко псу,—взвизгнула Марѳа,—давайте—ка лучше споемъ,—и она затянула высокой фистулой:

„Отворите окно! отворите...
„Дайте выйти на свѣтъ, на просторъ“...

Абдулка вдругъ шарахнулся въ сторону, и раскачиваясь всѣмъ корпусомъ и спотыкаясь на ходу, добравшись до забора, уперся въ него ладонями рукъ и опустилъ голову внизъ.

Солнце давно сѣло; на улицѣ было уже совсѣмъ темно; съ разныхъ сторонъ доносился стукъ трещетокъ ночныхъ сторожей изъ ссыльно-каторжныхъ.

Гдѣ-то далеко внизу раздавались не то стоны умирающаго, не то вопли молящаго о пощадѣ...

— Ишь, надзиратели опять кого-то увѣчатъ!..—хладнокровно замѣтила жена хозяина постоялаго двора,—потише, пожалуйста, голубчики, будьте, сейчасъ и къ намъ можетъ обходъ приттить,—и она ушла въ избу...

— Охъ!.. О!..—стоналъ Абдулка, стоя у забора,—никоды не будэтъ, никоды болше!..

— До перваго раза,—добавила Марѳа Иванова.

— Магометъ наказываетъ за нарушеніе закона!—философски вставилъ Кудряшевъ и подсѣлъ къ Марѳѣ Ивановой поближе.—Марѳа Козьминишна, хоть одинъ поцѣлуй только!—началъ онъ, повидимому, давно уже знакомый ей разговоръ, который, казалось, воспользовавшись удобной минутой, торопился возобновить.

Марѳа Козьминишна сладко улыбнулась и, обвивши руками шею Кудряшева, поцѣловала его въ губы.

Въ это время сожитель ея—Бориска Непомнящій, такъ комично свистнулъ носомъ, что оба покатились со смѣха.

Вдали раздались свистки полицейскихъ надзирателей и въ отвѣтъ на нихъ со всѣхъ сторонъ заговорили трещетки ночныхъ сторожей.

Психопатъ.

На дворѣ чуть брезжитъ...

Сквозь ничѣмъ незавѣшанное низенькое окно комнаты видна свѣтлая полоска неба; мѣстами эта полоска закрывается остроконечными верхушками елей и пихтъ тайги, разросшейся на противуположной сторонѣ оврага, расположеннаго у самыхъ оконъ.

Сѣренькій денекъ встаетъ надъ Корсаковскомъ.

Моросить...

Лѣниво сползаютъ струйки воды по запыленнымъ стекламъ; и безъ того мало прозрачное окно, сдѣлалось какъ бы рябымъ и слегка отпотѣло.

Айвадзовъ уже на ногахъ.

Онъ сегодня не въ духѣ. Да и есть отчего быть разстроеннымъ: его обокрали.

— И надо же было случиться такому ужасному горю!..—причитаетъ онъ вполголоса, задумчиво остановившись посреди комнаты.

Голова его съ копной длинныхъ всклокоченныхъ сѣдовато-черныхъ волосъ опущена внизъ; руки со скрещенными пальцами вы-

тянуты во всю длину передъ туловищемъ ладонями къ полу; все лицо его какъ-то осунулось, черные глаза потускнѣли, носъ еще больше загнулся къ подбородку, и его высокая сутуловатая, худая фигура еще сильнѣе сгорбилась.

Тупое, безнадежное горе свѣтится въ его взглядѣ, жалобно мигаютъ больные глаза, всегда безобразящій лицо его правый глазъ съ глубокимъ треугольнымъ вырѣзомъ на верхнемъ вѣкѣ, лишенномъ рѣсницъ, дѣлаетъ лицо его въ этотъ мигъ и жалкимъ, и страшнымъ.

— Боже мой!.. Боже мой!..—шепчутъ его губы,—сколько безсонныхъ ночей, проведенныхъ за перепиской, пропало даромъ!.. сколько дней недопиванія, недоѣданія!.. Ужъ самое малое убытка на двадцать рублей...—думаетъ онъ, разцѣнивая въ сотый разъ похищенныя у него изъ сундука вещи.—Двадцать рублей!.. Шутка-ли сказать! А?!.—возбужденно вдругъ восклицаетъ онъ полнымъ голосомъ,—шутка-ли сказать!.. По-длецы!..

— Встали, князь?—доносится до него изъ сосѣдней комнаты.—Аль ужъ время въ полицію? Который часъ?—спрашиваетъ мужской голосъ.

— Пять еще,—отвѣчаетъ Айвадзовъ,—простите, что потревожилъ... рано еще!..

Голосъ за стѣной ворчитъ, что-то нелестное по адресу князя; — „разбудилъ, холера скаредная!“... доносится оттуда, но вслѣдъ за

этимъ тотчасъ за досчатой переборкой раздается богатырскій храпъ.

Айвадзовъ хмуро смотритъ куда-то въ уголъ, потомъ тихо плетется къ столу и садится передъ нимъ, упавъ головой на скрещенныя руки.

Въ головѣ его проносится цѣлый рядъ несчастій, выпавшихъ на его долю за эти дни: и пропажа вещей, и безпричинная ненависть къ нему всесильнаго чиновника Мокрохвостаго, и семидневный арестъ ни за что. Сердце его мучительно сжимается, какъ-то тоскливо дѣлается на душѣ, и отупѣвшій умъ отказывается работать; на нѣсколько минутъ онъ забывается, оставаясь безъ движенія.

Но вотъ, что-то знакомое коснулось его утомленнаго мозга; трепетнымъ счастьемъ охватило все его существо и прихлынуло теплой ласкающей волной къ его наболѣвшему сердцу. Какъ-то разомъ стушевались, исчезли куда-то всѣ огорченія и бѣды его долгой, тяжелой каторжной жизни, и на душѣ его сдѣлалось вдругъ свѣтло, хорошо...

— Господи!—шепчетъ онъ,—Господи!—и теплыя слезы радостнаго умиленія льются изъ глазъ его; онъ вспоминаетъ свою далекую, милую родину, свой чудный Кавказъ съ его постоянной весной, съ его горными вершинами, сіяющими вѣчными снѣгами, съ его румяными утренними зорьками...

Онъ—князь Михаилъ Осиповичъ Айвадзовъ...

Принадлежность его къ древнему грузинскому роду широко открываетъ передъ нимъ

двери въ салоны лучшаго общества; онъ благосклонно принятъ даже кавказскимъ героемъ, знаменитымъ генераломъ княземъ А...ри.

Онъ занимаетъ въ Тифлисѣ видное мѣсто въ одномъ изъ казенныхъ учрежденій.

Онъ молодъ, богатъ, красивъ.

Не одна пара жгучихъ черныхъ глазъ подолгу останавливаетъ на немъ свой ласкающій взоръ.

Но среди всѣхъ земныхъ красавицъ для него нѣтъ лучше, нѣтъ дороже княжны Нины... Только ея густые вьющіеся черные волосы, только ея большіе синеватые съ поволокой глаза заставляютъ учащенно биться его молодое, полное любви сердце, вызывая краску на его смугломъ лицѣ.

Передъ нимъ проносится рядъ воспоминаній; въ его умѣ въ мельчайшихъ подробностяхъ встаетъ картина въ виноградникѣ имѣнья князей Абашидзе въ долинѣ Ріона; онъ видитъ красное зарево заката, обливающее ея лицо розовымъ свѣтомъ, онъ видитъ ея лучистые большіе глаза, онъ чувствуетъ въ своей рукѣ ея маленькую теплую ручку, онъ чувствуетъ ея горячій поцѣлуй, слышитъ ея чарующій гортанный голосъ, трепетно повторяющій; „милый... дорогой... вѣчно буду любить тебя, вѣчно!“...

Онъ помнитъ залитую огнями церковь; онъ видитъ свою дорогую Нину въ вѣнчальной фатѣ съ флеръ-д'оранжемъ на чудной головкѣ и чувствуетъ ея знойное дыханіе рядомъ съ

собою передъ святымъ аналоемъ, онъ видитъ ея счастье, онъ слышитъ радостно несущуюся съ клироса пѣснь „Исаія ликуй“...

И вотъ, наконецъ, онъ—мужъ своей дорогой Нины!.. Боже, какое счастье!..

Какимъ дивнымъ, звучнымъ аккордомъ полно его сердце и жизнь!..

. . . . . .

Но, что это?!.

Нервная дрожь пробѣгаетъ по всему тѣлу Айвадзова, конвульсивно онъ хватается за голову, и тяжелыя подавленныя рыданія вырываются изъ его груди...

— Дорогая!.. милая!.. — какъ помѣшанный шепчетъ онъ, припадая пылающимъ лбомъ къ холодному, ничѣмъ не покрытому, деревянному столу. — Нина... Нина!.. голубка... святая!.. — вздрагивая всѣмъ корпусомъ, полушопотомъ повторяетъ онъ.

Голова подымается; на его лицѣ видно столько страданья, столько тяжелыхъ нераздѣленныхъ мукъ!.. и по состарѣвшимся, преждевременно морщинистымъ щекамъ его ползутъ крупныя слезы...

— За что мнѣ этотъ крестъ?!. — до боли сжимая свой лобъ, какъ-то по-дѣтски безпомощно всхлипываетъ онъ, и, вдругъ, содрогается, широко открывъ глаза, устремленные въ одну точку.

Передъ нимъ она лежитъ въ своей спальнѣ на кровати, закрытая съ головой одѣяломъ... онъ снимаетъ его осторожно съ ея лица, чтобы

не разбудить ее и... съ дикимъ крикомъ отскакиваетъ отъ постели — широкая зіяющая рана виднѣется у нея на груди; вокругъ ея похолодѣвшаго тѣла стоятъ лужи крови... Онъ близокъ къ сумасшествію.

— Господи! зачѣмъ не лишилъ меня тогда разсудка?—глотая слезу, думаетъ Айвадзовъ.

Онъ видитъ ее въ гробу. Осунувшееся исхудавшее лицо ея все также прекрасно, но никогда еще не была она для него такъ дорога, какъ теперь. Держась ослабѣвшей рукой за уголъ гроба, онъ, какъ ребенокъ, безутѣшно плачетъ надъ ней...

Онъ видитъ кругомъ себя злыя улыбки... Онъ слышитъ какъ кто-то въ толпѣ произноситъ слово „убійца“! но горе его такъ глубоко, что онъ не обращаетъ на окружающихъ его людей вниманія:

— Богъ съ ними!.. пусть судятъ...

И вотъ, онъ на судѣ.

До пятидесяти человѣкъ его знакомыхъ—людей вліятельныхъ—подъ присягой утверждаютъ, что Айвадзовъ горячо любилъ свою жену, но два злодѣя, совершившіе преступленіе показываютъ, что ихъ нанялъ для этого самъ же Айвадзовъ. Окружный судъ, послѣ долгаго совѣщанія, выноситъ ему приговоръ; онъ не слышитъ ничего изъ чтенія обвинительнаго акта и, какъ-то безучастно относится къ шепоту толпы, повторяющей: „20 лѣтъ каторжныхъ работъ“!..

„Нѣтъ больше князя Михаила Осиповича

Айвадзова — есть ссыльно-каторжный Айвадзовъ, Михаилъ“!—смутно проносится въ его умѣ, но это не трогаетъ его сердца. Угнетенный, убитый горемъ, онъ не чувствуетъ, какъ жестоко обидѣли его люди... Что ему каторга?.. Ему хочется смерти, но смерть не приходитъ за нимъ... онъ живъ, онъ чувствуетъ эту пустую, щемящую жизнь...

Глубокое горе въ нѣсколько дней посеребрило его волосы. Самую лютую смерть онъ принялъ бы съ восторгомъ, только бы не чувствовать тяжелой утраты любимѣйшаго въ мірѣ человѣка—бѣдной Нины...

Нѣсколько времени до отправленія этапомъ на Сахалинъ онъ жилъ въ тюрьмѣ, не понимая того, что дѣлается вокругъ него и только пришелъ въ себя, когда ему стали брить правую половину головы. Онъ горько заплакалъ тогда, но онъ плакалъ не потому, что въ немъ было оскорблено человѣческое достоинство, а потому, что вспомнилъ опять въ эту минуту свою Нину...

— Господи! если бы она видѣла это!..— пронеслось у него въ головѣ, и онъ истерически зарыдалъ... какъ-то жалобно, по-старчески...

Рука тюремнаго цирульника дрогнула; сжалось его привычное сердце при видѣ этихъ слезъ, и онъ изъ состраданія къ несчастному сталъ направлять свою зазубренную бритву.

Одиннадцать лѣтъ тяжелой каторжной жизни прошло съ тѣхъ поръ.

Мало - по - малу забылось былое; затянуло старую, наболѣвшую рану, но на мѣстѣ ея стали появляться жестокія язвы.

Съ каждымъ днемъ его жизни на каторгѣ куда-то далеко-далеко отходитъ въ его сердцѣ прежнее равнодушіе къ свободѣ; чувство угнетенія, тяжесть незаслуженной кары все сильнѣе и сильнѣе безпокоятъ его сознаніе и, наконецъ, выливаются наружу въ болѣзненной формѣ...

Всѣ его мечты, всѣ его желанія сводятся къ одному: снова стать богатымъ княземъ, получить опять прежнее мѣсто на Кавказѣ и зажить спокойной довольной жизнью. Душа его жадно ищетъ почета, уваженія; проситъ полнаго оправданія—оправданія въ преступленіи, совершенномъ не имъ. Онъ еще молодъ, ему еще только 35 лѣтъ, онъ имѣетъ право на счастье и онъ отвоюетъ его у судьбы.

Онъ стремится къ осуществленію своихъ мечтаній,—онъ начинаетъ копить деньги. Ему приходится не досыпать, не доѣдать, не допивать, но онъ со всѣмъ мирится; всѣ требованія свой жизни онъ сводитъ къ стакану жиденькой водички, заваренной микроскопическими крошками, оставшимися въ листѣ бумаги отъ проданнаго имъ за 12 копеекъ полукирпича тюремнаго чая; вмѣсто булки онъ употребляетъ въ пищу черствыя корки затхлаго тюремнаго чернаго хлѣба; на обѣдъ и ужинъ у него идетъ та же корка хлѣба съ картошкой безъ масла, отваренной на чужомъ огнѣ. Весь

казенный паекъ—рыба, крупа, подкисшая солонина, затхлая мука—продается имъ въ день получки безъ промедленія и остатка. Какъ человѣкъ образованный, онъ зачисленъ писаремъ въ К...вское полицейское управленіе и получаетъ даже за свой труды изъ казны 9 рублей ежемѣсячнаго жалованья.

Живетъ онъ внѣ тюрьмы.

Отъ своихъ бывшихъ друзей, знакомыхъ и покровителей онъ часто получаетъ съ Кавказа денежную помощь; хотя деньги на Сахалинѣ, присылаемыя каторжнымъ, хранятся въ ящикѣ полицейскаго управленія и выдаются имъ на руки по маленькимъ частямъ только для пріобрѣтенія вещей первой необходимости—какъ, напримѣръ, сахара, булокъ, бѣлья и т. д.—Айвадзовъ ухитряется забирать изъ полиціи свои деньги иногда и порядочныя, въ самый короткій срокъ.

За послѣдніе три года своей жизни Айвадзовъ скопилъ, какъ увѣряютъ ссыльные, тысячъ до пяти; у него въ Корсаковскѣ имѣется два собственныхъ домика, которые онъ сдаетъ внаймы. Въ одномъ изъ нихъ онъ занимаетъ самъ крошечную конурку.

Вся обстановка его комнатки заключается въ деревянной койкѣ съ мѣшкомъ, набитымъ сѣномъ, съ подушкой и съ простымъ шерстянымъ одѣяломъ; у другой стѣны противъ койки стоитъ маленькій деревянный, теперь сломанный, некрашеный сундучекъ, рядомъ съ нимъ ясеневый стулъ и такой же столъ.

Надъ подушками койки къ стѣнкѣ прибитъ маленькій образочекъ св. Нины, просвѣтительницы Грузіи, а рядомъ съ образочкомъ въ узенькой черной рамкѣ за стекломъ картинки, вырѣзанныя изъ „Нивы“ и „Развѣдчика“, фотографическая карточка генерала, князя А...ри, и рукопись какого-то стихотворенія... Вотъ и вся его обстановка!

Странное явленіе наблюдается за послѣдніе годы въ Айвадзовѣ; съ какимъ-то раболѣпнымъ обожаніемъ безконечное число разъ онъ разсказываетъ всѣмъ и каждому о боевыхъ заслугахъ князя А...ри, пересчитываетъ всѣ его медали и ордена съ перваго до послѣдняго и приходитъ въ необыкновенный восторгъ, заканчивая обыкновенно повѣствованіе свое сообщеніемъ того, что князь А...ри получилъ орденъ святого Александра Невскаго и высшую награду—брилліантовые къ нему знаки; онъ разсказываетъ объ этомъ съ такимъ видомъ, какъ-будто все это получилъ не князь А...ри, а самъ онъ, Айвадзовъ.

Окружающіе относятся къ его разсказу очень различно: одни, слушая его въ тысячный разъ и въ тысячный же разъ искренне удивляясь заслугамъ князя, изумленно разѣваютъ рты, доставляя этимъ Айвадзову несказанное удовольствіе; другіе, наоборотъ, послушаютъ, послушаютъ, да сплюнутъ въ сторону и отойдутъ, а то попадаются Айвадзову и такіе слушатели, что едва онъ раскрываетъ ротъ, чтобы сказать слово, какъ они уже ма-

шутъ безнадежно рукой: „Ну! замололъ про своего А...ри... Психопатъ“!—и равнодушно повертываютъ къ нему спину; это его нѣсколько сердитъ, но, тѣмъ не менѣе, не мѣшаетъ все-таки, доводя свое повѣствованіе до конца, глубокомысленно сказать въ заключеніе:

— Видите какія высокопоставленныя лица принимаютъ во мнѣ участье!..

Онъ, какъ курица съ яйцомъ, вѣчно носится по всему Корсаковску или съ двумя номерами журналовъ „Развѣдчикъ“ и „Нива“, или съ упомянутой мною рамкой, которая обыкновенно, когда онъ дома, виситъ надъ подушкой его постели; по его понятію два завѣтныхъ журнальныхъ номера одинаково съ рамкой служатъ вещественными доказательствами величія и заслугъ его знакомаго князя А...ри, а слѣдовательно и косвенно относятся также къ нему, подымая его престижъ въ глазахъ всѣхъ смертныхъ.

— Видите, — обыкновенно говоритъ онъ, показывая кому-нибудь, иногда даже и на улицѣ, рамку или номера журналовъ — это мой знакомый (идетъ дальнѣйшее титулованіе князя или генерала), а вотъ это серебряная статуя—памятникъ, поднесенная ему при жизни офицерами Кавказскаго военнаго округа съ мраморнымъ „пьедестеломъ“, украшенная „артамурами“ (послѣднее слово должно означать арматурами); недавно князь А...ри получилъ высшую награду—орденъ святого Александра Невскаго и бриллiантовые знаки...

Вотъ какія высокопоставленныя лица принимаютъ во мнѣ участье... А это вотъ—стихотвореніе, написанное мною въ честь генерала; первыя буквы всѣхъ строкъ даютъ его фамилію—это акростихъ,—и тутъ неизбѣжно слѣдуетъ прочувствованное чтеніе самого стихотворенія.

Айвадзовъ человѣкъ совершенно не пьющій; знакомство онъ ведетъ только по выбору съ лучшими людьми изъ ссыльныхъ, да негласно съ нѣкоторыми маленькими чиновниками; и съ тѣми и съ другими онъ на „вы“, ко всей же „шпанѣ“ онъ относится высокомѣрно и говоритъ всѣмъ имъ „ты“.

Большая часть жителей К—овска относится къ нему равнодушно, называя его психопатомъ и сквалыгой; такъ же равнодушно относится въ свою очередь ко всѣмъ и Айвадзовъ. Враговъ у него нѣтъ, если, впрочемъ, на считать его врагами уличныхъ мальчишекъ К—овска; послѣднихъ онъ видѣть не можетъ, да и понятно почему. Идетъ, напримѣръ, Айвадзовъ по улицѣ, идетъ тихо, спокойно, никого не трогаетъ, но стоитъ только мальчишкамъ завидѣть его, какъ вся ихъ ватага, сколько бы ихъ ни было, начинаютъ кричать ему въ лицо, высовывая языки:

„Князь упалъ въ грязь...
„Князь упалъ въ грязь,
„Рыло замаралъ,
„И сталъ генералъ...“

Словно пророчатъ они ему, что онъ никогда, никогда не будетъ ужъ больше прежнимъ княземъ. Но гдѣ-то на днѣ души его шевелится слабая надежда: „авось оправдаютъ... вѣдь я же невиненъ“.

На дворѣ совершенно смерклось...

Часы К—овскаго полицейскаго управленія бьютъ десять.

Усталые писаря беззвучно зѣваютъ въ кулаки во всю ширь своихъ ртовъ.

Въ писарской комнатѣ или, какъ ее здѣсь называютъ, „въ канцеляріи“ необыкновенно тихо. Никто не шевельнется, развѣ только встревоженно пробѣжитъ по ней въ свою комнату столоначальникъ Обиралкинъ, въ сопровожденій всесильнаго чиновника Мокрохвостаго или безъ него, и потомъ, встряхивая фалдочками своего сюртука, какъ лягавая собака ушами, съ кипой бумагъ въ обѣихъ рукахъ, на ходу читая ихъ, бѣгомъ спѣшитъ обратно въ присутствіе.

А тамъ, въ присутствіи, словно громы небесные, раздается властный старческій голосъ.

Особа не въ духѣ и недовольная производитъ за всѣ безпорядки подобающій разносъ чиновникамъ Дрязгину, Мокрохвостову и Обиралкину.

— Всѣмъ на орѣхи отвалитъ, — злорадно

посмѣиваясь, говоритъ вполголоса одинъ изъ писарей своему сосѣду.

— А развѣ тверезый?—спрашиваетъ тотъ.

— То-то и дѣло, что не ублажилъ свою душу окаянную,—усмѣхается первый—отъ того его и разбираетъ, должно-быть!!.

— Странное дѣло! не вѣрится, чтобъ тверезый, можетъ малость того... не допилъ!.. это еще такъ!—не соглашается кружокъ.

Но въ это время изъ присутствія доносится странный смѣхъ, и властный старческій голосъ, надрываясь, вскрикиваетъ фистулой:

— Это хорошо!.. Да какое вы право имѣете, милостивый государь?!. Погодите вы у меня!..

— Ванюха, а Ванюха, это видно за муку тухлую кровопивца Мокрохвостова поливаетъ?.. — толкая локтемъ товарища говоритъ одинъ изъ писарей.

— А ну его,—чтобъ ему лопнуть!!.—ругается другой въ отвѣтъ на чистосердечное пожеланіе Ванюхи.

Но вотъ дверь изъ присутствія открывается, и въ канцелярію поспѣшно входитъ Обиралкинъ.

— Айвадзовъ, ихъ превосходительство разрѣшаютъ подать имъ прошеніе, — и, торопя засуетившагося Айвадзова, онъ вновь исчезаетъ въ дверяхъ присутствія.

Айвадзовъ извлекаетъ изъ стола свою знаменитую рамку, два номера журналовъ и прошеніе на двухъ листахъ писчей бумаги, поспѣшно, но бережно складываетъ все это

вмѣстѣ, оглядываетъ себя и направляется къ дверямъ присутствія.

Кругомъ слышится подавленный смѣхъ, „князь, князь!“ доносится до его ушей шепотъ: „вы того... не пугайтесь!“..

— Ужъ раздуетъ кадило!..—прыская отъ смѣха, стонетъ кто-то.

Но Айвадзовъ, не слушая, берется за ручку двери; „дураки!“ думаетъ онъ, и, переступая порогъ присутствія, останавливается у дверей.

Передъ нимъ за письменнымъ столомъ сидитъ пожилыхъ лѣтъ важная персона съ синевато-багровымъ носомъ.

Чиновникъ Дрязгинъ, необыкновенно похожій, особенно въ своихъ очкахъ, на филина, стоитъ направо, поглаживая свое отрощенное на Сахалинѣ брюшко; сподвижникъ и помощникъ его по службѣ—Мокрохвостовъ по лѣвую сторону, а позади Мокрохвостова, словно прячась отъ „дурного глаза“, дрожа, какъ трясогузка, притаился столоначальникъ Обиралкинъ.

Нѣсколько минутъ Айвадзовъ стоитъ безъ движенія; въ комнатѣ мертвая тишина; персона разсматриваетъ.

— Твоя фамилія Айвадзовъ?—сурово обращается, наконецъ, персона къ вошедшему.

— Такъ точно, ваше высокопревосходительство,—передаетъ Айвадзовъ.

Персона польщена.

— Съ прошеніемъ?..—коротко, но болѣе

мягкимъ тономъ продолжаетъ онъ свой допросъ.

— Такъ точно, ваше высокопревосходительство.

— Подай сюда.

Айвадзовъ кладетъ на столъ передъ персоной вмѣстѣ съ прошеніемъ и рамку, и два номера журналовъ.

Персона надѣваетъ на носъ золотыя очки, беретъ прошеніе и просматриваетъ его.

Проходитъ нѣсколько минутъ томительнаго молчанія.

— Бывшій дворянинъ и князь?—вопросительно ропчетъ персона.

— Такъ точно.

Чтеніе продолжается.

— Ты просишь о помилованіи, но я ничего не могу для тебя сдѣлать,—сухо обращается къ Айвадзову персона, возвращая ему прошеніе.

— Ваше высокопревосходительство...—вырывается вопль изъ его груди,—сдѣлайте милость... сдѣлайте святое дѣло... заступитесь за несчастнаго...—спазмы подступаютъ къ его горлу, не даютъ ему говорить,—я вѣдь ни за что пришелъ...—вырывается у него стономъ.

— Всѣ вы—ни за что!..—улыбаясь въ сторону Дрязгина, замѣчаетъ персона; Дрязгинъ спѣшитъ согласиться съ этимъ заключеніемъ и, молча, выразительно взмахиваетъ кистью руки, какъ бы говоря: „старая пѣсня“!..

Мокрохвостовъ пріятно улыбается, а Обиралкинъ издаетъ какой-то неопредѣленный радостный звукъ, похожій на фырканье лошади.

— А это, что такое еще? — указывая на номера журналовъ и рамку, спрашиваетъ персона и принимается разсматривать ихъ.

Столоначальникъ Обиралкинъ неистово шипитъ, разбрасывая вокругъ слюну, все лицо его наливается кровью, онъ хочетъ удержаться отъ смѣха, но не можетъ и громко фыркаетъ.

— Что это такое?—спрашиваетъ персона у Айвадзова.

— Это, ваше высокопровосходительство, мой покровитель генералъ князь А—ри, онъ имѣетъ орденъ святого Александра Невскаго и высшую награду—брилліантовые знаки...

Персона, какъ одураченная, смотритъ во всѣ глаза, ничего не понимая. Дрязгинъ нервно гладитъ свое отрощенное брюшко, Мокрохвостовъ сдержанно улыбается, а Обиралкинъ со слезами на глазахъ неистово фыркаетъ.

— Это его портретъ,—воодушевленно продолжаетъ Айвадзовъ,—это серебряная статуя-памятникъ, поднесенная ему при жизни офицерами Кавказскаго военнаго округа съ мраморнымъ „пьедестеломъ“ и „артамурами“... Это — стихотвореніе - акростихъ, написанное мною въ честь генерала; первыя буквы всѣхъ его строкъ даютъ его фамилію... высокопо-

ставленная личность эта принимаетъ во мнѣ участье, ваше высокопревосходительство,— скоро-скоро задыхаясь говоритъ онъ, и уже хочетъ начать чтеніе своего акростиха, но генералъ взглядываетъ на часы и сразу разстраивается—ровно десять часовъ вечера, по строго заведенному порядку, онъ привыкъ „урѣзать“, а часы присутствія показываютъ четверть одиннадцатаго.

Генералъ подымается изъ-за стола.

— Что жъ ты, другъ любезный, не догадался захватить съ собою, чтобы показать мнѣ чего-нибудь изъ своего бѣлья?—смотря на золотые карманные часы замѣчаетъ персона и на душѣ у него становится веселѣй, потому что стрѣлки его часовъ показываютъ безъ пяти минутъ десять.

Дрязгинъ приближается къ генералу и, дотрогиваясь до своего лба, произноситъ вполголоса, но при томъ такъ, что Айвадзовъ слышитъ его:

— Это нашъ психопатъ,—ваше превосходительство...

Персона солидно посмѣивается, Дрязгинъ и Мокрохвостовъ усердно вторятъ ему, а столоначальникъ Обиралкинъ, уже невладѣющій собою, шипитъ во всю мочь.

— Замѣчательно, я никогда не пропущу времени ужина; ровно въ десять часовъ вечера я привыкъ закусывать и сейчасъ былъ крайне удивленъ, увидавъ, что на вашихъ часахъ четверть одиннадцатаго... но, оказы-

вается, они у васъ на двадцать минутъ впередъ... Мой желудокъ самый вѣрный брегетъ, по которому можно смѣло повѣрять всѣ часы,—смѣясь по-генеральски остритъ персона и затѣмъ, обращаясь къ Дрязгину, говоритъ:—Степанъ Степановичъ, на сегодня довольно... Пора и закусить, и отдохнуть... Идемте вмѣстѣ.—Онъ прощается за руку съ Мокрохвостовымъ; Обиралкина удостоиваетъ кивкомъ головы, и выходитъ изъ присутствія въ переднюю, за нимъ почтительно слѣдуютъ Дрязгинъ, Мокрохвостовъ и Обиралкинъ; въ писарской всѣ смѣются.

Въ присутствіи остается одинъ Айвадзовъ, онъ слышитъ смѣхъ людей, слышитъ ихъ веселый говоръ...

Но всѣ надежды его рухнули, рыданья душатъ его, и сердце разрывается на части, а неудержимыя слезы льются изъ его больныхъ глазъ, орошая его преждевременно состарѣвшееся лицо.

Въ гостяхъ.

День былъ праздничный.

Весна была въ полномъ разгарѣ. Солнце ослѣпительно сіяло на голубомъ небѣ, кой-гдѣ украшенномъ волнистыми, бѣлыми разорванными барашками. На деревьяхъ налились смолистыя почки, наполняя свѣжій воздухъ легкимъ ароматомъ зелени; изъ-подъ почернѣвшаго талаго снѣга, мѣстами еще покрывавшаго землю, и изъ - подъ золотисто-рыжей прошлогодней травы въ сосновомъ лѣсу пробивалась ярко-зеленая, изумрудная травка.

Въ воздухѣ было тепло, но съ залива тянуло прохладнымъ вѣтеркомъ; этотъ вѣтерокъ приносилъ съ собой какой-то опьяняющій запахъ морской воды съ едва различимымъ запахомъ свѣжей рыбы.

Море чуть зыбкой поверхностью своей, все сіяя и искрясь, отражало голубое небо.

Воздухъ въ этотъ день былъ такъ прозраченъ, что черезъ заливъ на большое разстояніе отчетливо видѣнъ былъ противоположный берегъ, съ раскинутыми кое-гдѣ вдоль него поселками.

Особенно хорошъ видъ на море былъ съ возвышенной южной части К....овска, такъ называемой П...арской слободки.

Покривившіеся, хотя и недавно выстроенные дома этой слободки глядѣли въ этотъ солнечный день какъ-то привѣтливѣе черезъ свои палисаднички на улицу, утопающую въ жидкой черной и мѣстами темно-рыжей грязи.

Солнышко заглянуло въ этотъ день и въ мрачную избу Сергѣя Набокова. Сквозь тусклыя стекла оконъ золотистой полосой прорѣзалось оно въ его комнату и, золотя миріады пылинокъ въ воздухѣ, залило своимъ яркимъ свѣтомъ ея грязныя стѣны и некрашеный полъ.

У Набокова были гости.

Къ нему зашли посидѣть, поболтать, а коли случится такъ и выпить „по баночкѣ" писаря К.....овскаго окружнаго полицейскаго управленія Семенъ Андреичъ Курбскій и нашъ старый знакомый маркизъ Иванъ Кузьмичъ Ламброзо... Впрочемъ, говоря откровенно, послѣдняя-то причина—„выпить по баночкѣ"—и была самою главною въ этомъ случаѣ.

Набокова въ К.....овскѣ не любили.

— Ужъ очинно озарной мужикъ!—говорили про него одни.

— Ахъ, ужъ дюже хитеръ, голову нашему брату морочитъ! Такъ окрутитъ, такъ окрутитъ, что и-и-и!—отзывались другіе.

И Набоковъ, дѣйствительно, былъ, что называется, парень не промахъ. Въ К....овскѣ

нельзя было найти ни одного человѣка, котораго бы онъ такъ или иначе не объегорилъ.

— Онъ и домъ-то свой не за деньги куплялъ, а такъ, какъ-то задаромъ онъ достался ему—разсказываютъ кругомъ,—мужикъ хитрый — и безъ гроша за душой до собственнаго дома додумался!..

Набоковъ занимается, чѣмъ Богъ приведетъ; за все берется, на чемъ только можно копеечку зашибить, но главнымъ образомъ онъ заработываетъ деньги хлѣбопекарней и тайной продажей спирта.

Наружностью своей Набоковъ не представляетъ ничего особеннаго. Единственно, что только можно отмѣтить у него въ лицѣ—это глаза: они у него совершенно, какъ у кошки—зеленые, и, кромѣ того, взглядъ этихъ глазъ нестерпимо непріятный—когда онъ глядитъ на человѣка, такъ и кажется, что онъ всего его пронизываетъ и даже въ душу ему закрадывается.

— Скверный глазъ у яго,—говорятъ про Набокова ссыльные, — безпремѣнно дурнота какая отъ яго глаза у человѣка прикинется!..

И Курбскій, и маркизъ Ламброзо, оба одинаково хорошо знали Набокова и обоимъ онъ былъ несимпатиченъ, но они пришли къ нему сегодня по особо важному для него дѣлу и потому, какъ лица для него крайне нужныя, основательно разсчитывали, что онъ „поставитъ“ имъ „ужъ по крайности“ бутылку „мархилевки“.

— Такъ что дѣло облажено?—хитро улыбаясь и довольно потирая руки, спросилъ Набоковъ у своихъ гостей, выслушавъ ихъ длинный докладъ о положеніи его дѣла относительно продажи дома,—такъ что энта кочерга старая таперечка съ меня чорта лысаго получитъ замѣсто денежокъ-то по векселю? Такъ, вѣдь, оно выходитъ-то, ась?..

— Да ужъ не больше того!—весело смѣясь, подтвердилъ Курбскій.

А маркизъ Ламброзо сдѣлалъ масляные глазки и раскатился серебристымъ смѣхомъ ему въ тонъ. Улыбаются, стало быть, ей двѣ „катеньки“,—сказалъ онъ и, помолчавъ немного, сентиментально вздохнулъ и прибавилъ,—дасъ, улыбаются!.. А вѣдь, какъ ни какъ, двѣсти рублей на Сахалинѣ—порядочныя деньги. Помню, моя маманя въ прошломъ годѣ прислала мнѣ двѣсти рублей... одинъ разъ триста, потомъ двѣсти, а потомъ еще триста пятьдесятъ... Такъ я говорю, когда двѣсти рублей прислала, такъ я прямо цѣлый годъ ихъ истратить никакъ не могъ... И туда пойдешь, цѣлый ворохъ накупишь всякой всячины, и сюда пойдешь, а все денегъ никакъ извести не можешь... Цѣлый годъ съ ними маялся...

— Да, что ты врешь-то, дьяволъ! Когда это у тебя деньги такія были? Ты, поди, и отродясь-то во снѣ никогда сотенной въ глаза не видалъ... Ахъ ты, шутъ ты гороховый!—раскатился заразительнымъ смѣхомъ прямо ему въ глаза Курбскій.

— Какъ не видалъ въ глаза сотенной?— замигалъ глазками маркизъ,—ты спроси у Бодягина, если мнѣ не вѣришь...

— Да куда же ты дѣвалъ ихъ, коли онѣ у тебя были.

— Куда дѣвалъ?—маркизъ съ минуту помолчалъ, продолжая мигать глазами, а потомъ, лукаво улыбаясь, часто - часто заговорилъ, словно горошкомъ разсыпался:—какъ мнѣ это маманя прислала деньги, вижу, повѣстка на двѣсти рублей писана и сказано на ней, что деньги энти отъ мамани прямо ко мнѣ идутъ, такъ это я получилъ ихъ и перво-на-перво, какъ сейчасъ помню, вмѣстѣ съ Бодягинымъ купили три бутылки спирта и въ тайгу!.. а деньги въ тотъ же день до единой копейки всѣ потерялъ... Не вѣришь, ну вотъ лопни глаза мои!.. Спроси у Бодягина, коли такъ...

— Да ты, братъ, что за дураковъ насъ что ли считаешь? Сейчасъ самъ сказалъ, что цѣлый годъ протратить не могъ ихъ, а теперь, на поди, потерялъ уже разомъ оказывается!..

— Да это не тѣ годъ-то цѣлый тратилъ, это другія... Ей Богу же, правда!.. А эти-то двѣсти рублей до копеечки всѣ въ одинъ день у меня ушли.. Да чего я тебѣ божиться-то буду, спроси у Бодягина, сказываютъ тебѣ... Я еще вмѣстѣ съ деньгами въ тотъ же день и часы золотые съ боемъ потерялъ... на нихъ еще на крышкѣ мой гербъ изъ бриллiантовъ былъ... тамъ еще и рубины и яшма была...

— Тьфу, ты, чортъ! Да будетъ тебѣ врать-то!

— Да, ей-Богу же правду сказываю. У Бодягина спроси!..

— Да что мнѣ твой Бодягинъ-то? Онъ за одно съ тобой завсегда; ты соврешь, а онъ присягнетъ за тебя, будто ты правду сказываешь...

— Ну, поди ты!—смѣясь, махнулъ на Курбскаго рукой маркизъ.—А вотъ, что, Сергѣй Никитичъ, нѣтъ ли у тебя чего-нибудь душу грѣшную чѣмъ бы ублажить? Въ горлѣ что-то пересохло шибко,—и маркизъ щелкнулъ при этомъ себя по воротнику.

— А отвѣтная будетъ?—сухо спросилъ его Набоковъ [1]).

— Отвѣтная?—маркизъ покосился на Курбскаго.

— Какъ же, какъ же,—оживился тотъ, доставая изъ своего кармана закупоренную бумажкой бутылку,—знаемъ, что въ гости къ сахалинскому столовѣру идемъ... Припасли, припасли!.. Да чего тамъ, садись, сперва нашу разопьемъ!..

Курбскій уже хотѣлъ ототкнуть бумажку, но Набоковъ хмуро поднялся изъ-за стола и вышелъ молча въ сосѣднюю комнату.

— Погоди ты,—взволнованнымъ шопотомъ остановилъ Курбскаго маркизъ,—не твоя бутылка, а моя, такъ ты и не распоряжайся ею...

---

[1]) На Сахалинѣ существовалъ раньше обычай ходить въ гости со своей выпивкой; теперь онъ выводится, но нѣкоторые еще его придерживаются.

Перва пусть-ка онъ насъ упоштуетъ, а потомъ ужъ и мы его, а то еще нашъ-то спиртъ выжретъ, а своего не поставитъ, чего добраго... Самъ знаешь его, небось! Такого крученаго еще, какъ онъ, и во всемъ порту не отыщешь!..

— Да я што... Я точно что не хозяинъ этой бутылки,—шопотомъ отвѣтилъ ему Курбскій,—а потому какъ ты просилъ меня, чтобы я, значится, какъ бы самъ отъ себя твою бутылку выставилъ, такъ я и хотѣлъ это...

— Нѣтъ, нѣтъ, сейчасъ не надо!.. Перва его выкушаемъ, а потомъ, ужъ, свою выставимъ... А то еще окрутитъ.

— Такъ, на, бери... Самъ ставь; чего еще тамъ канитель-то разводишь!—сердито прошепталъ Курбскій, пихая бутылку въ руки маркиза, но маркизъ рѣшительнымъ движеніемъ руки отстранилъ ее отъ себя и, заслышавъ шаги возвращающагося Набокова, скороговоркой прошепталъ:

— Нѣтъ, Семенъ Андреичъ, на себя не возьму ни въ жисть энтаго... Маркизы Ламброзо никогда въ гости со своей водкой не хаживали и не хочу я позорить своей хфамиліи на эфтомъ поступкѣ... Что это за схоластика такая, ни въ жисть не возьму энтаго конфузу на себя... Лучше, братъ, пойдемъ съ тобой, да свою бутылку гдѣ-нибудь одну выпьемъ, чѣмъ до этакаго срама доходить мнѣ, чтобы отвѣтную ставить... Это, братъ, маманя моя узнаетъ, такъ...

Типъ кандальнаго каторжнаго.

Маркизъ не договорилъ; Курбскій поспѣшно спряталъ бутылку обратно въ карманъ пиджака и громко расхохотался.

— Ахъ, ты, харя простоволосая! — простоналъ онъ, хватаясь за бока,—хвамилію позорить не хочешь!..

Лицо Курбскаго налилось кровью, и на глазахъ его выступили слезы.

Въ комнату вошелъ Набоковъ; въ одной рукѣ у него была глубокая тарелка съ селедкой, солеными груздями, кускомъ вареннаго мяса и краюхой хлѣба, въ другой рукѣ, между пальцами, были зажаты три грязные граненые стаканчика - шкалика, а подъ мышкой той же руки красовалась бутылка темнаго стекла, какъ и у Курбскаго, заткнутая бумажкой.

— Чего хохочешь-то?—насильно улыбаясь, спросилъ Набоковъ у Курбскаго; его сердило, что приходилось распивать бутылку спирта, которую онъ могъ бы продать съ большой выгодой.

Маркизъ сдѣлалъ Курбскому сердитые глаза, какъ бы говоря ему:

— Только скажи что - нибудь! Ей - Богу возьму свою бутылку и уйду совсѣмъ! Ну тебя къ чорту!..

Курбскій еще разъ во всю глотку расхохотался и, наконецъ, проговорилъ:

— Ну, и распотѣшилъ же, песъ его задави!.. Все про свои часы съ боемъ да съ бриллiантами распинается...

Набоковъ язвительно посмотрѣлъ въ сторону

маркиза, молча сѣлъ за столъ, налилъ шкалики спиртомъ и, чокнувшись однимъ изъ нихъ съ двумя другими, проговорилъ, стараясь придать своему голосу ласковый тонъ:

— За ваше здоровье, робятки!

Лицо маркиза разомъ просвѣтлѣло; онъ жадно схватился за шкаликъ, понюхалъ его, зажмурилъ отъ удовольствія глаза и, промычавъ „за ваше здоровье",—прильнулъ къ нему губами.

Послѣ перваго шкалика всѣ приналегли на закуску, потомъ перекинулись между собой двумя-тремя словечками и снова наполнили шкалики и осушили ихъ.

Набоковъ открылъ окно.

Съ улицы слышалось немолчное щебетаніе птичекъ, чирикали воробьи, заливались-пѣли жаворонки, посвистывала и пощелкивала трясогузка, и чуть шевеля заостренными кончиками распластанныхъ въ воздухѣ сильныхъ крыльевъ, быстро и плавно, носясь высоко надъ землей, каркали черныя вороны.

— Погода-то, погода-то, язви ея душу!— съ чувствомъ произнесъ Курбскій.

— Да!.. погодка славная, — скидывая съ себя пиджакъ, согласился Набоковъ,—только жарко маленько...

— Ахъ, такъ и вспоминается мнѣ моя дорогая Москва,—закатывая глазки, мечтательно произнесъ маркизъ Ламброзо. — Петровскій паркъ... музыка и все такое... Помню, какъ сейчасъ, это восхитительный балконъ и мою

губернанку... то-ись и не губернанка она была у меня, а въ родѣ какъ бы... ну, за хозяюшку... и красивая была... Лизой звали... Такъ же, вотъ, дни-то тамъ жаркіе бывали... Придешь, бывало, съ департамента домой, на дачу свою... Ну, на головѣ, обыкновенно, треуголка... Мундирчикъ голубой, бирюзовый. Городовые, это, всѣ какъ есть тянутся передо-мной—честь дѣлаютъ... Ну придешь, а ужъ дома тамъ, это, моя Машутка—губернанка-то моя—мнѣ ужъ суприз разные на столѣ сварганитъ: и спиртъ-то тамъ, и шиппанское-то тамъ, и селедка-то тамъ... и ужъ чего-чего нѣту... сядешь это и заведетъ она разные мотивты...

— Ну, что-жъ, не хватило тебѣ, братъ, Курбскій, доливай изъ своей бутылки,—перебилъ маркиза Набоковъ.

— Да чего доливать,—почти полная, Сергѣй Никитичъ!

Маркизъ сразу оборвался; онъ тревожно посмотрѣлъ на шкалики, торопливо взялъ свой и, ни съ кѣмъ не чокнувшись, опрокинулъ его себѣ въ ротъ, потомъ приналегъ на закуски и вдругъ соскочилъ со стула.

— Я сейчасъ, братцы... Сей минуточку,—сказалъ онъ и вышелъ на улицу.

Между тѣмъ шкалики были уже всѣ опорожнены.

— Да куда ты, чортъ?—окликнулъ его Набоковъ, но Курбскій что-то сказалъ ему такое, отъ чего тотъ сразу успокоился и только расхохотался...

— Ну наливай, паря,—попросилъ Набоковъ, торопясь глотнуть, наконецъ, и чужого спирта: ужъ очень онъ большой охотникъ былъ до чужой выпивки, своя никогда не была для него такой вкусной, какъ чужая—даровая.

Курбскій налилъ.

— Ну его къ чорту, чего его дожидаться,—беря свой шкаликъ проговорилъ Набоковъ,—мы еще сейчасъ съ тобой успѣемъ по одной безъ него дербалызнуть... Ну-ка, паря, будемъ здоровы...

Набоковъ опрокинулъ шкаликъ... и вдругъ выпучилъ глаза...

Курбскій только-что собирался поднести свою баночку къ губамъ и блаженно улыбался, но въ этотъ моментъ взглядъ его упалъ на искаженное лицо хозяина и въ то-же время онъ почувствовалъ запахъ керосина.

Лицо Набокова было страшно; по лицу его пробѣжала судорога, глаза налились кровью, а зубы его такъ и скрежетали...

— Неужто-же керосинъ?—растерялся Курбскій.

— А ты не зналъ, язви тебя!—заревѣлъ Набоковъ, хватая со стола бутылку,—ты не зналъ, собака?

И онъ вскочилъ изъ-за стола и что есть силы размахнулся на Курбскаго.

Курбскій тоже вскочилъ и схватилъ свою табуретку.

Въ это время съ улицы заглянулъ въ окно встревоженный маркизъ; изъ избы его не за-

мѣтили, такъ какъ оба противника были сильно разгорячены.

— Ишь ты, осатанѣли какъ оба!.. Видно съ шинпанскаго мово разобрало ихъ разомъ дьяволовъ... Теперь только ноги уносить,— подумалъ маркизъ, прокрадываясь мимо оконъ. И вдругъ, миновавъ крайнее окно, припустился бѣгомъ.

А изъ избы Набокова слышались крики, шумъ, брань и раздавались страшныя проклятья.

— Что маркизъ у Набокова, кажись, были?— остановилъ чей-то мужской голосъ маркиза.

Маркизъ только рукой махнулъ ему въ отвѣтъ.

— Кажинный праздникъ побоище чинитъ; страсть мужикъ озарной,—произнесъ мужичокъ, прислушиваясь къ шуму драки.

— Да, ужъ такая необразованность... Одна схоластика нелогичная, можно сказать!—согласился съ нимъ маркизъ и, еще разъ махнувъ рукой, пустился еще быстрѣе улепетывать.

Ѳаддей Сапуновъ.

Ѳаддей Сапуновъ живетъ кучеромъ у переводчиковъ-японцевъ и въ то же время несетъ обязанности сторожа при лавочкѣ, принадлежащей его господамъ и сообщающейся съ ихъ квартирой. За исполненіе обязанностей сторожа онъ не получаетъ ни гроша, а какъ кучеру—ему платятъ японцы пять рублей въ мѣсяцъ съ готовымъ содержаніемъ.

Господа любятъ Ѳаддея, считаютъ его искренне преданнымъ себѣ и человѣкомъ безусловно честнымъ. Да оно и понятно: будетъ ли слуга, не соблюдающій интересовъ своихъ господъ, нести у нихъ двѣ обязанности, получая жалованье только за одну?

Когда Ѳаддей, откидывая движеніемъ головы назадъ вымазанные деревяннымъ масломъ и расчесанные на боковой проборъ волосы, воодушевленно говоритъ своимъ господамъ: „моя душа чесноку не ѣла; мнѣ чужая копеечка не нужна“, японцы умиляются душой.

Ѳаддею Сапунову пятьдесятъ шесть лѣтъ, но онъ молодится и скрываетъ свои года; по забывчивости, онъ то скажетъ, что ему сорокъ

три, то—„сорокъ первый кончается“. Правда, его никто не назоветъ старикомъ, онъ замѣчательно сохранился для своихъ лѣтъ, и, опредѣляя его года по виду, каждый ошибется въ его пользу лѣтъ на десятокъ. Одѣвается Сапуновъ всегда одинаково: и лѣтомъ и зимой на немъ все одинъ и тотъ же кожаный, насквозь пропитанный тресковымъ жиромъ, „спинжакъ“, замасленныя, лоснящіяся со всѣхъ сторонъ, нанковыя шаровары и высокіе, смазанные дегтемъ, сапоги съ голенищами въ раструбъ, перетянутые выше колѣна ремешками. Вообще внѣшность у Сапунова самая благообразная и, если бы не костюмъ, то его можно было бы принять за монаха; съ лица хоть святого рисуй.

Ѳаддей Сапуновъ—старообрядецъ, но за неимѣніемъ на Сахалинѣ старообрядческой церкви, онъ, въ теченіе десятилѣтняго пребыванія на островѣ, посѣщалъ нашъ храмъ и совершенно отвыкъ отъ обрядовъ своего вѣроученія. Человѣкъ онъ богомольный и рѣдко когда пропускаетъ церковную службу.

— Касательно храма Божьяго мои господа, честь имъ и слава, даютъ мнѣ полное нисхожденіе, каждый праздникъ въ церковь хожу,—набожно крестясь, постоянно говоритъ онъ.

Сапуновъ любитъ вспоминать поученія своего покойнаго отца и всѣмъ и каждому охотно разсказываетъ о немъ, какъ о человѣкѣ необыкновенномъ.

— Мой отецъ покойный, дай, Богъ, царствіе ему небесное, училъ меня такъ: „торговлей, сынокъ, не занимайся, потому какъ съ нея только душу загубишь, и не видать тебѣ будетъ на томъ свѣтѣ царствія небеснаго; самъ знаешь, торговые люди сказываютъ не обманешь — не продашь, а обманывать— грѣхъ великій“... „Не обмѣрь!“ говорилъ мнѣ покойный батюшка, „не обвѣсь, коли ежели все же торгъ какой поведешь въ жисти своей, и чужого не возьми главное!“... Коротко училъ, а съ разумомъ большимъ, дай, Богъ, ему царствіе небесное... Ну, и коли ежели что, такъ могу, слава Господу Богу, сказать про себя, что моя душа, честь мнѣ и слава, чеснoку не ѣдала... мнѣ чужая копеечка не нужна, слава тебѣ, Господи!

И, говоря такъ, Сапуновъ всегда съ чувствомъ осѣняетъ себя крестнымъ знаменіемъ, а на глазахъ его выступаютъ слезы, словно онъ луку нанюхался.

Сапуновъ терпѣть не можетъ, когда его спрашиваетъ кто-нибудь изъ ссыльныхъ: „за что судился [1]), паря?“

— За что судился? — хмуро переспрашиваетъ тогда Сапуновъ, — за грѣхи людей, братъ... пострадалъ за чужую вину...

— Стало быть неправедно судили? — продолжаетъ спрашивать собесѣдникъ.

---

[1]) Большинство ссыльныхъ спрашиваютъ „за что судился“, вмѣсто „за что пошелъ на каторгу“.

Сапуновъ тогда хмурится еще больше и, какъ бы еще неохотнѣе, отвѣчаетъ:

— Праведно али неправедно—не въ томъ толкъ, а только, что судился я за чужую вину, принялъ на себя чужой грѣхъ; схотѣлъ уподобиться Господу Богу нашему Іисусу Христу; чтобы спасти многихъ отъ погибели, взялъ ихъ грѣхъ на себя да и пошелъ безвинно на всю жисть страдать...

— Такъ, что-жъ? Убивство какое на себя, взялъ, что ли?

— Какое убивство! Нешто сталъ бы я экое дѣло покрывать?! Сдурѣлъ ты, паря!.. За монету фальшивую пострадалъ,—сердито говоритъ Сапуновъ и, сокрушенно вздыхая при этомъ, замѣчаетъ:—и въ глаза-то ее не видалъ, проклятую!

Слушая Сапунова, каждый собесѣдникъ выражаетъ ему, какъ умѣетъ, свое соболѣзнованіе; но нѣкоторые ему въ душѣ не вѣрятъ: „всѣ мы, паря, ни за что“, думаетъ другой въ это время про себя, „ужъ больно что-то шибко на правду не похоже!“...

Такъ или иначе, но считаютъ Ѳаддея Андреевича Сапунова за человѣка благочестиваго, добраго и честнаго.

Иногда къ Сапунову являются на кухню какіе-то подозрительные оборванцы; большею частью это случается въ сумерки или когда совсѣмъ темно станетъ—вечеркомъ; но и эти темныя личности не вызываютъ у господъ Сапунова—японцевъ—своими визитами ника-

кихъ опасеній: честный человѣкъ знакомства вести съ плохими людьми не будетъ,—основательно думаютъ они и не обращаютъ на это никакого вниманія.

Иной разъ Ѳаддей даже приходитъ къ господамъ въ это время въ комнаты и, почтительно остановившись у дверей на порогѣ, говоритъ своимъ нѣсколько сиповатымъ теноpочкомъ:

— Не во гнѣвъ вашей милости, Ануфрій Петровичъ, что безпокойствіе учиняю вамъ; разрѣшите лавочку отомкнуть; надоть бы мнѣ парочку селедочекъ взять, коли милость будетъ ваша, дозволите; гость пришелъ, попотчивать слѣдоваетъ...

— Мозьно, мозьно, Ѳаддей, — отвѣчаетъ всегда въ такихъ случаяхъ Ануфрій Петровичъ Пигай,—ключи твои руки есть, мозьно...

И Сапуновъ безъ всякаго присмотра идетъ въ лавочку и распоряжается тамъ, какъ ему угодно.

Вообще Сапунову у японцевъ живется такъ хорошо, что и помирать не надо.

На улицѣ темно.

Вѣтеръ уныло шумитъ полуобнаженными деревьями и протяжно завываетъ въ дымовой трубѣ. Крупныя капли дождя монотонно стучатъ въ отпотѣвшія стекла оконъ, и сквозь легкій сѣдоватый матъ ихъ просвѣчиваютъ

узенькими, извилистыми и блестящими, спускающимися внизъ, струйками.

Въ чисто выбѣленной, обшитой мѣшками изъ-подъ американской крупчатки, кухнѣ свѣтло горитъ небольшая стѣнная японская лампа. Около окна, но такъ что со двора не видно, сидитъ на табуретѣ Сапуновъ; онъ держитъ въ зубахъ ремешокъ, снятый съ праваго сапога и торопливо считаетъ пачку кредитныхъ билетовъ, крѣпко зажатыхъ въ рукѣ; на колѣняхъ у него лежитъ засаленный листъ писчей бумаги, въ которомъ только-что были завернуты деньги.

— Шесть пятисотенныхъ—три тыщи, да здѣсь еще... разъ, два, три, четыре, пять, шесть, семь—семьсотъ... Три тыщи семьсотъ... Теперь здѣсь,—Сапуновъ считаетъ двадцати пяти рублевыя бумажки,—если десять, то двѣсти пятьдесятъ, а тутъ девять только, стало-быть на двадцать пять меньше—двѣсти двадцать пять... А всѣхъ три тыщи девятьсотъ двадцать пять... Эхъ, добрать бы до пяти тысячъ, да и на материкъ!—думаетъ онъ, завертывая поспѣшно деньги въ бумагу и пряча ихъ за голенище сапога.

Изъ комнатъ доносится бой стѣнныхъ часовъ.

— Одиннадцать... Что-то Иванъ не идетъ! Не случилось-ли чего съ нимъ?.. Чего добраго засыпался [1]) еще съ моими одѣялами,—

---

[1]) Засыпался—попался.

приходитъ на умъ Ѳаддею, и онъ начинаетъ безпокоиться, что если Иванъ засыпался, то, пожалуй, могутъ и до него докопаться,—оно положимъ, парень такой, что не долженъ выдать, а все же неровенъ часъ, возьметъ, да и скажетъ, окаянный, (прости Господи, прегрѣшеніе мое!) чтобы самому выпутаться, что такъ, молъ, и эдакъ, Ѳаддей, молъ, Сапуновъ далъ продать, а я и не зналъ, дескать, что одѣяла-то у японцевъ украдены...

Но вотъ мимо окна кто-то проходитъ и вслѣдъ за этимъ со двора слышится легкій стукъ въ дверь. Сапуновъ радостно соскакиваетъ съ табурета и, незамѣтно косясь на ходу на голенище праваго сапога, хорошо ли завязанъ ремешокъ, уже у самыхъ дверей вполголоса окликаетъ:

— Кто здѣсь?

— Свои...

— Ты, Иванъ?

— Я, я, Ѳаддей Андреевичъ!

— Да кто—я?—не узнавая голоса, спрашиваетъ Сапуновъ. „Голосъ-то не Ивана“, думаетъ онъ.

— Да я же—Ликсѣй Паруновъ...

— А?.. Алексѣй?—отпирая дверь и, скрывая свое неудовольствіе, удивляется Сапуновъ,—входи, входи паря...

— Промочило всего скрозь,—отряхивая рваный картузъ, говоритъ вошедшій, — добрый вечеръ, Ѳаддей Андреичъ!..

— Какой ужъ вечеръ, у православныхъ

христьянъ энто время ночью зовется, слава Тебѣ, Господи!

— Прости, отецъ родной, безпокойствіе тебѣ причиняю... Я чичасъ, чичасъ ухожу!.. На минутку время забѣгъ... Не откажи у просьбѣ моей...

— Что, паря, небось, опять денегъ?..

— Самый пустякъ, отецъ!

— Да кой чортъ я те отецъ дался, прости, Господи!.. Самъ ты мнѣ въ дѣды годишься!.. Не дамъ я тебѣ ничего, потому нѣтъ у меня сейчасъ гроша ломаннаго; всѣ роздалъ по рукамъ, самъ безъ копейки сижу.

— Ѳаддей Андреичъ, одинъ цѣлковенькій... будь благодѣтель, вызволи!.. Рабенокъ махонькій помираетъ... усе канхфетину проситъ... жалко смотрѣть на яго... какъ не потѣшить душу андельскую на прощанье... хоть одинъ разъ въ жисти передъ смертью самою побаловать бы рабенка... Помоги, благодѣтель, Христа ради!

— Ахъ, ты, Господи! да вѣдь сказываю жъ тебѣ—нѣтути!

— Отецъ!.. благодѣтель... вызволи, — продолжалъ свое Паруновъ.

— Вотъ несчастье-то!.. Что-жъ тебѣ божиться, что ли прикажешь? Али я безсердечный какой?... Слава Тебѣ, Господи, у самого тринадцать человѣкъ дѣтей было; понимаю, что значитъ дѣтище свое хоронить, потому какъ Отецъ Небесный и мнѣ въ свое время испытаніе послалъ—семерыхъ взялъ къ Себѣ,

помяни ихъ, Господи, во царствіи Твоемъ!— истово крестится Сапуновъ, мигая полными слезъ глазами.

— Вызволи, благодѣтель... всѣ разомъ отдамъ... видитъ Богъ, копеечки за мной не останется... Ради рабеночка махонькаго... за твою душу благочестивую закажу младенцу Бога молить... вызволи, Ѳаддей Андреичъ... Въ аккуратъ за мной пять цѣлковыхъ будетъ, рупь антиреса за мѣсяцъ, и счетъ ровный у насъ пойдетъ...

— Да съ тебя все едино, что ровный, что не ровный, какъ не считай, ничего не получишь, однако... Знаю, братъ, тебя, ты только на посулы мастеръ!.. Да и нѣтъ у меня денегъ таперича...

— Ѳаддей Андреичъ!..

— Господи, да вѣдь сказываютъ же тебѣ нѣту-ти!.. Али ужъ я такой кровопивецъ, что и сердца во мнѣ не осталось для жалости?.. Эхъ, Алексѣй, Алексѣй! грѣхъ тебѣ,—заставляешь ты меня божьбу приносить... Ну вотъ те икона святая, не дождаться мнѣ солнышка краснаго, разрази меня Господь на маковыя зернышки, коли ежели у меня хоть копейка имѣется...

— Не божись, Андреичъ... вѣрю, вѣрю словамъ твоимъ... Только убилъ ты меня... Много на тебя я расчета имѣлъ... Мнѣ бы хоть и не чичасъ,—утрось завтра... Чичасъ-то все единственно лавки заперты,—ничего не купить, а по утру, какъ проснется мой Васютка, я бы

ему и сунулъ въ рученку пряникъ какой али канхфетину... И въ лихоманкѣ-то про ихъ все намъ съ маткой сказываетъ... Какъ, Ѳаддей Андреичъ, разсчитываешь, по утру-то можно надѣяться отъ тебя рупь получить?..

— По утру?—задумчиво переспрашиваетъ Сапуновъ, какъ бы что-то соображая,—вотъ что я скажу тебѣ, утрось заходи, можетъ что и устрою, коли ежели перехвачу самъ гдѣ-нибудь, а въ крайности придется, паря, до этого время завтраго вечера ждать, а то и на часокъ попозже, потому какъ завтра мои господа на поселокъ собираются погулять вечеркомъ (къ этой стервѣ все ѣздятъ въ Соловьевку—къ Сонькѣ Монашкиной, прости, Господи!) Такъ вотъ я такой расчетъ держу, что тамъ я долженъ получить съ Митина три цѣлковыхъ, давно у меня взялъ онъ ихъ... такъ коли ежели получу, такъ вотъ тебѣ хрестъ святой, два цѣлковыхъ даже дамъ тебѣ... и не по двадцать копеекъ антиреса съ тебя возьму, какъ съ другихъ прочихъ, а по пятнадцать за кажинный мѣсяцъ съ рубля...

— Эхъ, кабы утрось, много бы выручилъ... А, нѣтъ, такъ до вечера обождать придется. Ну, спасибо на словѣ ласковомъ..! Добрый ты человѣкъ, Андреичъ! Дай, Господи, тебѣ здоровья... побѣгу домой... Покойной ночи!..

— И тебѣ также, паря; заходи утрось безпремѣнно, можетъ и утрось выйдетъ что...

— Ладно, ладно, благодѣтель, спасибо тебѣ за доброту твою ко мнѣ,—уже изъ сѣней от-

вѣчаетъ Паруновъ закрывающему за нимъ двери Ѳаддею, и, вдругъ, словно вспомнивъ что-то очень важное, поспѣшно окликаетъ его:

— Дядя Ѳаддей, а дядя Ѳаддей!..

— Что, паря?

— Помолись за мово сынишку... за младенца Василія... Твоя-то молитва поугоднѣе Господу будетъ, чѣмъ наша грѣшная... Забылъ насъ видно Богъ, псовъ смердящихъ, за наше нерадѣніе къ церкви святой, а ты кажинный праздничекъ на колѣнкахъ, сказываютъ, молишься Творцу Небесному... Помолись, благочестивый человѣкъ, за здравіе младенца Василія...

Ѳаддей не видитъ Парунова, но въ голосѣ его онъ ясно слышитъ слезы и на минуту ему становится жаль этого несчастнаго мужика.

— Ладно, ладно, Алексѣй, помолюсь,— отвѣчаетъ онъ, — ты и самъ молись, не убивайся шибко... иди съ Богомъ!.. Завтра увидимся!

И съ этими словами онъ снова запираетъ дверь, беретъ табуретъ, подвигаетъ его къ столу, стоящему у окна, и садится.

— Не засыпался ли ужъ и впрямь Иванъ,— приходитъ ему опять въ голову, — коли въ двѣнадцать не будетъ, стало-быть, ужъ добра нельзя ждать сегодня съ одѣялами: да и завтрашнее-то дѣло отложить, поди, тоже надолго придется... Эхъ, кабы завтра удалось... сотни двѣ рублей на мою долю пришлось бы.

И Сапуновъ глубоко задумывается.

— А рисковое дѣло все же,—соображаетъ онъ, — такъ нельзя его съ маху дѣлать, потому ежели засыпешься съ этими молодцами, такъ ужъ какъ ни крутись тогда, — не вывернешься, а упущать доходъ эстакій тоже не модель, потому какъ такой фартъ рѣдко самъ человѣку по нонѣшнимъ временамъ въ руки дается... Гдѣ, да когда еще такихъ дураковъ, какъ эти японцы найдешь?.. Это-то все Ванька важнецки придумалъ, чтобы тамъ собакъ отравить для вида, да подпилить ставню, да раму, да всякую подобную чепуху надѣлать. А вотъ какъ я-то крутиться здѣсь буду... Ты, скажутъ мнѣ, сторожемъ у насъ ночнымъ... Съ меня и спросится все, знамо дѣло... А то еще и прямо въ отвѣтъ въѣдешь, зачнутъ во мнѣ сумлѣваться, да и только, вотъ и откручивайся тогда... нѣтъ, энто дѣло рисковое, такъ его не можно никакъ съ маху дѣлать,— еще разъ приходитъ онъ къ заключенію.— Здѣсь такое колѣнце отмочить надоть, чтобы съ его хформенно въ носу защекотало... Такъ все обладить, чтобы съ обѣихъ сторонъ благодарность заслужить и съ Ванюхи за помочь въ аферѣ, и съ господъ за усердіе свое постоянное... Только какъ же бы это оборудовать поточнѣе? — задумывается Сапуновъ, — трудная больно политика выходитъ, никакъ не потрафить подъ эфтотъ плантъ.

Долго думаетъ Сапуновъ надъ этой неразрѣшимой задачей и, наконецъ, уже теряя всякую надежду придумать здѣсь что-нибудь,

собирается, сидя за столомъ, малость вздремнуть до прихода Ивана, но вдругъ его осѣняетъ блестящая мысль и все лицо его озаряетъ счастливая улыбка, а еще немного погодя онъ уже не можетъ сдерживаться и шипитъ, и фыркаетъ, и хихикаетъ на всю кухню.

Но въ это время кто-то подходитъ со двора къ окну и слегка стучитъ въ стекло. Ѳаддей приходитъ въ себя и радостно направляется къ выходнымъ дверямъ.

— Кто здѣсь?—спрашиваетъ онъ.

— Отпирай, Ѳаддей.

— Ты, Иванъ?

— А то кто же замѣсто меня? чортъ, что ли?

Ѳаддей отворяетъ дверь и пропускаетъ въ кухню одѣтаго въ рубище босоногаго бродягу.

— Ну, какъ дѣла?—шопотомъ спрашиваетъ Ѳаддей.

— Жрать хочется, ничего во рту цѣлый день не было... Водка есть?—въ свою очередь спрашиваетъ бродяга.

— Есть, все приготовилъ; сейчасъ подамъ.

Ѳаддей суетится у печки, доставая изъ духовки чугунокъ съ какимъ-то варевомъ, а бродяга садится между тѣмъ къ столу и, вынимая изъ-за пазухи небольшой свертокъ газетной бумаги, со злостью кидаетъ его передъ собой.

— Пятнадцать цѣлковыхъ за всѣ семь одѣялъ получилъ; какъ хошь, такъ и считай,—говоритъ онъ.

— Ну, братъ, это ужъ очинно безбожно... больно дешево,—робко замѣчаетъ Ѳаддей.

— Дешево?! Продавалъ бы самъ дороже, когда такъ.!. ты что думаешь, люди-то всѣ дураки, что ли, не знаютъ какой товаръ у меня? Такъ и дадутъ мнѣ половину противъ магазина? Поди-ка, продай!.. Нѣтъ, мой анделъ, коли даютъ четвертакъ за цѣлковый, такъ и хватай деньги зубами; потому, какъ товаръ-то краденый, самъ знаешь, кажному покупать съ опаской приходится, неровенъ часъ и отобрать могутъ... Дешево!.. С...чь ты безмозглая, вотъ что я тебѣ скажу...

— Ну, полно, Иванъ, ужъ и осерчалъ,— подавая на столъ бутылку водки, краюху хлѣба и чугунокъ съ мясомъ и кашей, говоритъ Ѳаддей,—понавались-ка на чугунокъ, а водочки и я съ тобой одну баночку выпью.

И оба они принимаются пить и закусывать.

— Какъ твои макаки, одѣялъ не хватились пока?

— Нѣтъ, слава Богу.

— Очинно хорошо; завтра, значитъ, орудуемъ?

— Бизпремѣнно.

— Ладно. Купецъ ужъ есть; съ Хомутовки Степанъ Рыжій все забираетъ; завтра же объ эту пору деньги дѣлить будемъ...

— Эхъ, Иванъ, никогда не говори такъ!.. Если Господь Богъ поможетъ, такъ и раздѣлимъ, а то...

— А то и одинъ я воспользуюсь, — хохочетъ, перебивая Ѳаддея, Иванъ.

— Ну что жъ, пользовайся, коли у тебя ни чести, ни стыда, ни совѣсти нѣтъ... А моя душа чесноку не ѣдала, мнѣ чужая копеечка не нужна; пусть моя лучше пропадаетъ прахомъ, чѣмъ я твоей воспользуюсь... „Не обмѣрь“, говорилъ мой покойный батюшка, „не обвѣсь и чужого не возьми!“.. Коротко училъ, а съ разумомъ большимъ, дай Богъ ему царствія небеснаго!.. И пока, что дальше будетъ—не знаю, крѣпко держусь я, честь мнѣ и слава, отцовской науки. Нѣтъ, братъ, Иванъ, и не шути такъ никогда, потому, это...

— Ну ладно, ты, братъ, эти панахиды кому другому читай, а вотъ что скажи—для собакъ у тебя пометы[1]) припасены?..

— Есть.

— Ставня у того окна подпилена, про которое мы условились?

— Подпилена.

— Алмазъ, бумага и деготь есть?

— Все есть.

— Ну, ладно. Такъ завтра въ энто время орудуемъ... Я буду ждать пока ты не свистнешь мнѣ, а какъ только свистнешь, такъ ужъ буду знать, что макаки твои безхвостыя спятъ и что можно безъ опаски во дворъ входить... Ты мнѣ самъ и товаръ подсоби снести

---

[1]) Пометы—стрихнинъ, закатанный въ сало для отравленія животныхъ при охотѣ, напримѣръ, лисицъ.

за ворота,—прямо въ телѣгу нагружать будемъ... Я еще съ собой работника прихвачу въ помочь, чтобы дѣло хотчѣе шло... собакъ ты самъ безпремѣнно отрави передъ тѣмъ, какъ свистокъ дать. Ну, больше ничего, кажись, и сказывать тебѣ... А теперь, братъ, усталъ я здорово, пойду соснуть малость въ свой балаганъ... Да, давай-ка мнѣ, чуть было не забылъ, семь съ полтиной мои изъ энтихъ денегъ...

Скрѣпя сердце, Ѳаддей отдаетъ семь рублей, а полтинникъ обѣщаетъ додать завтра. Нѣсколько минутъ еще оба, молча, сидятъ на кухнѣ, но, наконецъ, Иванъ встаетъ, подаетъ Ѳаддею руку и, пожелавъ покойной ночи, уходитъ, а Сапуновъ запираетъ за нимъ дверь, тушитъ лампу и безмятежно засыпаетъ на своей мягкой кровати.

На слѣдующій день, проснувшись рано утромъ, Ѳаддей старательнѣе чѣмъ когда-нибудь вычистилъ господскую долгушку [1]), а потомъ, задавъ коню корма, отправился самъ пить чай на кухню: но чай на этотъ разъ какъ-то останавливался у него въ горлѣ и онъ то и дѣло давился то хлѣбомъ, то сахаромъ.

Видя, что чаепитіе ему не удается, онъ рѣшилъ его оставить на время и пошелъ къ старику Лукьянову, у котораго постоянно

---

[1]) Долгушка—экипажъ.

беретъ сѣно. Онъ заказалъ старику доставить два воза „для господина Пигая“ и при этомъ особенно упиралъ на то, что „его баринъ любитъ сѣно хорошее, и все“...

Лукьяновъ былъ сильно удивленъ, слыша такія слова отъ Ѳаддея, такъ какъ обыкновенно Ѳаддей не особенно-то уважалъ своихъ господъ за глаза. Принявъ похвалу Ѳаддея своему господину за утонченную злую шутку, онъ поспѣшилъ во всю глотку расхохотаться въ отвѣтъ на его слова, но Ѳаддей совершенно неожиданно для старика „не только изобидѣлся, но и осерчалъ будто даже; ажъ припугнулъ, что у кого другого сѣно куплять станетъ“.

Долго думалъ старикъ Лукьяновъ, по уходѣ Ѳаддея, объ этомъ происшествіи, силясь разгадать его значеніе, но въ концѣ концовъ плюнулъ и рѣшилъ, что „видно на Ѳаддея полоса такая нашла—не иначе“.

Между тѣмъ, придя домой и отъ волненія не находя себѣ мѣста, Ѳаддей, словно въ воду опущенный, бродитъ изъ угла въ уголъ. Совершенно неожиданно для самого себя онъ попадаетъ вдругъ въ ледникъ, потомъ на сѣновалъ, съ сѣновала за ворота, а оттуда въ кухню. Въ кухнѣ его встрѣчаетъ Парунов; Ѳаддей видитъ, что глаза у Парунова заплаканы и, повидимому, желая его утѣшить, говоритъ ему:

— Приходи, добрый человѣкъ, сегодня ночью, такъ часу въ первомъ, я ужъ помогу тебѣ, какъ отцу родному!

Паруновъ благодаритъ Ѳаддея, оглядывается кругомъ и, видя, что въ кухнѣ никого нѣтъ, говоритъ ему:

— Берите, Ѳаддей Андреичъ и съ меня, какъ со всѣхъ другихъ, прочихъ, двадцать копеечекъ съ рубля за мѣсяцъ, чтобы вамъ не обидно было черезъ меня... Къ чему убытокъ терпѣть зря?..

Но Ѳаддей даже и слушать не хочетъ этого.

— Мой отецъ покойный, царствіе ему небесное,—горячо возражаетъ онъ,—наставлялъ меня такъ уму разуму: „не обмѣрь, не обвѣсь, чужого не возьми, а главное помогай бѣднымъ“, и держусь я крѣпко, честь мнѣ и слава, ученія своего батюшки... Нуждаешься въ деньгахъ, приходи ко мнѣ сегодня ночью, раньше у меня не будетъ, потому какъ съ господами раньше перваго часа ночи съ С...вки не вернуться и позже тоже не застанешь, поди-ка спать буду... Могу вызволить тебя рубля на два, ужъ такъ и быть... разбогатѣешь — отдашь, не разбогатѣешь не надо... хошь такъ—приходи, бери деньги, не хошь не надо!.. Только уговоръ денегъ дороже, никому объ эфтомъ не сказывай, потому какъ не охота мнѣ, чтобы о моей благодѣтели говоръ пошелъ... Понялъ, паря?

Паруновъ клянется, что онъ никому не скажетъ этого, и что „бизпремѣнно“ около часу ночи будетъ здѣсь и, весь сіяя отъ радости, торопливо уходитъ.

Тогда Ѳаддей проходитъ въ комнату Ануфрія Петровича и останавливается въ дверяхъ.

— Согрѣшилъ я передъ вами, Ануфрій Петровичъ, не во гнѣвъ вашей милости,— говоритъ онъ,—прошлый-то мѣсяцъ рубль съ сѣна сдачи оставался у меня, вы такъ и не спросили его, а я-то самъ то же запамятовалъ... Хорошо, что сейчасъ вспомнилъ... получите, баринъ, красное солнышко мое!.. А потомъ, что хочу спросить я васъ, вы никуда не поѣдете сегодня?

— Никуда.

— Такъ не будетъ ли милость ваша, не дозволите ли мнѣ полежать сегодня на койкѣ, потому какъ ужъ очинно плохо мнѣ, всего разломило...

— Мозьно, мозьно, Фаддей,—лопочетъ Пигай, озабоченно глядя на него,—тебѣ докторъ помогаити менежко надо есть?

— Нѣтъ, Ануфрій Петровичъ, не нужно доктора,—тревожно говоритъ Ѳаддей,—само пройдетъ,—и снова уходитъ въ кухню.

Всѣ японцы въ восторгѣ отъ честности Ѳаддея, вернувшаго даже черезъ мѣсяцъ своимъ хозяевамъ забытый ими рубль. А Ѳаддей только въ бороду себѣ ухмыляется и думаетъ, притворяясь больнымъ: „я съ васъ, дураковъ, на свой рупь кровный—двѣсти заработаю!“

На дворѣ стало уже совсѣмъ темно, и Ануфрій Петровичъ приказалъ закрывать лавочку.

Ѳаддей, что есть мочи охая, поднялся съ кровати, заперъ двери ея и заложилъ ставни. Потомъ онъ взялъ трещетку, постукивая въ нее, прошелся по двору и, наконецъ, снова вернулся въ кухню и легъ на кровать, прислушиваясь къ малѣйшему шороху и звуку голосовъ, доносящихся изъ комнаты господъ.

Мало-по-малу у нихъ все затихло.

Ѳаддей беззвучно открылъ дверь въ комнаты и, босикомъ подойдя къ дверямъ Ануфрія Петровича, приложилъ правый глазъ къ замочной скважинѣ; онъ ничего не увидѣлъ тамъ, потому что огонь у барина былъ потушенъ, Ѳаддей прислушался и различилъ легкій храпъ; „спитъ, стало-быть“, подумалъ онъ и осторожно сталъ пробираться обратно въ кухню. Опять также беззвучно закрылъ онъ за собой дверь въ комнаты и, поспѣшно одѣвъ сапоги, взялъ съ верхней полки изъ уголка бумажку съ пометами и вышелъ на дворъ.

Ночь была темная. Все небо заволокло тучами. Въ двухъ шагахъ не было ничего видно. Съ моря нельзя сказать, чтобы дулъ вѣтеръ, а такъ немного холодкомъ тянуло.

Ѳаддей подошелъ къ собакамъ и сунулъ имъ поочередно подъ морды по одному помету; тѣ, глотая ихъ, моментально замертво попадали на землю.

Совершенно спокойно вышелъ тогда Ѳаддей на середину двора и протяжно засвистѣлъ; въ отвѣтъ на его сигналъ съ лѣвой стороны отъ него какъ будто кто-то перепрыгнулъ черезъ заборъ, и Ѳаддей услыхалъ шаги двухъ приближающихся людей.

— Ты, Иванъ?—спросилъ онъ вполголоса.

— Я.

— Ну, орудуй проворнѣй, потому какъ гостя еще одного сейчасъ ожидаю сюда... Какъ бы не помѣшалъ намъ... кладь, во!.. Часть здѣсь,—указалъ Ѳаддей на два тюка, спрятанные подъ лѣстницей, ведущей въ кухню,—давно припасены, а часть скрозь окно выволочимъ... Ну, ай-да!.. проворнѣй!..

И шесть здоровыхъ рукъ стали поворачивать тюки, перенося ихъ за ворота къ телѣгѣ. Когда два тюка были уже уложены въ повозку, то всѣ направились къ окну и общими усиліями вынули безъ шума изъ него сначала ставни, потомъ и раму.

Иванъ пролѣзъ въ окно и передалъ своему товарищу тюки, на которые указывалъ ему Ѳаддей и, такимъ образомъ, въ нѣсколько минутъ самыя цѣнныя вещи изъ лавки были вынесены на дворъ, а потомъ сложены и въ телѣгу.

— Ну, Иванъ, мотри не проклаждайся! Какъ бы не застали здѣсь съ поклажей!.. Трогай помаленьку...

Иванъ сѣлъ съ товарищемъ на тюки, тро-

нулъ вожжей и телѣга съ легкимъ стукомъ покатилась впередъ.

— Помоги тебѣ, Господи, — напутствуетъ крестнымъ знаменемъ Ѳаддей, скрывшагося въ темнотѣ ночи Ивана.

— Слава Тебѣ, Боже, что дѣльце тишкомъ, да ладкомъ обладили,—думаетъ онъ, тревожно слушая замирающій топотъ лошадей и едва различимый стукъ колесъ.

— Слава Тебѣ, Боже, слава Тебѣ!

И Ѳаддей снимаетъ свой помятый съ громаднымъ козырькомъ картузъ и съ чувствомъ крестится, возводя очи къ темному небу, покрытому черными клубами облаковъ.

Еще нѣсколько мгновеній и вокругъ все стихаетъ.

На душѣ у Ѳаддея становится свѣтло, хорошо. Онъ жадно вдыхаетъ въ себя полной грудью свѣжій ночной воздухъ и думаетъ: „Господи, какая благодать-то кругомъ!“

А съ моря попрежнему тянетъ холодкомъ, и попрежнему такъ темно вокругъ, что зги не видать. Всюду царитъ мертвая тишина, только и слышно, какъ прожужжитъ на лету ночной жукъ или, чуть шевелясь, охваченные дремотой, зашелестятъ — зашепчутся едва слышно подъ лаской ночной прохлады листья деревьевъ.

Но вотъ справа отъ Ѳаддея раздались глухіе шаги; Ѳаддей насторожился и въ груди его учащенно забилось сердце, а шаги все ближе и ближе и вотъ уже почти рядомъ съ

нимъ. Ѳаддей, улыбаясь, учащенно забилъ въ трещетку и вдругъ остановился.

— Кого несетъ нелегкая? Тебѣ чего здѣсь надо?—тревожно спрашиваетъ онъ.

— Я, я это, Ѳаддей Андреичъ... Приттить за деньгами объ эту пору сказывали мнѣ...

— Ты, Ликсѣй?—притворяясь, что все еще не узнаетъ голоса, спрашиваетъ Ѳаддей.

— Я самый, Ѳаддей Андреичъ, Ликсѣй Паруновъ.

— Ахъ ты, Господи, грѣхъ какой... Запямятовалъ совсѣмъ про тебя, деньги не припасъ въ карманѣ... Ну, погоди малость... вотъ здѣсь постой у окошечка... я чичасъ къ тебѣ съ деньгами приду, — говоритъ Ѳаддей, поспѣшно идя къ крыльцу кухни.

Паруновъ останавливается; сердце въ груди его радостно бьется, и на губахъ играетъ счастливая улыбка.

— Слава Богу, — думаетъ онъ,—нашелся добрый человѣкъ, дай, Богъ, ему здоровья!

Но въ этотъ моментъ происходитъ что-то совершенно для него непонятное: кто-то крѣпко хватаетъ его за шиворотъ, невдалекѣ отъ него открывается дверца потайного фонаря, высоко поднятаго въ рукѣ какого-то человѣка, кругомъ народъ, крикъ, шумъ... Онъ старается освободиться отъ охватившихъ его сзади чьихъ-то рукъ, онъ хочетъ бѣжать, но всѣ кидаются на него, сваливаютъ его на землю и начинаютъ бить. Онъ молитъ о пощадѣ, кричитъ:—„за что? за что?“ но отвѣ-

томъ на вопли служатъ ему тяжеловѣсные удары, градомъ падающіе со всѣхъ сторонъ и на его голову, и на лицо, и на грудь. Кругомъ него не люди, а звѣри, готовые растерзать его.

Паруновъ хочетъ крикнуть на помощь Ѳаддея, но въ это время въ его ушахъ раздается хриплый тенорокъ Сапунова:

— Ахъ мошенники!.. грабители!.. Ушли, не во гнѣвъ вашей милости... ушли двое, баринъ мой, красное солнышко!.. Что же мы будемъ дѣлать теперь?.. Разорили, ограбили... Пресвятая Царица Небесная!

Людоѣдъ.

По коридору, отпирая дверныя окошечки камерныхъ арестантовъ и заглядывая въ нихъ, проходилъ, постукивая каблуками тяжоловѣсныхъ сапогъ, дежурный по ссыльно-которжной О...ской тюрьмѣ надзиратель Убиваловъ. Въ рукѣ у него громадная связка ключей отъ замковъ камерныхъ дверей.

Убиваловъ знаетъ, что арестанты его ненавидятъ и потому каждую минуту своей жизни между ними онъ—на чеку; но когда онъ входитъ въ коридоръ камерныхъ кандальныхъ, то каждый разъ отстегиваетъ еще на всякій случай и язычекъ кабура—чтобы только руку протянуть къ револьверу и „разомъ стрѣлять ужъ, коли ежели что“.....

Онъ особенно не любитъ камеру № 11-й.

Каждый разъ, какъ онъ заглядываетъ въ ея окошечко, въ него впиваются съ невыразимой злобой глаза ссыльно-каторжнаго Сталова. Лицо Сталова становится при этомъ совершенно, какъ у сатаны, громадныя ручищи его конвульсивно сжимаются въ кулаки, и изъ груди вырываются страшныя проклятія и площадная ругань.

Убиваловъ увѣренъ, что будь у Сталова какое-нибудь оружіе онъ непремѣнно „рѣшилъ бы его жизни“. Ужъ сколько разъ около самой головы Убивалова пролеталъ окаменѣлый кусокъ скатаннаго зачерствѣвшаго чернаго хлѣба, направляемый изъ дверного окошечка рукою Сталова...

Сталовъ нарочно не доѣдаетъ своего хлѣба, чтобы скатать изъ него шаръ и черезъ три-четыре дня, когда онъ зачерствѣетъ, бросить этимъ шаромъ изо всей силы въ ненавистную для него „морду“ надзирателя Убивалова,— такъ бросить, чтобъ у него „лобъ раскололся!“

И Сталовъ не разъ кидалъ свои „бомбы“ въ дверное окошечко, но до сихъ поръ ему еще ни разу не удалось попасть въ завѣтную мишень.

Убиваловъ дьявольски остороженъ и хитеръ, онъ никогда не заглядываетъ въ окошечко Сталова тотчасъ, открывши его; онъ всегда обманываетъ своего врага: откроетъ окошко, потопчется-потопчется около дверей, сдѣлаетъ видъ, что отходитъ уже прочь, не закрывъ окошечка по забывчивости, да вдругъ и взглянетъ въ камеру неожиданно; а то сначала шапку свою къ окошку поднесетъ, а потомъ ужъ и самъ поглядитъ, или сдѣлаетъ сперва только маленькую щелку, высмотритъ чрезъ нее Сталова, а потомъ ужъ откроетъ совсѣмъ, или и этимъ только удовольствуется, смотря по „обстоятельствіямъ“.

Къ этому пріучили его сталовскія „бомбы“.

Благодаря счастливой случайности, онъ избѣжалъ удара первой бомбы; ему показалось, что его кто-то окликнулъ въ коридорѣ, когда онъ собирался уже заглянуть въ окошко Сталова, онъ повернулся назадъ, невольно отведя голову отъ окошка и... въ секунду услышалъ тяжелый ударъ камня по стѣнѣ, вслѣдъ за которымъ со стѣнки на него посыпались мелкіе острые камешки; камень разбился.

Убиваловъ растеряно обернулъ голову къ открытому окошку камеры № 11 и по его спинѣ пробѣжалъ морозъ. Онъ уже четвертую „пятилѣтку“ выслуживаетъ на Сахалинѣ; много видалъ на своемъ вѣку всевозможныхъ душегубовъ съ самыми звѣрскими рожами, но такой сатанинской „хари“, какая была въ этотъ моментъ у Сталова, онъ еще отродясь и во снѣ не видывалъ.

— Промахнулся, язви твою душу! — простоналъ тотъ, сжимая кулаки,—ну, ладно, другой разъ ухлопаю!...

И раскатился такимъ хохотомъ, что даже стѣны дрогнули.

Убиваловъ поспѣшно захлопнулъ окно, заперъ его на задвижку и сталъ подбирать съ пола разбившійся камень, и тутъ только увидалъ, что это—не камень, а хлѣбъ, но онъ все-таки собралъ его себѣ въ карманъ и, обойдя всѣ камеры, отправился доложить о происшествіи начальнику тюрьмы.

На слѣдующій день Сталову вкатили тридцать горячихъ.

Но это не помогло; черезъ четыре дня мимо Убивалова, когда онъ заглянулъ въ окошко Сталова, опять летѣла „бомба“.

Сталова опять пороли, и опять безплодно... Онъ не исправлялся, какъ его ни наказывали. Его и въ карцеръ сажали и „не давали жрать“ и къ „кобылѣ примѣряли“, ничего не помогало.

Въ концѣ концовъ начальнику тюрмы надоѣло выслушивать жалобы Убивалова и онъ послалъ его къ чорту.

— Убирайся ты ко всѣмъ чертямъ отъ меня!.. Какой ты къ шуту надзиратель, если со своими арестантами справиться не можешь!.. Баба ты толстопузая, а не надзиратель послѣ этого!.. Онъ въ тебя бросилъ черствымъ хлѣбомъ, а ты открой дверь только въ камеру, да потолкуй съ нимъ хорошенечко, вотъ и будетъ тебя уважать... Э-эхъ, соображенія не хватаетъ!

Начальникъ тюрьмы даже въ сторону сплюнулъ при этомъ.

Онъ помолчалъ нѣсколько минутъ, словно что-то обдумывая, а потомъ вдругъ, нервно отмахиваясь рукой, раздраженно прибавилъ:

— Нѣтъ, братъ, ты ко мнѣ съ этими пустяками и не приставай больше!

И Убиваловъ къ нему не приставалъ уже съ тѣхъ поръ.

Какъ-то разъ, послѣ объясненія съ начальникомъ тюрьмы, когда Сталовъ снова метнулъ въ него громадную „бомбищу“ Убивалову пришло въ голову, дѣйствительно, вос-

пользоваться даннымъ ему совѣтомъ—потолковать со Сталовымъ „хорошенечко“—и онъ сгоряча, захлопнувъ окошко и, заперевъ его на задвижку, торопливо отыскалъ въ связкѣ ключей ключъ отъ его камеры и, вложивъ его въ замокъ, уже повернулъ одинъ разъ и собирался повернуть второй, но... не рѣшился. Онъ почувствовалъ, что за дверью, прижавшись къ ней вплотную, стоитъ наготовѣ его страшный врагъ; онъ услышалъ его тяжелое дыханье, словно около него кто-нибудь работалъ кузнечными мѣхами, и понялъ, что едва онъ вынетъ замокъ изъ кольца засова, какъ тяжелая дверь распахнется, и не успѣетъ онъ взвести курка револьвера, какъ уже будетъ убитъ... Онъ побоялся отпереть замокъ и снова его заперъ и вынулъ ключъ. Тогда за дверью раздались срашныя ругательства, и арестантъ съ такой силой ударилъ въ нее кулакомъ, что даже тяжелый замокъ не ней, на подобіе тѣхъ, которыми запираютъ крѣпостныя ворота, подпрыгнулъ.

— Не дай Богъ, что за силища у этого негодяя!—сконфуженно подумалъ тогда Убиваловъ, покосившись на дверь, и отошелъ къ слѣдующему номеру.

Въ № 12-мъ сидѣлъ смиренный арестантъ—Лужинъ. Это былъ блѣдный, средняго сложенія блондинъ, лѣтъ тридцати, сосланный на каторгу за отцеубійство.

Убиваловъ всегда его какъ-то жалѣлъ, въ его лицѣ было что-то страдальческое. Онъ

всегда мѣнялся съ этимъ арестантомъ ласковымъ словомъ.

На этотъ разъ, открывъ окошко въ его камеру, Убиваловъ зло посмотрѣлъ на Лужина и вдругъ прошипѣлъ:

— Отцеубіца!.. Богомъ проклятый, отцеубійца!

И снова захлопнулъ окно, закрывъ его на задвижку.

Ему хотѣлось сорвать на комъ-нибудь свое зло и онъ сказалъ это смирному арестанту, надѣясь, что тотъ не стерпитъ обиды и отвѣтитъ ему руганью.

— Ужъ и надыграюсь-же я надъ нимъ сейчасъ,—думалъ Убиваловъ, отыскивая въ связкѣ ключъ отъ камеры № 12, — ужъ отведу на немъ свою душу!

Въ ожиданіи отвѣта онъ затаилъ дыханіе и прислушался; но отвѣта не послѣдовало.

Черезъ двери, приложивъ къ нимъ ухо, онъ услыхалъ тяжелыя, подавленныя рыданія. Арестантъ плакалъ, стараясь не выдать себя, не обнаружить передъ тюремщикомъ своихъ слезъ.

Убиваловъ послушалъ съ минуту и, облегченно вздохнувъ, съ легкимъ сердцемъ пошелъ къ слѣдующей камерѣ.

Зло было сорвано.

Въ камерѣ № 13 сидѣлъ звѣроподобный арестантъ съ черной всклокоченной бородой — Носовъ. Это былъ тоже человѣкъ средняго сложенія и тоже блѣднолицый; вся его осо-

бенность заключалась въ томъ, что въ теченіе двухлѣтняго пребыванія своего въ одиночной камерѣ, онъ ни съ кѣмъ не обмолвился словомъ, словно былъ глухонѣмымъ. На всѣ вопросы, отъ кого бы они не исходили, онъ отвѣчалъ всегда только мычаніемъ.

Его бы, пожалуй, и считали глухонѣмымъ, если бы онъ не пѣлъ каждый день пѣсню, должно-быть, своего собственнаго сочиненія; пѣсня эта заключалась въ безконечномъ повтореніи слѣдующихъ двухъ строкъ:

„Ой-ли-ли, ой-ли-ли!
„Наварили, напекли!“

Убиваловъ заглянулъ и къ нему въ окошечко и тоже какъ-то обругалъ его.

Носовъ посмотрѣлъ на него исподлобья и замычалъ.

Убиваловъ опять обругался, захлопнулъ окошко и пошелъ къ слѣдующимъ камерамъ. Осмотрѣвъ ихъ всѣ до послѣдней, какъ полагается по инструкціи, онъ, наконецъ, вышелъ изъ коридора и закрылъ за собою дверь.

Сегодня Убиваловъ въ прекрасномъ настроеніи духа; онъ получилъ, наконецъ, прибавку къ жалованью за выслуженную уже около мѣсяца назадъ четвертую „пятилѣтку“; объ этомъ отдано въ приказѣ и объявлено ему начальникомъ тюрьмы. Да помимо денежной

награды, онъ получилъ еще и золотую медаль за безпорочную службу.

— Таперича, какъ изукрашусь во всѣ медали свои, такъ что твой енералъ буду, — думаетъ Убиваловъ, блаженно улыбаясь и слѣдуя по коридору отъ окошка одной камеры къ другой.

Наконецъ, онъ подходитъ къ камерѣ № 11.

— Эхъ, сатана проклятая, долго-ль мнѣ съ тобой еще мучиться? — думаетъ Убиваловъ, неслышно отпирая задвижку окошка, — хоша бы перевели ирода окаяннаго въ какую другую тюрьму!

Онъ разомъ открылъ окошко и присѣлъ у двери на корточки.

— Ишь, анаѳема, выжидаетъ, когда подыму къ окну голову, не запаливаетъ, дьяволъ, — думаетъ онъ и, сдѣлавъ на колѣнкахъ ползкомъ шага полтора отъ двери вдоль стѣнки, снова встаетъ на ноги и тихо, словно кошка, подкрадывается къ открытому окну, потомъ снимаетъ съ себя шапку, беретъ ее за самый кончикъ козырька и, подведя подъ низъ окошка, подымаетъ вверхъ.

— Ну, сейчасъ запалитъ, — думаетъ онъ.

Но Сталовъ, не палитъ.

— Что за чортъ! — удивляется Убиваловъ, — нѣтъ, видно его сегодня не проведешь. Эдакимъ манеромъ, ждетъ, когда ему морду высуну... Шалишь, братъ!.. Сейчасъ окошко припру, да сквозь щель, все едино, высмотрю все, что полагается.

И, рѣшительно, надѣвъ на себя фуражку, быстрымъ движеніемъ руки онъ захлопываетъ снова окно.

— Дьяволъ, мучитель проклятый!—ругаетъ онъ Сталова про себя, — чтобъ тебя черти взяли!

И, наконецъ, обчистивъ запыленныя колѣнки шароваръ, берется дрожащей рукой за заслонку окошечка и чуть приподнимаетъ ее вверхъ. Образовавшаяся щель слишкомъ мала; при тускломъ освѣщеніи камеры керосиновой лампой въ ней и чрезъ вполнѣ открытое окошко изъ свѣтлаго коридора трудно сразу разглядѣть, что дѣлаетъ арестантъ, а чрезъ небольшую щелку сдѣлать это почти невозможно. Убиваловъ немного увеличиваетъ еще отверстіе и напрягаетъ все свое зрѣніе въ полумракъ камеры...

— Что за навожденіе!—вздрагиваетъ онъ всѣмъ тѣломъ,—гдѣ жъ онъ? Ужели-жъ убѣгъ?..

И объятый ужасомъ, что арестантъ бѣжалъ на его дежурствѣ, онъ забываетъ всѣ предосторожности и разомъ открываетъ окошко во всю ширь.

Картина, представившаяся его глазамъ, была для него такъ неожиданна, что онъ оторопѣлъ, и еще съ большимъ ужасомъ отскочилъ отъ двери назадъ.

Заслонка дверного окошка тяжело упала внизъ; она взвизгнула при этомъ по желѣзнымъ желобкамъ и рѣзко стукнула.

Глаза Убивалова были широко открыты.

Съ минуту лицо его не выражало никакой мысли; на немъ можно было прочитать только одинъ безпредѣльный ужасъ и больше ничего. Но это продолжалось только съ минуту.

Убиваловъ былъ опытный, видавшій виды надзиратель, и въ слѣдующую уже минуту онъ не только поборолъ свой страхъ, но даже обрадовался, хотя волненіе его все еще было сильно.

— Слава Тебѣ, Господи! Здѣсь! Давно бы такъ!—вдругъ зашепталъ онъ себѣ подъ носъ, и даже хихикнулъ при этомъ.

Потомъ снова широко открылъ дверное окошко и уже смѣло заглянулъ въ него.

Сталовъ висѣлъ напротивъ дверей камеры вдоль рамы наружнаго окна на грязной, скрученной жгутомъ, холщевой тряпкѣ отъ бѣлья.

Въ камерѣ были двойныя рамы, два верхнихъ стекла во внутренней рамѣ были выбиты, чрезъ нихъ и чрезъ рѣшетку между рамой былъ пропущенъ одинъ конецъ жгута, другой же конецъ его, который былъ на шеѣ у самоубійцы, не былъ виденъ — его закрывала широкая всклокоченная рыжая борода арестанта. Глаза его закатились и изо рта уже высовывался кончикъ языка, а странно согнутыя въ локтяхъ руки были плотно прижаты къ туловищу.

— Видно минуты двѣ, не болѣе, въ петлѣ виситъ,—подумалъ Убиваловъ,—коли ежели къ жисти ворочать его, такъ сдѣлать надо разомъ, а коли нѣтъ, такъ еще минутки двѣ

Сахалинскій палачъ.

строку дать и кончаться станетъ... Душа съ яго вонъ!..

Убиваловъ серьезно задумался, какъ поступить теперь: вынимать Сталова изъ петли или нѣтъ. Колебался онъ, однако, не долго.

— А, ну его!.. обождать лучше... пущай отходитъ грѣшная душа, а то опять, поди, свои бомбищи бросать зачнетъ... Надоѣлъ!.. Погожу маненечко покеда не похолодѣетъ, а тамъ и тревогу подниму. Такъ-то куды лучше будетъ!

И немного погодя, Убиваловъ сталъ отыскивать въ связкѣ ключей, позвякивая ими, ключъ отъ камеры № 11.

Руки его сильно дрожали, и онъ долго никакъ не могъ найти нужнаго ключа; когда же, наконецъ, отыскалъ его, то все никакъ не могъ попасть имъ въ замочную скважину.

Это, наконецъ, даже разсердило его.

Но вотъ дверь открыта.

Не зная самъ — зачѣмъ, Убиваловъ отворилъ ее настежъ, словно собирался бѣжать изъ камеры и обезпечивалъ себѣ заранѣе путь къ отступленію.

Онъ поймалъ себя на этомъ и хотѣлъ черезъ силу улыбнуться, но улыбка у него не вышла; ему сдѣлалось стыдно за себя передъ самимъ собой.

— Что за чортъ, — началъ онъ самъ себя успокаивать,—вѣдь мертвый же онъ... висѣльникъ и больше ничего!.. Неужто жъ я такъ

боюсь этого душегуба, что не подойду къ нему и опосля смерти евонной?..

Убиваловъ пересилилъ себя; молодецки покрутивъ усъ и неестественно громко кашлянувъ, чтобы подбодриться хотя бы своимъ собственнымъ голосомъ, онъ подошелъ, наконецъ, къ самому трупу Сталова, и, дрожа всѣмъ тѣломъ, дотронулся до его руки.

Рука самоубійцы была холодна, но еще не окоченѣла.

— Видно рано еще костенѣть-то ему,—подумалъ Убиваловъ,—поди часовъ черезъ пятокъ въ покойницкой начнетъ деревянѣть только, никакъ не раньше...

Онъ уже началъ успокаиваться понемногу и даже рѣшился, наконецъ, взглянуть покойнику въ лицо.

Отступилъ на шагъ и поднялъ голову кверху.

— И здоровъ же былъ, животина!—машинально прошепталъ онъ, глядя на громадную голову Сталова,—ишь ты, какъ бѣльмы-то ему выпучило...

Но что это?..

Зубы Убивалова такъ и застучали... Первый разъ за всю его службу съ нимъ сдѣлалось что-то странное: всего его трясло, какъ въ лихорадкѣ, онъ стоялъ на мѣстѣ и какъ-то неестественно дрыгалъ ногой, лицо его скривила судорога, ротъ широко открылся, точно онъ собирался кричать, а глаза вотъ-вотъ готовы были вылѣзть у него на лобъ.

Ему показалось, что Сталовъ усмѣхнулся ему изъ своей петли и подмигнулъ правымъ глазомъ.

Убиваловъ хотѣлъ бѣжать, но не могъ двинуться съ мѣста и все еще продолжалъ безпомощно дрыгать ногой.

И вдругъ, онъ явственно услыхалъ, какъ Сталовъ, дѣйствительно, захохоталъ подавленнымъ хриплымъ голосомъ, затѣмъ руки самоубійцы быстро разогнулись въ локтяхъ, трупъ колыхнулся и вдругъ грузно полетѣлъ на тюремщика...

— Съ нами крестная сила! — прошепталъ блѣдный, какъ полотно, Убиваловъ, стуча зубами, но тутъ взглядъ его упалъ на двѣ петли, качающіяся у окна и онъ понялъ, что Сталовъ живъ, что онъ висѣлъ... на локтяхъ.

— Ладно, братъ, не отбояришься!—захрипѣлъ въ отвѣтъ ему Сталовъ, хватая его за горло своими желѣзными ручищами.

Между ними завязалась отчаянная борьба.

Оба были сильны и ловки, но перевѣсъ былъ на сторонѣ Сталова. Правой рукой онъ душилъ своего противника; какъ схватилъ его за горло, такъ ужъ больше и не выпускалъ, а лѣвой наносилъ ему страшные удары по головѣ и лицу.

Убивалову тоже удалось ударить своего противника одинъ разъ по переносицѣ; онъ ударилъ его правой рукой, ударъ былъ страшенъ, изъ лица арестанта хлынула темная кровь, но этотъ ударъ въ то же время рѣ-

шилъ окончательно исходъ борьбы,—онъ былъ роковымъ для Убивалова,—у него самого оказался сломаннымъ большой палецъ.

Онъ хрипло сталъ молить о пощадѣ, всѣми силами стараясь высвободиться изъ рукъ своего врага, но тотъ его не выпускалъ. И вдругъ, изъ горла и носа Убивалова хлынула кровь, въ глазахъ его сразу помутилось, руки его странно откинулись плетями назадъ, а ноги сами собой подкосились.

Онъ лишился сознанія, хотя еще и чувствовалъ, какъ противникъ повалилъ его на полъ и сѣлъ ему на грудь и ощущалъ еще жгучую боль въ горлѣ.

Сталовъ оставилъ его только тогда, когда подъ рукой его, въ горлѣ надзирателя, пересталъ совершенно биться пульсъ. Тогда онъ слѣзъ съ его груди, на которой стоялъ правымъ колѣномъ, злобно посмотрѣлъ на него, утеръ рукавомъ свое окровавленное лицо и вдругъ поспѣшно началъ раздѣвать убитаго.

Его осѣнила мысль бѣжать изъ тюрьмы въ надзирательской формѣ.

Минутъ черезъ пять Сталовъ вышелъ изъ своей камеры уже переодѣтый; единственно, что стѣсняло его—это шашка, она все попадала ему между ногъ и мѣшала итти; но зато на ногахъ его не было кандаловъ, его освободила отъ нихъ эта же шашка—заклепки съ нихъ онъ сбилъ ею.

Когда Сталовъ вышелъ въ коридоръ, онъ торопливо заперъ за собой дверь и тутъ,

увидя связку ключей въ замкѣ, взялъ ихъ и, отдѣливъ сосѣдній ключъ, подошелъ къ камерѣ № 12.

— Возьму съ собой Лужина, — подумалъ онъ,—знамо дѣло, съ товарищемъ лучше будетъ всюду, и въ тайгѣ вдоемъ не такъ скучно будетъ, и на материкѣ, коли фартъ будетъ выбраться отседова, не плохо; а и засыпаться, коли засыпемся, и то вдвоемъ веселѣе...

Когда онъ отперъ дверь въ камеру Лужина, тотъ нисколько не удивился; онъ уже заранѣе понялъ все, слыша борьбу у сосѣда, и даже ждалъ его къ себѣ, чтобы научить переодѣться въ надзирательскую форму и бѣжать.

— Кандалы сбивай, чортъ, проворнѣй,— шопотомъ сказалъ Лужину Сталовъ, передавая ему шашку.

Тотъ взялъ ее отъ него.

— Ванька, — умоляющимъ голосомъ обратился онъ вдругъ къ Сталову,—будь отцомъ-благодѣтелемъ,—ослобони еще одного—сусѣда мово, Носова! Покеда отмыкать ему дверь будешь, а я и кандалы свои собью съ ногъ. Ужъ дюже парень хорошій!.. Ослобони, братъ, Ванька, Христа ради!..

Сталовъ дрожалъ за каждую минуту, но въ голосѣ Лужина было столько жалобы и еще чего-то властнаго, что онъ не рѣшился отказать ему и, молча махнувъ рукой, быстро направился къ слѣдующимъ дверямъ.

Носовъ былъ тоже освобожденъ; а пока

онъ сбивалъ съ ногъ кандалы, Сталовъ заперъ двѣ пустыя камеры на замки и приготовился запереть камеру № 13.

Когда арестанты направились къ выходнымъ дверямъ коридора, то всѣ трое были блѣднѣй мертвецовъ. Это былъ самый опасный шагъ; замѣть ихъ даже издали какой-нибудь надзиратель или солдатикъ конвойной команды, и они пропали; ихъ бы разомъ открыли, потому что изъ барака камерныхъ арестантовъ вечеромъ никто не выпускался и не впускался, кромѣ одного надзирателя.

— Тутъ намъ и крышка!—думалъ каждый изъ нихъ, подходя къ дверямъ,—сейчасъ остановятъ!..

Но вотъ дверь открыта, и всѣ трое уже на дворѣ.

— Слава Богу, ночь темная, — шепнулъ Лужинъ.

— Молчи, дьяволъ, — ткнулъ его въ бокъ Сталовъ.

И все трое молча направились къ тюремнымъ воротамъ.

Дворъ, черезъ который они шли, былъ очень большой; на него выходили десять тюремныхъ бараковъ, а посреди двора расположилась небольшая часовенка; съ двухъ сторонъ ея были фонари. Фонари эти зажигались только тогда, когда по календарю не полагалось луны; да и тогда они свѣтили такъ скудно, что только и освѣщали свои собственныя запыленныя стекла.

На этотъ разъ фонари не горѣли.

— Ванюха, видно луна будетъ,—шепнулъ Сталову Лужинъ,—вишь, фонари не горятъ... Надо-ть до луны поспѣшить выбраться отседова.

— Замолчишь ты, чортъ?..—Что жъ мы здѣсь проклаждаться что ли собираемся? Умный нашелся—учитъ!..

— Стой-ка, ребята, вы куда,—окликнулъ ихъ въ это время въ темнотѣ чей-то голосъ,—Убивалова не видали ли? Начальникъ тюрьмы къ себѣ его требуетъ.

— Въ восьмомъ баракѣ, кажись, былъ сейчасъ,—спокойно отвѣтилъ Сталовъ, и всѣ пошли дальше своей дорогой.

Сзади нихъ чиркнула спичка, и вспыхнулъ огонекъ. Всѣ разомъ оглянулись назадъ на ходу и увидѣли спину надзирателя Еремова: онъ остановился закурить „цыгарку“.

Черезъ нѣсколько секундъ всѣ были у тюремныхъ воротъ.

Сталовъ постучалъ кольцомъ калитки.

— Кто идетъ?—послышался голосъ снаружи.

— Убиваловъ!—отвѣтилъ Сталовъ.

— Куда?—продолжалъ допросъ часовой, не открывая воротъ.

— Чтобъ тебѣ языкъ коломъ сталъ, проклятому,—подумалъ Сталовъ, а вслухъ продолжалъ спокойнымъ и какъ-будто недовольнымъ голосомъ:—начальникъ тюрьмы, чтобъ его черти взяли, требуетъ къ себѣ... Еремовъ

прибѣгъ сейчасъ, „духомъ, говоритъ, лети“... Отпирай, братъ, служивый!..

— Да ты, паря, не серчай, служба наша такая, самъ вѣдь знаешь, что безъ опроса никого оттеда пропущать не полагается... Къ начальнику тюрьмы, стало-быть? такъ, такъ...— часовой сталъ отпирать, наконецъ, ворота,— Еремовъ сказывалъ чичасъ, что къ начальнику тюрьмы тебя требоваютъ... Да ты не одинъ никакъ... стой, вы!.. Куда, дьяволы, лѣзете?..

Часовой возвысилъ голосъ и загородилъ Лужину и Носову дорогу.

— Да пропусти ты ихъ, это со мной двое,—вмѣшался Сталовъ.

— Нѣтъ, никакъ не можно эфтаго,—заартачился часовой, — мнѣ про тебя одного Еремовъ сказывалъ, а про нихъ не говорено было.

Онъ уже собирался снова запирать ворота, совѣтуя обождать Еремова, но въ этотъ моментъ Сталовъ изо всей силы сдавилъ ему горло обѣими руками и вполголоса окликнулъ товарищей. Тѣ выскочили со двора, закрыли за собой ворота и мигомъ бросились бѣжать въ тайгу. Сталовъ оставилъ полузадавленнаго часового и кинулся за ними.

Онъ отбѣжалъ не болѣе десяти-пятнадцати саженъ, какъ за оградой раздались свистки и тревожные выстрѣлы въ воздухъ, а черезъ полъ-минуты съ тюремнаго двора уже слышались крики десятка голосовъ, и замелькали огни.

Сталовъ нагналъ товарищей и предупредилъ ихъ объ этомъ, не останавливаясь.

Они бѣжали въ темнотѣ уже около трехъ минутъ, какъ вдругъ услыхали позади себя лай собакъ и топотъ лошадей.

До тайги было уже недалеко, но всѣ трое тяжело дышали и уже бѣжали съ трудомъ.

— Стой, ребята,—окликнулъ Сталовъ товарищей,—коли ужъ заберутъ, такъ даромъ въ руки не сдаваться, ты, Лужинъ, бери револьвертъ, ты, на, шашку—орудуй, а я ихъ, чертей, кандалами обработывать зачну, съ собой прихватилъ, во!

И Сталовъ вынулъ изъ кармана шароваръ свои кандалы.

Послѣ этого всѣ трое уже не бѣжали, а только шли ускореннымъ шагомъ; ноги ихъ заплетались, подкашивались, и они то и дѣло спотыкались въ темнотѣ о камни.

Но вотъ погоня уже близко; собаки такъ и заливаются, а къ ихъ лаю присоединяются человѣческіе голоса и стукъ лошадиныхъ подковъ.

— Ну, ребята, дружно работать,—окликнулъ Сталовъ товарищей.

Въ этотъ моментъ большая темная масса подкатилась подъ ноги Носову и съ рычаніемъ бросилась на него; Носовъ взмахнулъ шашкой, раздался тяжелый ударъ, вой собаки и затѣмъ все стихло; одна собака была убита.

— Чисто сдѣлано,—похвалилъ товарища Сталовъ.

Но едва онъ вымолвилъ это, какъ шагахъ въ двухъ отъ него раздался снова ожесточенный лай.

Сталовъ размахнулся и ударилъ кандалами наугадъ; онъ попалъ по чему-то мягкому; раздался протяжный жалобный вой, перемѣшанный съ лаемъ и рычаньемъ; собака, повидимому, была изуродована и гдѣ-то въ темнотѣ жалобно визжала около арестантовъ. Ее искали, чтобы прикончить, но не нашли, а между тѣмъ она сильно мѣшала арестантамъ, открывая въ темнотѣ своимъ воемъ мѣсто ихъ нахожденія.

— Сворачивай въ сторону, братцы,—послышался голосъ Лужина,—мы на дорогѣ!..

И всѣ бросились въ сторону.

Въ это время по дорогѣ пронеслось нѣсколько человѣкъ на лошадяхъ.

— Стой, здѣсь они!.. Здѣсь душегубы!—послышались голоса, и тотчасъ всѣ остановились.

Собака жалобно выла.

Кто-то выстрѣлилъ наугадъ въ сторону арестантовъ, но пуля никого не задѣла; всѣ трое въ глубокой тишинѣ подвигались къ тайгѣ.

А тайга была уже рядомъ; все чаще и чаще попадались арестантамъ кусты и мягкія, поросшія мохомъ, кочки.

Голоса людей становились все тише и глуше. Стукъ лошадиныхъ копытъ прекратился совсѣмъ; видимо преслѣдователи прислушивались. И вдругъ съ ихъ стороны раздались

учащенные выстрѣлы по всѣмъ направленіямъ.

Арестанты легли на землю и продолжали двигаться впередъ ползкомъ.

— Помилуй, Господи, преступную душу мою,—шепталъ Лужинъ.

А рядомъ съ нимъ неуклюже карабкался Сталовъ, шипя и пыхтя, какъ паровозъ, и змѣей извивался Носовъ.

— Вотъ и вывезла кривая,—радостно прошепталъ, наконецъ, послѣдній, сильно ударяясь головой о стволъ дерева,—тайга, братцы, ей-Богу, тайга...

Въ это время воздухъ опять огласился залпомъ выстрѣловъ; рядомъ съ Лужинымъ, словно шмель прожужжалъ, затѣмъ что-то шлепнулось и снова все стихло.

— Чуть не въ меня,—прошепталъ Лужинъ,—слыхалъ, Ванюха, какъ зажужжала окаянная?.. Да, что, ты?..

Сталовъ не отвѣчалъ ему: онъ лежалъ рядомъ, неподвижно уткнувшись лицомъ въ землю и, царапая одной рукой стволъ корявой боярки, какъ-то странно хрипѣлъ.

— Да, что, ты?—еще разъ шопотомъ окликнулъ Сталова Лужинъ.

Въ это время изъ-за тяжелыхъ темныхъ тучъ, окутывающихъ ночное небо, показался серебристый дискъ луны. Голубоватый свѣтъ прорѣзалъ сѣдой туманъ, на далекое пространство покрывающій низкорослый кустарникъ, вдоль опушки тайги.

Лужинъ повернулся къ Сталову и на минуту замеръ отъ ужаса: его товарищъ плавалъ въ лужѣ крови; изъ затылка его кровь бѣжала темной струей по шеѣ, воротнику и спинѣ и стекала на землю. Онъ пощупалъ его сердце, оно не билось.

— Что же съ нимъ дѣлать?—спросилъ Лужинъ шопотомъ у Носова, лежащаго еще тутъ же, рядомъ.

— Раненъ?—спросилъ тотъ въ свою очередь.

— Кончился ужъ, и сердце не стукаетъ... какой чортъ раненъ! какъ муху пришили сердечнаго!..

— Кончился, такъ, вѣстимо, чего съ нимъ дѣлать!.. Наплюй на него, да сами давай Богъ ноги уносить отседа!..

И Носовъ торопливо поползъ въ чащу тайги.

Лужинъ тяжело вздохнулъ, потомъ торопливо собралъ зачѣмъ-то горсть земли, положилъ ее на спину Сталова, и, перекрестившись, послѣдовалъ за Носовымъ.

Они шли тайгой десятыя сутки.

Лица ихъ были страшны. У обоихъ товарищей глаза ввалились, скулы выдвинулись впередъ, и носы заострились, какъ у птицъ.

Оба еле передвигали ноги, какъ-то безнадежно глядя впередъ и по сторонамъ.

— Терешка, ты, братъ, какъ хошь, а я дальше иттить не могу; ноги, братъ, не дѣвствуютъ, силы не стало!—и, сказавши это, Лужинъ безсильно опустился на землю возлѣ изнуреннаго не менѣе товарища.

— Что же, братъ, помирать-то мнѣ съ тобой не охота, вотъ что, а коли останусь, самъ знаешь, помремъ оба... Хошь бы что-нибудь попало намъ,— прибавилъ онъ немного погодя:—кошку бы, крысу, собаку, кого хошь живьемъ бы съѣлъ чичасъ...

Носовъ мучительно сжалъ кулаки и скрипѣлъ зубами.

Лужинъ протяжно застоналъ.

— Голова, Терешка, кружится,—жалобно заговорилъ онъ,—въ глазахъ круги ходятъ, въ ушахъ звонъ, словно въ большой колоколъ поливаютъ... Во!—Ду, ду, ду... ду, ду!.. ду, ду... Такъ и гудетъ!.. Сколько сегодня... трое сутокъ, какъ мы гагару тую—послѣднюю слопали!.. Терешка, неужто-жъ Богъ насъ оставилъ?.. Знаешь, что, вотъ сдается мнѣ, что будетъ у насъ съ тобой, что поѣсть сегодня, да и только!.. Вѣрь мнѣ, Терешка, провіантъ самъ придетъ къ намъ!.. Лягъ, отдохни малость, ей-Богу проснемся, что-нибудь да и найдемъ пожрать здѣсь!..

Терешка съ тоской во взорѣ только рукой махнулъ безнадежно; потомъ опустился на землю рядомъ съ Лужинымъ и спросилъ:

— Ну, сѣли; а теперь что же будемъ дѣлать?

— Теперь, ты, что хошь дѣлай, а я спать стану,—отвѣтилъ Лужинъ.

— Ну и что жъ, сытѣе станетъ съ эстого?..

— Сытѣе!

— Эхъ, сдохъ бы ты, окаянный, за то, что сманилъ меня съ собой изъ О...ровъ... Чѣмъ

не житье было мнѣ тамъ? Хлѣба вволю, баланды тепленькой цѣлую миску давали... Такъ нѣтъ же, вѣдь, подавай мнѣ еще слободу... Эхъ, чтобъ тебя и со слободой твоей!..

Носова разбирала злость и на себя, и на Лужина. При одномъ воспоминаніи о тепленькой баландѣ и казенномъ затхломъ хлѣбѣ у него во рту обильно стала выдѣляться слюна; за то, чтобы поѣсть сейчасъ и того и другого всласть, онъ бы, кажется, готовъ былъ отдать половину своей жизни. Голова его горѣла, а въ желудкѣ поднимались сильныя боли.

Лужинъ растянулся на травѣ во весь ростъ спиной кверху и закрылъ глаза.

Носовъ посидѣлъ рядомъ съ нимъ нѣсколько минутъ молча, потомъ поворчалъ, поворчалъ и тоже легъ.

Черезъ нѣсколько минутъ оба болѣзненно заснули.

Носову снилось, что будто онъ снова въ О...рахъ, но только не въ „каменной тюрьмѣ“, а въ общей,—„въ вольной“.

Время обѣда.

Въ числѣ другихъ арестантовъ онъ сидитъ на кухнѣ около тюремнаго котла, въ которомъ варится мутненькая жидкая баланда; въ рукахъ у него жестяная объемистая миска; онъ дожидается очереди, когда наполнятъ его посуду. Ему страшно хочется сегодня ѣсть; съ самаго утра у него ничего не было во рту, онъ даже чаю не успѣлъ напиться съ

товарищами, а работалъ весь день, словно волъ казенный, что воду возитъ для господъ... Подъ лѣвой рукой у него зажата горбушка чернаго хлѣба; она совсѣмъ еще горячая, даже дымится; онъ отщипываетъ отъ нея здоровый кусокъ и засовываетъ его къ себѣ въ ротъ; хлѣбъ сегодня необыкновенно вкусный, онъ не пахнетъ даже, какъ всегда, тухолью, и корочка у него поджаристая, именно такая, какъ онъ любитъ.

Около котла съ баландой сегодня пахнетъ тоже какъ-то необыкновенно хорошо не вареной шваброй, а настоящими щами, и даже не тюремными, а словно бы солдатскими.

Вотъ и его чередъ подошелъ; ему наполняютъ посудину, и онъ торопливо идетъ къ общему столу и размѣщается на его концѣ.

— Чортъ возьми, всѣ табуретки заняты,— думаетъ онъ, ища глазами, нѣтъ-ли гдѣ свободной, но свободныхъ ни одной,—ну, да ладно, и такъ поѣмъ!..

Носовъ лѣзетъ за голенище своего измятаго рыжаго бродня за ложкой, но не находитъ ея тамъ.

— Тьфу, ты, язви твою душу, забылъ взять,—ругается онъ,—видно подъ подушкой валяется; дѣлать нечего, приходится бѣжать за ложкой!

Онъ оставляетъ и баланду, и хлѣбъ на столѣ и бѣжитъ въ сосѣднюю комнату къ своей койкѣ.

Ложка, дѣйствительно, лежитъ у него подъ

подушкой; онъ хватаетъ ее и снова бѣгомъ возвращается въ столовую... Но что за шутъ: въ столовой ни души, кромѣ одного Лужина; словно цѣлый вѣкъ никто и не обѣдалъ здѣсь— печка не топится, столы всѣ вымыты, стоятъ пустые и даже на полу нигдѣ ни крошки не видно.

— Что это?—удивленно спрашиваетъ Носовъ у товарища,—гдѣ же всѣ?

— Умерли,—отвѣчаетъ ему Лужинъ и при этомъ начинаетъ дико хохотать.

— Какъ умерли? — спрашиваетъ его Носовъ.

— Да развѣ ты не видишь,—удивляется тотъ въ свою очередь и, подводя его къ окну, указываетъ ему пальцемъ на громадное поле.

Носовъ знаетъ, что окна столовой выходятъ на тюремный дворъ, и никакого поля изъ нихъ никогда не было видно, а между тѣмъ сейчасъ онъ и впрямь видитъ передъ собой поле.

Все небо вокругъ обложило свинцовыми тучами, вотъ-вотъ, кажется, хлынетъ дождь; надъ землею нависъ полумракъ. Словно испуганная птица крыльями, ударяютъ порывы вѣтра въ стекла тюремныхъ оконъ.

Носовъ вглядывается передъ собой и вдругъ содрогается, по его спинѣ пробѣгаютъ мурашки, и вдругъ въ ужасѣ онъ спрашиваетъ у Лужина:

— Отъ чего они умираютъ? что съ ними?..

Онъ хочетъ бѣжать отъ окна, но не мо-

жетъ; глаза его такъ и впиваются въ страшную картину.

Подъ сумракомъ угасающаго дня на громадномъ полѣ передъ нимъ разсѣяны угрюмые деревянные кресты; нѣкоторые изъ нихъ покосились, а другіе такъ даже совсѣмъ упали и лежатъ на обсыпавшихся, обнаженныхъ могилахъ... А между могилами, по всему полю, насколько только глазъ хватаетъ, на холодной землѣ извиваются и ползаютъ люди; они закованы въ кандалы, тѣла ихъ покрыты кровью и лица выражаютъ глубокія страданья...

— Что съ ними, отчего они умираютъ?— повторяетъ Носовъ свой вопросъ, обращаясь къ Лужину.

— Отъ голода,—отвѣчаетъ Лужинъ, снова разражаясь дикимъ хохотомъ, и вдругъ начинаетъ ходить по столовой колесомъ.

— Да, что ты обалдѣлъ, что-ли?—останавливаетъ его Носовъ,—слышь, что-ли, перестань!..

Но Лужинъ не унимается.

Носовъ хочетъ выйти изъ столовой, и съ сердцемъ сплевывая въ сторону, поворачивается къ дверямъ... Но дверей точно и не было здѣсь никогда,—передъ нимъ глухая, каменная стѣна.

— Гдѣ же двери?—спрашиваетъ онъ Лужина.

— Задѣлали двери,—отвѣчаетъ тотъ,—покеда одинъ изъ насъ не съѣстъ другого, мы

не выйдемъ отсюда... И какъ только ты заснешь, я убью тебя и съѣмъ!..

Лужинъ принимается снова дико хохотать и щелкать зубами; глаза у него дѣлаются страшными и, словно у разъяреннаго звѣря, наливаются кровью.

Носову дѣлается жутко; на лбу и вискахъ у него проступаютъ крупныя капли холоднаго пота, по всему тѣлу пробѣгаютъ мурашки, руки и ноги дрожатъ, и онъ чувствуетъ, что волосы на головѣ его подымаются и начинаютъ шевелиться... И, вдругъ, Лужинъ покатился передъ нимъ снова колесомъ, быстро, быстро, потомъ свился клубкомъ и стремительно бросился къ нему подъ ноги, вскочилъ передъ нимъ и зарычалъ, какъ бѣшеная собака, а изо рта, ноздрей и ушей его повалилъ дымъ и огонь....

Носовъ проснулся и какъ сумасшедшій вскочилъ, озираясь кругомъ. Товарищъ его спалъ попрежнему, уткнувшись лицомъ въ землю; рядомъ съ нимъ лежалъ револьверъ съ разстрѣлянными патронами и упавшая съ головы его рыжая арестантская шапка.

Вокругъ было тихо; только неподалеку въ оврагѣ журчалъ ручеекъ, словно чей-то тихій голосъ съ плачемъ жаловался кому-то на свою судьбу.

Солнце закатилось. Небо вокругъ заволакивало свинцовыми тучами. Надъ тайгой сгущался полумракъ угасающаго дня.

Глаза Носова горѣли лихорадочнымъ блес-

комъ. Онъ, видимо, сильно волновался, обдумывая что-то, и вдругъ, словно рѣшившись на что-то, какъ кошка подкрался къ спящему товарищу и безшумно вынулъ изъ ноженъ зазубренную шашку.

Гдѣ-то въ кустахъ оврага жалобно пискнула невидимая птичка. Пискнула протяжно и затихла.

Носовъ вздрогнулъ и поднялъ рѣшительно шашку надъ головой Лужина.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Носова, закованнаго въ ручные и ножные кандалы, отправляли изъ К....овска въ О..скую тюрьму.

Выѣздной сессіей *** окружнаго суда за побѣгъ изъ тюрьмы ему было прибавлено десять лѣтъ каторжныхъ работъ, а за убійство товарища и людоѣдство, въ которомъ онъ сознался чистосердечно, судъ его оправдалъ, признавъ, что преступленіе совершено имъ въ состояніи невмѣняемости.

Въ настоящее время Носовъ извѣстенъ всему Сахалину подъ именемъ „людоѣда“.

Если дѣла кладовушки - архива К...скаго окружнаго полицейскаго управленія до сихъ поръ не приводились еще въ порядокъ, то среди „вещественныхъ доказательствъ“ въ этой же кладовушкѣ можно видѣть еще навѣрное запечатанные красной сургучной печатью поджаренные бренные останки ссыльнно-каторжнаго Лужина.

Бабай Ивановичъ.

Старый Бабай-Гаджи-Оглы уже третій годъ освободился отъ каторжныхъ работъ. Въ настоящее время онъ числится ссыльно-поселенцемъ поста К...овскаго, но черезъ годъ съ небольшимъ разсчитываетъ получить права крестьянина изъ ссыльныхъ и выѣхать на материкъ Сибири.

Срокъ каторжныхъ работъ—четыре года—онъ отбылъ сполна, не пользуясь манифестомъ, а потому въ разрядѣ ссыльно-поселенцевъ ему приходится пробыть всего четыре года.

Бабаю пятьдесятъ семь лѣтъ. Это высокаго роста, убѣленный сѣдиною, сутуловатый татаринъ. Лицо у него благообразное и добродушное; когда онъ молчитъ и никого не слушаетъ, то производитъ очень благопріятное впечатлѣніе на посторонняго человѣка, стоитъ ему, однако, открыть ротъ или приготовиться даже только кого-нибудь выслушать, какъ это впечатлѣніе моментально исчезаетъ; выраженіе лица его становится до невозможности глупое: ротъ слегка открывается, ниж-

няя толстая губа отвисаетъ внизъ, глаза дѣлаются какими-то круглыми и около носа и угловъ губъ появляется вздрагивающая глубокая складка, придающая ему видъ человѣка, сдерживающагося отъ смѣха.

Не смотря на то, что Бабай живетъ на Сахалинѣ седьмой годъ, онъ почти не говоритъ по-русски: понимать-то русскій языкъ онъ понимаетъ хорошо, но и то по нѣкоторымъ причинамъ притворяется обыкновенно его не понимающимъ. Про Бабая нельзя сказать, что онъ уменъ, но нельзя сказать, что онъ и глупъ, и, во всякомъ случаѣ, всякій, кто его знаетъ поближе, скажетъ, что онъ хитеръ, какъ лиса.

Притворяться Бабаю непонимающимъ русскій языкъ есть много причинъ: благодаря этому, во-первыхъ, съ него меньше спрашивается при всевозможныхъ случайностяхъ, когда приходится отвѣчать за какое-либо дѣло; а во-вторыхъ, лицо человѣка, не понимающаго обращенной къ нему рѣчи, всегда кажется значительно глупѣе, чѣмъ оно есть на самомъ дѣлѣ; это Бабаю тоже на руку,— „съ дурака меньше и спрашивается“.

Живетъ Бабай торговлей, у него нѣтъ лавочки и даже нѣтъ ларька, но у него имѣется деревянный лотокъ—родъ ящика—съ двумя прорѣзанными отверстіями для ремня, этотъ лотокъ онъ носитъ съ собой цѣлыми днями, безъ отдыха бродя по К...овску и по прилегающимъ къ порту слободкамъ. Въ лоткѣ у

него всегда можно найти все, что угодно; тутъ есть и пара саекъ рядомъ съ подержанными сапожными щетками, и полу-кирпичъ тюремнаго чая, и разрозненная пачка спичекъ, и фунтъ мятныхъ или медовыхъ пряниковъ мѣстнаго сахалинскаго приготовленія, и переда, подошвы, подметки и голенища тюремныхъ нечерненныхъ сапогъ или даже цѣлые коты или бродни на гигантскую ногу; иногда ко всему этому прибавляется еще казенная тухловатая солонина или кэта, но и эти оба продукта ничѣмъ не отдѣляются отъ мятныхъ пряниковъ и саекъ, и даже лежатъ въ лоткѣ ничѣмъ не завернутые; вслѣдствіе этого пряники и сайки у Бабая всегда попахиваютъ солененькой рыбкой, кожами и деготькомъ, а чай пріобрѣтаетъ несвойственный ему ароматъ и вкусъ.

Но иногда Бабай измѣняетъ своему лотку, и тогда его можно видѣть съ большимъ туго набитымъ холщевымъ мѣшкомъ, перекинутымъ за спину. Это случается обыкновенно около перваго числа каждаго мѣсяца — времени выдачи ссыльнымъ казенныхъ пайковъ, а также и во время выдачи имъ одежнаго довольствія; Бабай скупаетъ и то и другое по дешевкѣ, выжидаетъ нѣсколько дней, когда товаръ, пріобрѣтенный имъ, поднимается въ цѣнѣ, и тогда начинаетъ его распродавать.

Какъ ни плохо говоритъ Бабай по-русски, но все же умѣетъ назвать по имени каждую изъ продаваемыхъ имъ вещей и сказать по-

купателю ея цѣну; всѣ наши деньги—и золотыя, и серебряныя, и кредитные билеты, такъ же, какъ японское серебро и мѣдь, ходящія на Сахалинѣ, онъ знаетъ очень хорошо и умѣетъ считать ихъ не хуже любого русскаго торговца.

Про Бабая говорятъ, что у него есть порядочныя деньги, но опредѣлить его средствъ не берется никто,—„хитрая стерва, никто отъ него слова правды, касательно денегъ, не добьется,"—говоритъ про него шпана.

Одни увѣряютъ, что у Бабая всего рублей съ сотню наберется, да и то гдѣ-нибудь деньги эти въ тайгѣ подъ гнилымъ пнемъ зарыты, утверждаютъ они, а другіе наоборотъ съ пѣной у рта клянутся, что видали у него, у стараго чорта, гибель денегъ, и, что онъ держитъ ихъ у себя въ комнатѣ, въ какой-нибудь хавирѣ[1]).

— И вѣдь околѣетъ старый песъ, нехрещеный, а денегъ своихъ никому не дастъ и подержать-то въ рукахъ ни минуты, — говорятъ про него бродяги.—Ну, чтобы ему, лупоглазому, нуждающему человѣку на время ссудить когда, подъ божескіе проценты, малую толику!.. Ну, взялъ бы пятакъ съ рубля въ мѣсяцъ, такъ нѣтъ же, вѣдь, не даетъ, бусурманская харя его... Поди ка, сунься къ нему, попроси! Такую образину идольскую сдѣлаетъ, ажъ перевернетъ тебя всего со злости, такъ бы

---

1) Хавиръ—потайное мѣсто.

и наплевалъ ему въ глаза за эфто... Вылупитъ на тебя бѣлки свои, какъ услышитъ про деньги что, разинетъ ротъ, и давай твердить тебѣ на кажинное слово въ отвѣтъ: „непонымай“, да „непонымай“... и хоть ты, што хошь дѣлай съ нимъ, такъ и не добьешься толку! Только рукой передъ харей своей водитъ, словно муху отгоняетъ, да твердитъ, какъ болванъ заведенный „не понымай“, вотъ и весь тебѣ сказъ отъ него!.. Эхъ, подлый народъ эти татары!..

Какъ ни какъ, но у Бабая, дѣйствительно, водятся деньжонки и онъ хранитъ ихъ, какъ зеницу ока своего; онъ охотно давалъ бы ихъ въ ростъ, но вѣдь это дѣло рискованное, а особенно на Сахалинѣ: „Неровенъ часъ и совсѣмъ назадъ не получишь,—куда покойнѣе, коли лежатъ они въ своемъ карманѣ, или въ хавирѣ какой-нибудь припрятаны“,—дуетъ Бабай и поэтому никому денегъ своихъ не даетъ.

Бабай не любитъ, когда кто-нибудь изъ ссыльныхъ обращается къ нему съ просьбой о деньгахъ, но каждый разъ, когда отдѣлается отъ просителя своей всесокрушающей непонятливостью, какъ только проситель отчалитъ отъ него, лицо его расплывается въ широкую улыбку, и въ глазахъ его сіяетъ радость удовлетвореннаго самолюбія. Бабай также радостно улыбается, когда кто-нибудь обратится къ нему съ вопросомъ о деньгахъ въ такой формѣ:

— А, здорово... Много у тебя денегъ, Бабай?

Тогда Бабай не притворяется ничего не понимающимъ, а только радостно „ржетъ, какъ кобыла на овесъ“, но ни слова не отвѣчаетъ на это, чтобы оставить для спрашивающаго широкое поле сомнѣнія, какъ въ утвердительномъ, такъ и въ отрицательномъ отвѣтѣ.

Вообще про Бабая можно сказать, что нрава онъ тихаго, миролюбиваго. Онъ извѣстенъ среди татаръ, какъ богомольный старикъ, фанатически преданный своей вѣрѣ и ученью Корана. За всѣ пятьдесять семь лѣтъ своей жизни онъ ни разу не взялъ въ ротъ ни одной капли вина, не только что спирта или водки, и этимъ смѣло можетъ похвалиться передъ всѣми сахалинскими татарами, которыхъ, къ слову сказать, на Сахалинѣ очень много и которые тамъ почти поголовно предаются „пьянству велію“.

Бабай даже пробовалъ возставать противъ отступниковъ вѣры, нарушителей завѣта Магомета, но изъ этого ничего не вышло,—Бабая подняли насмѣхъ, и даже нашелся такой баши-бузукъ, что пригрозилъ старику, что вольетъ ему водки въ ротъ насильно; Бабай испугался этой угрозы и съ тѣхъ поръ уже никогда не говорить о пьянствѣ. „Аллахъ имъ судья, за грѣхи ихніе; не мое дѣло, буду молчать, а то еще и впрямь опоганятъ душу мою,“ подумалъ онъ и съ тѣхъ поръ только

сокрушенно вздыхаетъ, глядя на пьющихъ татаръ да втихомолку сплевываетъ куда-нибудь въ уголокъ

Къ ужасу Бабая, на Сахалинѣ есть и такіе татары, что ѣдятъ свинину, но съ такими уже онъ считаетъ за грѣхъ разговаривать и не подходитъ къ нимъ близко

Одно время Бабай, не имѣя своего дома, жилъ на квартирѣ у русскихъ; хотя онъ платилъ имъ за постой и аккуратно, но ужъ очень надоѣдалъ имъ своими молитвами, и они стали просить его съѣхать съ квартиры; но Бабай медлилъ, ему хорошо жилось у нихъ, и онъ подъ разными предлогами старался остаться въ своей конуркѣ.

— Надоѣлъ онъ, язви его душу,—говорили про него хозяева квартиры. — Какъ только наступаетъ вечеръ, такъ это нашъ татаринъ давай разстилать у себя въ горенкѣ на полъ хламиду какую-то; станетъ на нее колѣнками, ноги разумши, нюхаломъ-то всегда къ чулану нашему, гдѣ кэта виситъ, поворачивается! [1]) и давай вздыхать, и давай вздыхать!.. и такъ-то жалобно вздыхаетъ, родные вы мои, что и сказать не умѣю, ажно за сердце беретъ съ энтихъ, евонныхъ вздоховъ. И вотъ такъ-то чуть не всю ночь!.. Когда и спитъ-то старый, просто понять не можно; диво да и только! Первоначально-то насъ еще антиресъ забиралъ посмотрѣть на него, какъ это, зна-

[1]) Когда татары молятся, то они обращаютъ лицо въ одну сторону—къ востоку.

читъ, басурманъ Богу молится, узнать хотѣлось; ну а теперь-то ужъ такъ насмотрѣлись, что и вспомнить-то гадко. По первости-то, разовъ пятокъ эфто было, какъ онъ станетъ лицомъ къ чулану съ кэтой, да зачнетъ вздыхать, мы и не выдержимъ, жаль старика станетъ; посмотришь, посмотришь на него чрезъ щелку, да и подумаешь: ишь какъ мается-то сердешный, видно съ голоду его разбираетъ.

Вскорѣ, однако, квартирныхъ хозяевъ Бабая научили, какъ его выжить; имъ посовѣтовали повѣсить въ чуланѣ свининки и ею „упоштовать" Бабая, какъ онъ зачнетъ вздыхать. Они такъ и сдѣлали. Бабай сильно разсердился, такъ разсердился, что вздыхать даже не сталъ больше и на слѣдующій же день къ вечеру перебрался отъ нихъ къ татарамъ.

Бабай человѣкъ глубоко-вѣрующій и строго выполняетъ всегда всѣ обряды мусульманской религіи; онъ знаетъ всѣ дни поста въ году наизусть и ни одного изъ нихъ не пропуститъ, а когда онъ „держитъ ураза" [1]), то ему буквально всѣ татары удивляются, какъ онъ терпѣливо переноситъ ежедневно голодъ до темной ночи.

Конечно, злые языки вездѣ есть, и потому нѣтъ основаній предполагать, что ихъ нѣтъ на Сахалинѣ. Про Бабая разсказываютъ, будто

---

[1]) „Держать ураза"—поститься; самый длинный ураза татаръ передъ Байрамомъ—соотвѣтствуетъ нашему Великому посту передъ Пасхой.

онъ жалѣетъ, что Магометъ не придумалъ для правовѣрныхъ вѣчнаго ураза, потому что тогда Бабаю пришлось бы еще меньше тратиться на свое пропитаніе, хотя,—прибавляютъ при этомъ разсказчики,—Бабай тратитъ и такъ на это не больше двухъ-трехъ копеекъ въ сутки, питаясь одними черствыми корками хлѣба.

Неизвѣстно, правда ли, что Бабай постоянно моритъ себя голодомъ, но, что онъ скупъ и даже зѣло скупъ, это—фактъ.

За Бабаемъ водятся и маленькіе грѣшки; онъ неравнодушенъ къ куплѣ и продажѣ краденыхъ вещей. Подобная торговля хотя и рискована, но она зато доходнѣе всякой другой. Къ этому роду торговли онъ питаетъ тайную любовь, но когда съ нимъ заговариваютъ о ней, то онъ сейчасъ же прикидывается ничего не понимающимъ.

— Бабай, правда ли сказываютъ, что ты любишь торговать краденымъ товаромъ?—смѣясь спроситъ его другой разъ кто-нибудь.

Бабай тогда только рукой замахаетъ передъ своимъ лицомъ и, вытаращивъ на собесѣдника безсмысленные глаза и отвѣсивъ нижнюю губу, монотонно протянетъ свое обычное „нэ понымай“, но въ душѣ въ то же время онъ подумаетъ: „крадэный вещь—хорошъ штюкъ!“

Бабай любитъ вести со старымъ Гаджи-Касумъ-Ибрагимомъ, татариномъ изъ ссыльныхъ, замѣняющимъ муллу въ К...овскѣ, долгія религіозныя бесѣды.

Когда Гаджи-Ибрагимъ яркими красками описываетъ ему рай Магомета и прелестныхъ гурій, наполняющихъ его, Бабай сладко, сладко жмурится, глаза его начинаютъ блестѣть, губы дѣлаются влажными и прерывающимся голосомъ онъ спрашиваетъ тогда Касума по-своему.

— А лучше онѣ, чѣмъ наша Монашка?

Ибрагимъ-Касумъ при этомъ вопросѣ даже головой замотаетъ и нѣкоторое время не въ состояніи бываетъ даже отвѣтить ему что-нибудь на это, но, наконецъ, соберется съ силами и съ глубокимъ чувствомъ восторженно воскликнетъ:

— Ва! дэсять разъ лучшэ!..

И Бабай мечтаетъ о прелестяхъ Магометова рая, силясь представить себѣ красавицу, въ десять разъ лучшую знаменитой сахалинской Монашки.

Иногда Бабай, несмотря на свой миролюбивый, спокойный характеръ, сердится и сердится такъ, что теряетъ даже самообладаніе; глаза его тогда наливаются кровью, губы трясутся и дрожащей рукой онъ хватается тогда за пряжку кушака, опоясывающаго его бѣлый армякъ, словно ищетъ кинжала, но не найдя ничего, съ пѣной у рта разражается самой отборной руганью на татарскомъ и ломанномъ русскомъ языкѣ, по адресу своего обидчика. Со стороны же послѣдняго раздается тогда неудержимый взрывъ хохота, въ глазахъ обидчика сверкаетъ дикій неподдѣль-

ный восторгъ и, хватаясь за бока, онъ стонетъ тогда:

— Ой, уморилъ... уморилъ, Бабай Ивановичъ!..

Эта-то прибавка—Ивановичъ—и есть единственное средство разсердить стараго Бабая; онъ нисколько не сердится, когда на его голову сыпется площадная брань, онъ хорошо понимаетъ, что безъ нея русскій человѣкъ не обходится,—трехъэтажное словцо въ русской рѣчи, что въ кашѣ масло,—когда его ругаютъ, такъ онъ даже глазомъ не моргнетъ, но стоитъ только назвать его Бабаемъ Ивановичемъ, и онъ на стѣну готовъ лѣзть...

Что дѣлать, у каждаго человѣка есть свои странности!

Бабай сосланъ на Сахалинъ не одинъ, съ нимъ тутъ еще находится и его братъ—Кули-Гаджи-Оглы. Съ братомъ онъ живетъ врозь; вмѣстѣ они жить не могутъ, потому что тогда постоянно ссорятся, а живя врозь, дружатъ и какъ-то сильнѣе любятъ другъ друга.

Своего брата Бабай не любитъ, главнымъ образомъ за его расточительность.

— Дурной голова есть маямъ братъ, вси дэньги конфетъ кушай,—укоризненно качая головой, постоянно говоритъ про него Бабай.

Когда у Бабая спрашиваютъ, за что онъ попалъ на Сахалинъ, то онъ отвѣчаетъ, тяжело вздохнувъ:

— Эхъ, самъ не знай... дурнай голова маямъ, братъ выноватъ.

Дальше, обыкновенно, онъ прищелкиваетъ языкомъ и, помахавъ передъ своимъ лицомъ рукой, прибавляетъ:

— Нэ понымай рюсски говорытъ.

Кули Иванычъ говоритъ по-русски значительно лучше Бабая, но какъ разсказчикъ, онъ очень плохъ и, когда его спрашиютъ, за что онъ и братъ пришли въ каторгу, то Кули отвѣчаетъ очень коротко, но не понятно:

— Коровѣ былъ четыръ года, мнѣ былъ тридцать лѣтъ.

Дальше этого онъ уже не идетъ и отъ него нельзя ничего добиться, но въ статейныхъ спискахъ обоихъ значится:—судился * * окружнымъ судомъ за грабежъ. Оба одинаково—по четыре года каторжныхъ работъ.

Въ концѣ-концовъ все-таки выяснилось черезъ кого-то изъ ссыльныхъ татаръ, что братья занимались на Кавказѣ грабежами и попались съ коровой, отнятой ночью у какого-то пастуха. Бабай увѣряетъ, говоря, что самъ не знаетъ, за что попалъ на Сахалинъ, будто всему здѣсь виновата только глупость брата, а Кули, не умѣя разсказать своего дѣла, ограничивается только фразой, „коровѣ былъ четыръ года, мнѣ былъ тридцать лѣтъ“, что должно-быть означаетъ: за грабежъ у пастуха коровы былъ сосланъ на четыре года, когда ему было тридцать лѣтъ.

На дворѣ такъ и печетъ.

Въ воздухѣ душно, отъ раскаленной земли подымаются, словно волны чуть замѣтнаго тумана, облака мельчайшихъ пылинокъ.

Не шелохнетъ ни одинъ листокъ на деревьяхъ, уныло глядящихъ изъ-за палисадниковъ К... овскихъ домишекъ на улицы.

Вся трава, всѣ деревья покрыты желтовато-сѣрымъ налетомъ, и кажется, что томится, мучается каждый листочекъ деревца, каждая былинка на землѣ отъ безпощадной жары, отъ сухой раскаленной пыли, отъ безводья.

Все стихло вокругъ; не лаютъ на прохожихъ собаки, не бѣгаютъ по дворамъ откормленныя чушки, даже вольныя птички, такъ и тѣ вокругъ какъ-то притихли — не поютъ; только одни шальные воробьи знай себѣ чирикаютъ на самомъ припекѣ подъ солнышкомъ, разрывая на дорогѣ навозъ,—имъ и горюшка мало! Да гдѣ-то въ сторонѣ, словно бы рядомъ совсѣмъ, заливаются, трещатъ стрекозы и кузнечики. Этимъ легкомысленнымъ франтамъ, кажется, нѣтъ никакого дѣла ни до какой погоды.

По П...инской слободкѣ съ тяжелымъ мѣшкомъ за плечами, обливаясь потомъ, идетъ Бабай. Онъ идетъ, медленно переставляя ноги, слегка перегнувшись впередъ. Лицо его словно одервенѣвшее, не выражаетъ ничего, но усиленно работаетъ. За его плечами сегодня находится въ мѣшкѣ много цѣннаго товара и

притомъ товара его любимаго, самаго доходнаго,—краденаго.

Дорога сейчасъ очень опасная: во-первыхъ Бабаю приходится итти мимо дома надзирателя Воробья, потомъ мимо дома надзирателя Пѣтухова, а эти проныры, онъ знаетъ, того и гляди еще окликнутъ его, остановятъ, и тогда пиши пропало, ужъ навѣрно распотрошатъ весь товаръ, и не сдобровать тогда ему, старому Бабаю, отберутъ у него все до нитки, да еще потащутъ къ начальнику тюрьмы, а тотъ и въ карецъ, чего добраго, засадитъ его. „Пронеси, великій Аллахъ!“ думаетъ Бабай, мѣрно шагая по пыльной дорогѣ мимо дома Воробья.

Онъ боится прибавить шагу, — увидятъ, что онъ скоро идетъ, пожалуй, скорѣй заподозрятъ его въ недобромъ дѣлѣ, и Бабай не торопится.

По спинѣ его, несмотря на жару, пробѣгаетъ морозъ, ноги его слегка подкашиваются, а въ рукахъ появляется легкая дрожь.

„Запѣть пѣсню что ли?“ думаетъ Бабай; онъ уже слегка открываетъ ротъ и хочетъ затянуть свой любимый жалобный напѣвъ, но звуки не выходятъ изъ горла, словно оно у него сдавлено; Бабай испуганно косится влѣво на окна Воробья,—не замѣтилъ ли кто-нибудь этого оттуда,—и самъ себѣ удивляется, какъ могъ это онъ придумать такую чепуху, чтобы еще запѣть, когда на дворѣ такая жара, что и дышать-то, такъ и то

трудно, а не только что пѣть; и Бабай радуется, что изъ горла его не вырвалось ни одного звука.

„Вотъ онъ, вотъ мордовская харя!“ думаетъ Бабай по-своему, видя перекошенное лицо Воробья сквозь закрытое окно.

Бабай держитъ голову прямо, не поворачивая ее къ Воробью, онъ даже и смотритъ прямо передъ собой, но видитъ Бабай совсѣмъ не то, что дѣлается передъ нимъ, а видитъ только это страшилище—одного Воробья.

— О, великій Аллахъ и пророкъ Магометъ, пронесите меня!—молится старикъ, все такъ же тихо шагая впередъ.

Онъ проходитъ уже послѣднее окно дома Воробья, но на душѣ у него все еще не спокойно; Бабай знаетъ привычки „мордовской хари“: этотъ никогда сразу не остановитъ, а сперва пропуститъ мимо себя, а тамъ ужъ и вернетъ, чтобы сначала обнадежить человѣка, а потомъ разомъ въ отчаянье привести его.

Онъ дѣлаетъ еще шаговъ пять, и въ это время въ головѣ его вихремъ проносится цѣлый рой мыслей.

„Ну, прошелъ ужъ, кажется, — думаетъ онъ,—теперь только бы мимо Пѣтухова пройти, а тамъ Ѳаддеева миновать, и шабашъ!.. Не догадался бы Ѳаддеевъ тоже, теперь, небось за кажиннымъ мѣшкомъ доглядываетъ, какъ обчистили его... Ночью бы лучше было нести“, —

соображаетъ Бабай, съ трудомъ передвигая ноги и тяжело дыша; но тутъ же ему опять приходитъ въ голову, что и ночью не ладно бы было,—поди еще и похуже даже, потому что ночью-то и полицейскіе строже смотрятъ, и солдаты обходятъ всѣ дороги, да и свой братъ — ссыльные тоже вниманіе обращаетъ на всякую ношу больше, чѣмъ днемъ, а этакій мѣшокъ нешто пронесешь незамѣтно.

— Нѣтъ, сейчасъ куда способнѣе, чѣмъ ночью,—облегченно вздыхая, рѣшаетъ Бабай, чувствуя, что опасность миновала. — Теперь ужъ Воробей не воротитъ,—думаетъ онъ.

— Эй, Бабай, вернись ка назадъ, чертова кукла,—доносится въ это время до его ушей.

Бабая такъ всего и затрясло.

„Вернуться или нѣтъ, — думаетъ Бабай, все еще шагая впередъ,—нѣтъ, не вернусь... была не была, пускай догоняетъ, ужъ коли такъ“...

— Вернись, ты, чо-ортъ!.. Не то рыло набью тебѣ, дьяволъ лупоглазый,—надрывается издали Воробей.

„Кричи, сколько влѣзетъ тебѣ, — думаетъ, между тѣмъ, Бабай, продолжая все еще двигаться впередъ,—не вернусь, догоняй, собака проклятая, гяуръ косоротый“...

— Бабай Иванычъ!—неожиданно раздается въ этотъ моментъ надъ головой Бабая раскатистый хохотъ рыжебородаго русскаго мужика, ѣдущаго на телѣгѣ; онъ круто завернулъ лошадей въ переулокъ налѣво и остановился

передъ самымъ носомъ Бабая, загородивъ ему дорогу.

— Мое почтеньице, Бабай Иванычъ! Куда спѣшить изволите, язви вашу душу? Вонъ, кажись, Воробей васъ на стаканъ щеколада проситъ пожаловать къ нему; ишь, ручкой машетъ!.. Али неспособно вамъ? Вы не при паратѣ, я вижу, да и съ ношей, надо быть, не подходячей для того, чтобы у Воробья щеколады распивать... Эхъ, братъ Бабай, пропалъ ты... Сюда с...чь бѣжитъ, заберетъ онъ тебя сейчасъ...

— Дэлай мыластъ, забырай твоямъ моямъ,— восклицаетъ Бабай, тревожно оглядываясь назадъ на Воробья, а тотъ уже близко отъ него.

— Воротись, с...нъ с...ъ!—кричитъ Воробей Бабаю, потрясая кулакомъ въ воздухѣ.

Но Бабай мгновенно бросаетъ свой мѣшокъ въ телѣгу и торопливо забирается на нее самъ.

— Визы, добрій человэкъ!— убѣдительно проситъ онъ мужика.

Тотъ, ядовито улыбаясь, смотритъ поочередно то на Бабая, то на приближающагося Воробья и, наконецъ, обращаясь къ Бабаю, говоритъ ему;

— Вызволю твою душу басурманскую, только, помни, съ уговоромъ: одну вещь изъ мѣшка любую себѣ задаромъ возьму. Коли согласенъ, такъ сказывай, а нѣтъ, такъ слѣзай къ чорту.

— Моямъ согласинъ!.. визы, добрій человэкъ!—взволнованно молитъ Бабай.

— Э! чортъ... и по-нашему разомъ научился!—хитро подмигивая глазомъ, хохочетъ мужикъ,—ну, ужъ счастливъ твой Богъ, что я тебѣ подвернулся, да что Воробей меня не запримѣтилъ, а то бы плохо дѣло твое было.

— Я вамъ, с...ны с.....ы, обоимъ ребра изломаю!.. Стой, мерзавцы!—бросаясь со всѣхъ ногъ къ телѣгѣ, кричитъ между тѣмъ Воробей.

Но въ этотъ моментъ мужикъ ударяетъ по лошадямъ разъ, другой, третій, и онѣ, какъ бѣшеныя, подхватываютъ телѣгу, и несутся впередъ, оставляя за собой густыя облака золотисто-молочной пыли. Воробей изчезаетъ изъ глазъ Бабая, и старикъ радостно снимаетъ шапку, утираетъ рукавомъ выступившій на лбу потъ и говоритъ взволнованнымъ голосомъ:

— Спасыба, добрій человэкъ!

Телѣга мягко и быстро катится по ровной немощеной дорогѣ, слегка подпрыгивая только изрѣдка на камняхъ, попадающихъ подъ колеса; а издали, за клубами пыли, слышится ругань Воробья, крикъ „держи его“ и тревожный свистокъ.

— Кричи, свисти! Удержалъ, какъ-бы не такъ, язви твою душу!—хохоча, еле выговариваетъ мужикъ, хладнокровно постегивая лошадей. Онѣ бойко бѣгутъ впередъ и впе-

редъ; крики людей становятся, все слабѣй и слабѣй и, наконецъ, совсѣмъ утихаютъ вдали.

— Поди еще погоню устроитъ, собачій сынъ,—говоритъ мужикъ,—надо утекать,—и онъ снова подгоняетъ лошадокъ.

Минуты черезъ три ѣзды ихъ телѣга достигла конца улицы, тутъ онъ повернулъ лошадей направо и поѣхалъ задами около огородовъ, а еще минутъ черезъ пять снова свернулъ на дорогу, ведущую въ ту же П... скую слободку и въѣхалъ на ея большую улицу.

У третьяго дома съ конца слободки, съ правой стороны, на пригоркѣ, онъ остановилъ лошадей, отперъ ворота и ввелъ во дворъ лошадей подъ уздцы.

— Ну вылѣзай, Бабай Иванычъ! Милости просимъ, будь гостемъ,—весело заговорилъ тутъ мужикъ, косясь на мѣшокъ Бабая.

Но въ это время Бабай разразился цѣлымъ потокомъ отборной площадной ругани, и рука его стала искать чего-то около пряжки кушака.

— Да будетъ тебѣ, дьяволъ лупоглазый!—покатываясь отъ хохота и хватаясь за бока, стоналъ, слушая его, мужикъ,—будетъ тебѣ, иди въ хату, чичасъ чайку изопьемъ малость... Въ жару, братъ, чай первое дѣло... Ну идемъ, братъ, я мѣшокъ съ собой прихвачу въ горницу,—съ этими словами онъ взвалилъ мѣшокъ себѣ на плечи и пошелъ впереди Бабая къ крыльцу.

— Эй, Настя, убери-ко-ся лошадокъ поскорѣй на мѣсто,—крикнулъ онъ на ходу здоровой краснощекой бабенкѣ, развѣшивавшей на концѣ двора для просушки бѣлье,—только мотри, скоро надо!—многозначительно прибавилъ онъ и съ этими словами вошелъ вмѣстѣ съ Бабаемъ въ избу.

— Ну, братъ Бабай, чичасъ и чайку напьемся значитъ,—ставя мѣшокъ въ уголъ, говоритъ хозяинъ.

— Не будетъ маямъ,—глядя какъ-то въ сторону, угрюмо отвѣчаетъ Бабай, подходя къ своему мѣшку и кладя на него свою руку.

— Не будешь, ну, и не надо, какъ хошь... А только куда жъ это ты собираешься?—удивленно спрашиваетъ онъ Бабая, готоваго уже взвалить мѣшокъ за спину,—а уговоръ то что-же, забылъ что-ли?

Бабай дѣлаетъ идольское лицо; губа его отвисаетъ, глаза дѣлаются круглыми и, махая передъ своимъ лицомъ рукой, онъ говоритъ монотоннымъ голосомъ: „нэ понымай!“..

— Ага!—не понимай теперь!.. Такъ я жъ тебѣ, старой собакѣ, свиньѣ нехрещеной, все нюхало твое разворочу, коли ежели ты еще слово скажешь мнѣ такое... Я те покажу не понимай!.. Ты, братъ, узнаешь, какъ съ честными людьми дѣло имѣть!.. Я не татарская лопатка, я те научу, свиное рыло твое... Давай сейчасъ мнѣ сюда мѣшокъ свой, а нѣтъ, такъ такого раза дамъ тебѣ, что изъ сапоговъ выскочишь... слышишь, говорятъ тебѣ?—

и, потерявъ терпѣніе, хозяинъ со всей силой рванулъ мѣшокъ къ себѣ и тотчасъ сталъ его развязывать.

Бабай понималъ, что настало время расплаты съ нимъ, что этого уже никакъ теперь не избѣжать, и ему до боли стало жаль своихъ вещей; онъ постарался придать своему лицу самое глупое выраженіе, удивленно отступилъ шагъ назадъ, всплеснулъ руками и еще разъ повторилъ: „нэ понымай маямъ!“...

— Ну, понимай, не понимай твоямъ, мнѣ, братъ, ништо... наплевалъ бы я тебѣ въ харю... я, братъ, все единственно свое-то возьму,— и съ этими словами онъ вывалилъ всѣ вещи изъ мѣшка на полъ и сталъ ихъ разсматривать.

Тутъ были исключительно принадлежности мужского костюма; вещей было много: двѣ почти совсѣмъ новенькія пиджачныя тройки, одна черная, другая песочнаго цвѣта, пара штиблетъ, одни высокіе лакированные сапоги, штукъ десять разноцвѣтныхъ верхнихъ рубахъ, двѣ отдѣльныя черныя жилетки и много нижняго бѣлья.

У рыжаго мужика при видѣ этихъ вещей даже глаза разгорѣлись; онъ лукаво покосился на Бабая, опять порылся въ вещахъ немного и, наконецъ, отложивъ въ сторону пиджачную тройку песочнаго цвѣта, сталъ укладывать вещи обратно въ мѣшокъ.

— Ну, Бабай Ивановичъ, мнѣ въ самый

разъ придется эфта троечка, — сказалъ онъ, завязывая мѣшокъ и передавая его Бабаю.

— Двынадцать рублэй,—проговорилъ Бабай, прикидываясь ничего не понимающимъ и тыкая пальцемъ по направленію пиджачной тройки.

— Двѣнадцать рублей, стерва?.. А, во! этого нюхалъ?—мужикъ поднесъ къ самому носу Бабая огромный кулакъ.

— Ныкакъ ныльзя мэнше... маямъ сама давалъ дэсятъ, добрій человэкъ!..

— А уговоръ-то что жъ? Гдѣ же слово твое, свиное ты ухо, немытая харя твоя?.. Самъ же ты сказывалъ—даромъ отдашь любую вещь на выборъ... Такъ какъ же таперичка будетъ?..

— Даромъ?!—удивленно переспросилъ Бабай,—добрій человэкъ, твоямъ моямъ ны хорошо шуты...

— Э! да чего тамъ, я-то, дуракъ, съ тобой зубы точу; собирай пожитки, да проваливай по добру по здорову... энта, братъ, спинжачная тройка по самому настоящинскому закону таперичка моя!.. Ну, уходи, братъ, а то еще, неровенъ часъ, придетъ кто, да застанетъ тебя здѣсь съ мѣшкомъ... Проваливай, проваливай; мнѣ, братъ, за тебя подъ отвѣтъ попадать не очень-то охота...

— Давай дэнги, добрій человэкъ!—моргая глазами, говоритъ Бабай, протягивая къ мужику руку.

— Каки таки деньги, безсовѣстная рожа твоя?..

— Двынадцать рублэй!..

— Двѣнадцать рублей?.. А, во! получай свои деньги!.. во, на, возьми! — и съ этими словами разозлившійся мужикъ сталъ угощать его пинками, выпроваживая за двери на дворъ.

Бабай былъ чуть ли не втрое слабѣе своего „спасителя“, драться онъ съ нимъ не могъ, кричать о помощи также не могъ, потому что за спиной у него были краденыя вещи, добрымъ словомъ, онъ зналъ, мужика тоже не уговоришь... что было дѣлать? Поневолѣ пришлось покориться судьбѣ, и Бабай уже молча, съ накипѣвшими на глазахъ слезами вышелъ за ворота на улицу. При одномъ воспоминаніи о песочной пиджачной тройкѣ сердце его облилось кровью; онъ злобно стиснулъ свои зубы и поклялся въ душѣ сегодня же отомстить рыжему мужику.

Пройдя дома два по направленію къ морю, Бабай оглянулся во всѣ стороны и, видя, что за нимъ никто не смотритъ, вошелъ во дворъ низенькаго дома, по одну сторону съ домомъ рыжаго мужика.

— А, Бабай, тащи сюда!—встрѣтилъ его въ сѣняхъ рослый сѣдоватый мужикъ,—усе принесъ?

— Тройка пысочна нэту,—отвѣтилъ Бабай и вслѣдъ за этимъ, какъ умѣлъ, при по-

мощи мимики, сталъ объяснять ему постигшее его горе.

Хозяинъ понялъ послѣ долгихъ усилій, что тройку у Бабая отнялъ рыжій мужикъ Лопухинъ, и тревожно спросилъ:

— А не выдастъ тебя то никому?..

Бабай его не понялъ, но судя по тому, что Бабай совсѣмъ не тревожился о томъ, чтобы поскорѣй спрятать куда-нибудь вещи, хозяинъ совершенно успокоился и разомъ повеселѣлъ.

Онъ отсчиталъ Бабаю условленную сумму за товаръ, потомъ взялъ у него мѣшокъ, развязалъ его и высыпалъ всѣ вещи, хорошо извѣстныя ему уже ранѣе, въ ящикъ, который сейчасъ же спряталъ въ подполье.

Бабай всталъ, что-то покачалъ головой и вдругъ, увидавъ на полу стружку, поднялъ ее и, показывая хозяину на мѣшокъ, сталъ мимикой объяснять ему, что надо наполнить его стружками.

Хозяинъ посмотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ, а потомъ вдругъ сообразилъ что-то, взялъ у него мѣшокъ и хохоча пошелъ набивать его; на дворѣ у него было много стружекъ, и онъ живо наполнилъ его настолько же, насколько передъ этимъ онъ былъ наполненъ вещами.

Бабай остался очень довольнымъ, взглянувъ на мѣшокъ, и, снова взваливъ его за спину, онъ добродушно протянулъ хозяину руку и вышелъ изъ его избы на улицу.

Подходя къ дому Ѳаддеева, у котораго были украдены только что сбытыя имъ вещи, Бабай на минуту остановился передъ сынишкой Ѳаддеева—мальчикомъ лѣтъ десяти и сказалъ ему:

— Рыжій варуй твоямъ отцы пинжакамъ, брюкамъ, жылэткамъ... писочна цвѣтъ...

Сказавъ это, Бабай какъ ни въ чемъ не бывало отправился дальше по направленію къ морю, а мальчишка, какъ угорѣлый, влетѣлъ въ избу отца и заоралъ не своимъ голосомъ:

— Тятенька, а тятенька, тебя, сказываютъ, обокралъ Лопухинъ!..

Минутъ черезъ десять ходьбы, еле переставляя ноги, Бабай былъ опять у дома Воробья, но на этотъ разъ на душѣ его было спокойно и ему даже весело было и пріятно видѣть, что Воробей его снова выслѣживаетъ, притаившись за окномъ.

— Эй, Бабай, поди-ка сюда! вернись, чо-ортъ! — донеслось снова до Бабая, когда онъ уже опять отошелъ на порядочное разстояніе отъ дома Воробья, но Бабай попрежнему не повернулся назадъ, продолжая итти своей дорогой.

Онъ уже потерялъ надежду, что Воробей его вернетъ, и досадовалъ на себя, что онъ не вернулся самъ, какъ вдругъ въ это время кто-то съ силой рванулъ его за мѣшокъ назадъ, и старый Бабай растянулся во весь ростъ, потерявъ равновѣсіе.

Передъ Бабаемъ былъ Воробей.

— Что стерва, язви твою душу, вещи краденыя,—зашипѣлъ онъ, ощупывая мѣшокъ, и сталъ торопливо его развязывать.

— Ахъ, ты, чортъ лупоглазый, обмануть задумалъ меня!.. Ха-ха-ха!.. стружками закрасилъ сверху... нѣтъ, братъ, врешь... Воробья на мякинѣ не обманешь!—И съ этими словами онъ взялъ мѣшокъ за нижніе концы и перевернулъ его; передъ нимъ высыпалась на дорогу цѣлая куча стружекъ.

— Ахъ ты, свиное рыло!.. вѣдь и впрямь стружки... Что жъ ты будешь дѣлать съ ими?—хохоча во всю глотку спрашивалъ Воробей растеряннаго, моргающаго глазами Бабая.

— Нэ понымай!—отвѣчаетъ Бабай монотоннымъ голосомъ.

— Ну, собирай, дубовая голова твоя!—хохочетъ Воробей и, пнувъ его слегка ногой, лѣниво направляется къ своему дому.

Бабай собралъ снова всѣ стружки въ мѣшокъ и опять медленной походкой направился дальше.

Теперь на душѣ у него было совсѣмъ хорошо. „Въ случаѣ чего, такъ и самъ надзиратель Воробей подтвердитъ, что въ мѣшкѣ у меня были стружки, а рыжій не посмѣетъ признаться, что взялъ пиджачную тройку у меня, потому что тогда опять-таки Воробей сживетъ его со свѣта за то, что онъ увезъ меня тогда на своей телѣгѣ“,—думалъ Бабай.

Когда Бабай подходилъ уже къ самому своему дому, то его остановила старая баба Боровикова.

— Слыхалъ, Бабаюшка,—сказала она ему,— Лопухинъ-то, сказываютъ, съ поличнымъ попался, Хваддеева обокралъ...

— Слыхай, слыхай, маямъ, — равнодушно отвѣтилъ ей на это старый Бабай Ивановичъ.

Губернскій секретарь Пупковъ.

Писарь полицейскаго управленія Пупковъ Павелъ—горькій пьяница. Это высокаго роста, широкоплечій мужчина лѣтъ 47—48; его нѣсколько припухшее, испещренное мелкими морщинками лицо, украшено богатѣйшей темно-русой окладистой бородой, такими же усами; и волосы на головѣ его слегка вьются, разсыпаясь въ живописномъ безпорядкѣ вокругъ благородной, но всегда грязной лысины на темени. Глаза у него какіе-то стеклянные, какъ бы выцвѣтшіе, носъ крупный, синевато-багровый, широкій и мясистый; онъ производитъ на человѣка такое впечатлѣніе, что такъ и кажется, что вотъ-вотъ этотъ носъ совсѣмъ расплывется по щекамъ своего обладателя; губы у Пупкова блѣдныя, но большія и толстыя; когда онъ разговариваетъ, то обнаруживаетъ рядъ темно-коричневыхъ испорченныхъ зубовъ, или вѣрнѣе корешковъ, сильно напоминающихъ погорѣлый частоколъ; брови у него широкія, темныя, но не густыя. Вообще вся физіономія Пупкова необыкновенно подвижная и плутоватая; онъ постоянно

какъ-то странно хитро и въ то же время ехидно подмигиваетъ правымъ глазомъ, такъ что человѣку его незнающему, при встрѣчѣ съ нимъ, станетъ, пожалуй, конфузно отъ его взглядовъ, а то такъ и прямо обидно.

Когда Пупковъ ораторствуетъ, а онъ очень любитъ ораторствовать послѣ двухъ - трехъ „баночекъ“ мархилевки, то сопровождаетъ свою рѣчь необыкновенно выразительной мимикой лица; при этомъ главный трудъ выпадаетъ на долю его бровей,—бровями онъ выдѣлываетъ, положительно, фокусы,—онъ то вскидываетъ ихъ вверхъ почти до самыхъ волосъ головы, то хмуро опускаетъ ихъ чуть не до нижнихъ вѣкъ, а то вдругъ одну бровь нахмуритъ, а другую вскинетъ вверхъ.

Отъ каторжныхъ работъ Пупковъ освободился лѣтъ пятнадцать тому назадъ, то-есть уже около трехъ лѣтъ имѣетъ „первобытныя права“ и носитъ званіе „крестьянина свободнаго состоянія“. Званіе свое онъ не только уважаетъ, но и гордится имъ, такъ какъ оно даетъ ему на Сахалинѣ нѣкоторыя льготы. Случается, напримѣръ, хотя и очень рѣдко, что въ одинъ изъ понедѣльниковъ чортъ заноситъ Пупкова въ полицію на занятія; такіе понедѣльники онъ называетъ шальными,—потому, „какъ натурально эсти дни дадены русскому человѣку отъ Бога вовсе не для работы, а въ родѣ какъ бы для сосредоточенія мозговъ въ одной точкѣ, чтобы значится на слободѣ можно было ему подводить

баланецъ своихъ добродѣтелей и грѣховъ за всю истекшую недѣлю, то-есть по недѣлѣ: отсюда и названіе самаго дня — понедѣльникъ",—обыкновенно объясняетъ онъ своимъ товарищамъ - писарямъ значеніе этого дня, высоко вскидывая брови и многозначительно подымая вверхъ указательный палецъ лѣвой руки.

Говоритъ Пупковъ обыкновенно не торопясь, мягкимъ и сочнымъ баритономъ, но, произнося рѣчь, можетъ понижать голосъ до густого бархатистаго баса и повышать до верхнихъ нотъ чистѣйшаго сопрано. Ведя рѣчь о понедѣльникѣ, Пупковъ особенно воодушевляется и можетъ говорить очень много и долго вообще „хвалебное слово понедѣльнику". Это его конекъ. Но къ его несчастью, когда онъ взбирается въ канцеляріи на своего конька, то изъ присутствія съ пѣной у рта, сжимая кулаки, вылетаетъ страшный въ гнѣвѣ своемъ, всесильный чиновникъ Мокрохвостовъ, и, не давая ему окончить „хвалебнаго слова", отправляетъ его „до вытрезвленія" въ карцеръ ссыльно-каторжной ...овской тюрьмы.

Здѣсь-то и сказываются главнымъ образомъ льготы „присвоенныя состоянію и званію" крестьянина свободнаго состоянія на Сахалинѣ. Пупковъ, ухмыляясь въ свою широкую бороду, весело, со спокойной душой идетъ вслѣдъ за надзирателемъ почивать въ карецъ, потому, какъ держать его тамъ,— онъ знаетъ,—какъ другихъ прочихъ по пяти,

по шести денъ, никто никакой полной правы не имѣетъ.

— Я самъ себѣ баринъ, — высоко подымая голову, говоритъ тогда надзирателю Пупковъ, слегка опираясь на его руку и выписывая по мостовой ногами замысловатые кренделя.

— Баринъ!... а на недѣлю въ карецъ приказано упрятать,—поддразниваетъ его надзиратель.

— Меня?... на недѣлю?—возмущается Пупковъ,—кто... кто... сказалъ тебѣ?...

— Кто сказалъ!... — вѣстимо кто — господинъ Мокрохвостовъ,—смѣясь отвѣчаетъ надзиратель.

— Ахъ онъ с...а подлая! — разражается бранью Пупковъ,—да скорѣй у него подлеца хвостъ обсохнетъ, чѣмъ меня, Пупкова гаспа-дина, на недѣлю въ карецъ упрячутъ. Наплевалъ бы я ему въ харю собакѣ мокрохвостой... Язви его въ душу,—вопитъ онъ,— я самъ бывшій чиновникъ!... понимаешь ты, добрый человѣкъ? бывшій чиновникъ Московскаго окружнаго суда, контрольной палаты, губернскій секретарь и кавалеръ многихъ, многихъ заслуженныхъ и почетныхъ орденовъ и знаковъ а-тли-чі-я—Палъ Палычъ Пупковъ, га-спа-динъ,—ожесточенно ударяя себя кулакомъ въ грудь, отчеканиваетъ Пупковъ каждое слово.

— Ну, ладно, ладно, иди! — смѣется надзи-

ратель, поддерживая готоваго упасть Палъ Палыча.

Пупковъ идетъ, но все еще не можетъ успокоиться и ожесточенно доказываетъ, что онъ самъ себѣ баринъ; даже вверженный въ темный карцеръ и предоставленный самому себѣ, онъ долго не можетъ забыться сномъ и то понижая, то повышая голосъ, произноситъ громогласную рѣчь въ защиту этой неоспоримой истины.

И, дѣйствительно, къ концу дня, какъ только начинаетъ вечерѣть, Пупкова освобождаютъ изъ-подъ ареста и онъ, довольный, выходитъ за ворота тюрьмы.

„Куда бы стрѣльнуть?“ заложивъ руки въ разорванные карманы истлѣвшаго, дырявагo своего рыжаго деми-сезона, думаетъ тогда Пупковъ, разсѣянно глядя на дорогу и перебираетъ въ умѣ фамиліи всѣхъ ссыльныхъ, собирающихся выѣзжать на материкъ, пока не вспомнитъ между ними такого, который долженъ въ казну или въ фондъ за инструментъ, лошадь, корову или еще за что-нибудь въ родѣ этого. Тогда лицо Павла Павловича разомъ какъ-то засіяетъ все и, поднимая горделиво кверху голову, онъ степенно направляется въ домъ этого ссыльнаго.

— Здравствуй, Акимъ Петровичъ или Иванъ Иванычъ,—обращаясь къ хозяину говоритъ Пупковъ, переступая черезъ порогъ его дома,— я, братъ, къ тебѣ по дѣлу, касательно твоего выѣзда на материкъ...

Акимъ Петровичъ или Иванъ Ивановичъ при этихъ словахъ разомъ весь превращается въ слухъ; на лицѣ его появляется испугъ или тревога, а сердце такъ и заколотится въ груди.

— Входите, входите, Палъ Палычъ,—обыкновенно отвѣчаетъ хозяинъ,—очень рады будемъ дорогому гостю,—а самъ думаетъ: „не случилось ли чего, что этотъ мошенникъ ко мнѣ ввалился“...

Пупковъ, не снимая пальто, такъ какъ подъ нимъ не было больше никакой одежды, важно разсаживается на первый попавшійся стулъ и, загадочно глядя въ лицо хозяина и подмигивая ему правымъ глазомъ, съ разстановкой отчеканиваетъ:

— Такъ что тебѣ, братъ, выѣзда на материкъ не предвидится...

Хозяинъ растерянно глядитъ на него и молча мигаетъ глазами.

— Оно, собственно, можно бы устроить, но только это ужъ будетъ зависѣтъ отъ одного меня,—продолжаетъ между тѣмъ Пупковъ, не сводя съ хозяина пытливаго взгляда.

— Благодѣтель, вызволи меня, окаяннаго!.. Вѣкъ буду Бога молить... Пропаду я здѣсь и съ женой и съ ребятишками! — въ отчаяніи восклицаетъ хозяинъ.

Тогда Пупковъ отводитъ отъ него глаза, берется обѣими руками за голову и, подпираясь локтями въ колѣнки, томительно долго молчитъ какъ бы въ глубокомъ раздумьи.

— Да кака бѣда стряслася? — пристаетъ къ нему хозяинъ, повторяя свой вопросъ чуть не десятый разъ.

— Какая бѣда? А вотъ какая, глупая голова твоя,—отвѣчаетъ Пупковъ, неожиданно выпрямляясь снова: — сколько у тебя всего числится долга?

— Тридцать два рубля сорокъ восемь копеекъ, Павелъ Павловичъ,—безъ запинки отвѣчаетъ тотъ.

— А уплатить ихъ можешь?

— Да что дѣлать, надоть вѣдь платить-то,—небось, нашего брата на материкъ съ долгомъ не отпущаютъ... Нешто развѣ кто для округа на бревнахъ разстарается али какъ иначе потрафитъ ему,—ну, тогда другой ему фартъ будетъ, и съ двумя сотнями долга уѣдетъ...

— Да это-то, братъ, такъ-то все такъ, да не къ дѣлу у насъ съ тобой выходитъ,— перебиваетъ его Пупковъ.—Ты скажи-ка мнѣ лучше: можешь ли ты уплатить свой долгъ?

— Трудненько... да, что подѣлаешь, уплачу.

— Ну, а коли ежели у тебя долга казнѣ не тридцать два рубля, а триста два рубля?— подмигивая глазомъ, задаетъ хозяину вопросъ Павелъ Павловичъ.

— Что ты, что ты, — отмахивается тотъ обѣими руками,—нешто можно эфто!..

— Да то-то и дѣло, что по булгактерскимъ книгамъ за тобой триста два рубля числится,— ошеломляетъ хозяина Пупковъ.

— Да ни въ жизнь не бралъ!—широко крестясь на икону, клянется хозяинъ.

— Бралъ, не бралъ, а дѣло дрянь выходитъ: заставятъ платить всѣ триста два, потому какъ на тебя они въ книгу вписаны,—высоко подымая брови, безапелляціонно рѣшаетъ Пупковъ и, немного помолчавъ, прибавляетъ:—вотъ, братъ, дѣло какое!

— Да какъ же это?—растерянно роняетъ хозяинъ, готовый заплакать.

— А ужъ это, братъ, дѣло не мое, потому какъ не я писалъ,—не знаю,—отвѣчаетъ Пупковъ.

— Палъ Палычъ, какъ же горю пособить?—доведенный до отчаянія, восклицаетъ хозяинъ.—Черезъ пять денъ пароходъ нашъ отходитъ... Ужъ я и скотинку и домъ,—все продалъ... Какъ же таперича я буду здѣсь? Нельзя ли ошибку выправить въ книгѣ?

— Черезъ пять денъ...—какъ бы въ раздумьи повторяетъ Пупковъ.—Нѣтъ, братъ, не выѣхать тебѣ... ничего не выйдетъ съ эстаго; первое дѣло, коли ежели ошибку выправлять, такъ на эфто самое годъ время уйдетъ, а коли ежели не выправлять, такъ всѣ триста два цѣлковыхъ надоть.

— Такъ какъ же быть, благодѣтель? Научи меня, дурака!—воплемъ вырывается у хозяина.

— Эхъ, братъ, здѣсь надо крѣпко подумать,—отвѣчаетъ Пупковъ,—да и то нельзя сейчасъ, потому какъ безъ графинчика мар-

хиля въ порядочную голову и думка не полѣзетъ.

— Вызволи, отецъ родной, сейчасъ все будетъ,—суетится около Пупкова хозяинъ. — Да сдѣньте пальту свою: жарко такъ въ хатѣ-то сидѣть вамъ будетъ.

— Ничего, ничего, братъ, паръ костей не ломитъ,—отвѣчаетъ Пупковъ:—я раздѣваться не буду, потому какъ сейчасъ я не при паратѣ,—въ домашнемъ костюмѣ вышелъ прогуляться... и не собирался къ тебѣ, а шелъ мимо да и вспомнилъ про добраго человѣка: дай, думаю, упрежу его,—ну и зашелъ вотъ...

— Эхъ, дай Богъ тебѣ здоровья, Палъ Палычъ!—отзывается изъ сѣней хозяинъ, постукивая бутылками.—Вызволи какъ-нибудь, благодѣтель!

— Ладно, ладно, не горюй... Палъ Палычъ Пупковъ—да не выручитъ изъ бѣды, думаешь? Эхъ, братъ, плохо ты меня знаешь, стало-быть! Ужъ не я ли знаю всѣ фунты и походы! Безъ меня вѣдь вся полиція пропадетъ здѣсь; волками завоютъ начальники, черти... Что ты думаешь, шутить я съ ними, что ли, буду? Захочу, выпустятъ тебя—и шабашъ, хоть они всѣ тутъ лопни, чтобы задержать тебя,—ничего не подѣлаютъ. Не даромъ, братъ, я науки разныя проходилъ, со всѣми ими въ плипорціи ознакомленъ. Что ни спроси, все знаю: и звѣзды на небѣ укажу тебѣ, какъ хошь, и баланецъ въ книжку подведу, какъ удобнѣе для меня покажется. Я, братъ, самъ—

Ворота Александровской тюрьмы на Сахалинѣ.

бывшій чиновникъ московскаго окружнаго суда контрольной палаты губернскій секретарь и кавалеръ многихъ заслуженныхъ и почетныхъ орденовъ, знаковъ отличія и лентъ. Ужъ на что выжиги наши Мокрохвостовъ да Дрязгинъ, а и то вѣдь меня раскусить не могутъ, какъ ни ловятъ, а все не даюсь имъ въ руки да и шабашъ. А почему? Потому— образованъ я шибко, паря; самъ понаторѣлъ на службѣ не хуже ихняго да не хуже ихняго и концы въ воду опущать умѣю!.. Такъ-то, братъ!.. Одначе соловья баснями не кормятъ... Будемъ здравствовать, — говоритъ Пупковъ, принимаясь за появившуюся на столѣ бутылку спирта...—У меня, паря, послѣ пятаго-шестого стакана разомъ въ головѣ проясняетъ, и ужъ такія мысли тогда въ ей бродить зачнутъ завсегда, что и-и-и... Хошь въ американскій парламентъ али въ конституцію сажай меня, такъ и тамъ такую проекту отмочу, что и у нѣмцевъ самихъ (ужъ на что народъ образованный да на разныя выдумки хитрый!), а и у тѣхъ глаза на лобъ вылѣзутъ... Ей-богу, правда!..

И Палъ Палычъ Пупковъ пьетъ стаканъ за стаканомъ.

Послѣ пятаго или шестого стакана у него въ головѣ, повидимому, дѣйствительно „прояснетъ“, но онъ уже плохо владѣетъ языкомъ, вслѣдствіе чего слушать его становится чрезвычайно трудно.

— Надумалъ я, паря,—ударяя тяжеловѣс-

ной рукой хозяина по плечу, говоритъ онъ,— вотъ какъ мы съ тобой сдѣлаемся... Отваливай мнѣ сорокъ цѣлкачей, а я тебѣ справку, значится, сварганю... Такъ молъ и такъ, на крестьянинѣ изъ ссыльныхъ, поименованномъ въ настоящемъ его прошеніи, долговъ не числится... Понялъ, паря?

— Понять-то понялъ, Палъ Палычъ... да только какъ же эсто такъ, коли ежели на мнѣ долга казнѣ тридцать два рубля съ копейками, а вы съ меня сорокъ хотите...

— И не торгуйся,—многозначительно подымая лѣвую бровь кверху, а правую опуская до нижняго вѣка, восклицаетъ Пупковъ.— Пойми, добрый человѣкъ, мнѣ самому дороже стоить дѣло будетъ... Такъ-то, братецъ.

Но хозяинъ не сдается разомъ на сорокъ,— авось скинетъ рублевъ пятнадцать, думаетъ онъ,—и предлагаетъ ему взять двадцать пять цѣлковыхъ:—Бери четвертную, благодѣтель!

— Четвертную?..

— Ну, да, четвертную! — волнуясь, упрашиваетъ его хозяинъ.

— Ну, куда ни шло... рискну,—подумавъ съ минуту, отвѣчаетъ Пупковъ:— пользуйся случаемъ... Пьянъ здорово, потому только и соглашуюсь на эстакую убыточную ка-мерцію... Давай деньги сюда... А за справкой приходи въ полицію послѣзавтра... да ни къ кому другому, окромѣ меня, не суйся... потому какъ ежели дѣло свое можешь испортить съ другими прочими окромя... Могутъ справку

тебѣ на весь долгъ твой, казнѣ полностью въ прошеніе записать... Надо-ть спервоначала мнѣ дѣломъ твоимъ заняться да баланецъ въ книгахъ къ надлежащей точкѣ привести...

— А не окрутишь, Павелъ Палычъ?—спрашиваетъ хозяинъ Пупкова, дрожащей рукой передавая ему пачку замасленныхъ рублевокъ.

— Ну, вотъ, одурѣлъ человѣкъ! Стану я пачкаться изъ-за такихъ грошей,—тономъ, не допускающимъ возраженій, говоритъ Пупковъ, пряча деньги во внутренній боковой карманъ своего деми-сезона.—Слава Богу, и не такія деньги имѣлъ... Довѣряли и тысячи мнѣ, такъ и то чести своей не пачкалъ... Будь покоенъ, паря: губернскій секретарь Палъ Палычъ Пупковъ на подлое дѣло никогда отродясь не имѣлъ повадки... Совѣсть моя, что у робенка махонькаго... Во! весь передъ тобой, какъ на ладонкѣ, бери меня руками да и все тутъ... Изъ-за эстой простоты своей и въ каторгу пошелъ... Э-эхъ, ни за что пропалъ, паря, я... видитъ Богъ, ни за что,—икая говоритъ Пупковъ, придавая лицу своему плаксивый видъ и утирая рукавомъ совершенно сухіе глаза.

Онъ получилъ отъ своего кліента все, что могъ—и здоровую выпивку, и деньги за хлопоты по составленію справки о неимѣніи на этомъ кліентѣ казенныхъ долговъ,—и потому торопится уже теперь уйти отъ него, какъ отъ человѣка, для него не представляющаго болѣе никакой выгоды. Пошатываясь, встаетъ

Пупковъ изъ-за стола и, протягивая хозяину руку, говоритъ ему заплетающимся языкомъ:

— Послѣзавтра, паря... приха-а-ди въ па-ли-цію... Богъ съ тобой, заплачу за тебя своими, что не хватитъ; только мотри, никому, а ни-ни!.. ни слова!.. Слышь, паря? А то разорятъ меня... Всѣ ко мнѣ полѣзутъ... Тогда плати долги въ казну... Я человѣкъ добрѣйшей души и отказать въ помочи не умѣю... ну, одно слово, разоренье полное тогда будетъ для меня... Мотри, не болтай зря... А во мнѣ не сумлѣвайся!.. Много довольны на угощеньицѣ... Спокойной ночи, паря!—и, еще разъ пожимая руку хозяина, невѣрными шагами, раскачиваясь на ходу всѣмъ туловищемъ, Пупковъ плетется въ сѣни, а тамъ съ помощью хлѣбосольнаго и простоватаго мужичка выбирается на улицу.

Спотыкаясь на каждомъ шагу и заплетаясь ногами, идетъ онъ вдоль заборовъ, самъ не зная куда.

На дворѣ совершенно темно. Ночь безлунная и все небо заволокло тучами, такъ что на немъ не видно ни единой звѣздочки.

Временами Пупковъ ненадолго останавливается и щупаетъ, блаженно улыбаясь, внутренній карманъ своего деми-сезона, какъ бы желая удостовѣриться въ томъ, что онъ дѣйствительно получилъ деньги и что это не сонъ и что, слѣдовательно, теперь ему обезпечены бутылокъ десять спирта. „Дай Богъ ему здоровья!—думаетъ онъ, вспоминая своего кліен-

та. — Другой бы не далъ двадцати пяти за эфтакій пустякъ... Что тамъ? — чуть ножомъ острымъ поцарапать да въ итогѣ поправку запузырилъ махонькую — и дѣло въ шляпѣ... Завтра справлюсь... А ужъ и загуляю на эфтой недѣлѣ!..“

— Эй, что тамъ за бродяга?—окликаетъ Пупкова въ темнотѣ чей-то голосъ.

— Не бродяга, а Пупковъ га-спа-динъ!— зычнымъ голосомъ выкрикиваетъ онъ, занося подкашивающуюся ногу впередъ, и вдругъ... проваливается въ глубокую канаву.

Дальше онъ уже ничего не видитъ и не слышитъ, такъ какъ тутъ же забывается богатырскимъ сномъ, оглашая на далекое разстояніе пустынную, ни однимъ фонаремъ не освѣщенную улицу протяжнымъ храпомъ и легкимъ посвистываніемъ носа.

Такъ проходитъ на Сахалинѣ жизнь Пупкова.

Лѣтъ восемь—девять тому назадъ Пупковъ, до той поры домовитый хозяинъ, вдругъ ни съ того ни съ сего началъ пить и, несмотря ни на просьбы, ни на слезы, ни на скандалы своей сожительницы, искренно любившей его, пить не переставалъ. Въ самый короткій срокъ онъ прожилъ всѣ имѣвшіяся у него наличныя сбереженія, а потомъ перешелъ и къ реализаціи сначала движимаго имущества, находящагося у него въ домѣ, а затѣмъ и недви-

жимаго. Реализируя недвижимость, онъ дѣйствовалъ очень энергично. Такъ, напримѣръ, когда случалось, что его сожительницы не было дома, то онъ ломалъ ея сундукъ и, вытащивъ изъ него все дочиста, несъ вещи къ ростовщикамъ, сбывая ихъ за гроши, или просто вымѣнивалъ на постоялыхъ дворахъ за спиртъ. Поступая такъ, Пупковъ обыкновенно утѣшалъ свою совѣсть вычитанной имъ когда-то изъ исторіи церкви фразой: „у первыхъ христіанъ все было общее". Этой же фразой онъ защищался и отъ сожительницы, укорявшей его за взломъ сундука. Когда отъ движимости у Пупкова осталось только одно воспоминаніе, то онъ крѣпко задумался надъ тѣмъ, что ему дѣлать: покупать ли новую движимость, или привести въ движимость недвижимое имущество, и по нѣкоторомъ размышленіи рѣшился на послѣднее. Въ нѣсколько дней обстроилъ онъ дѣльце съ продажей дома и земли и съ головокружительной быстротой пропилъ все до послѣдней копейки. Очутившись съ сожительницей безъ куска хлѣба на улицѣ, онъ опять крѣпко задумался, но думалъ опять-таки о томъ только, какъ бы ему раздобыть на выпивку, и тутъ его неожиданно осѣнила блестящая мысль... Ему пришла въ голову счастливая идея—продать свою сожительницу. Онъ пошелъ къ своему бывшему сосѣду, старому Алійкѣ, извѣстному всей шпанѣ за человѣка-звѣря и безжалостнаго ростовщика, и съ нимъ заключилъ торгъ

а вечеромъ въ тотъ же день отправился къ нему „въ гости“ со своей сожительницей. Уходя отъ татарина, Пупковъ уже не взялъ съ собой своей бабы и съ этого вечера такъ больше и не видалъ ея въ живыхъ. Черезъ два дня она повѣсилась, а на пятый день разлуки со своей бабой Пупковъ увидѣлъ ее въ гробу въ то время, когда, еле переставляя ноги, выходилъ „пьяненькій“ изъ тайнаго кабачка—постоялаго двора Стучалкина. Собственно говоря, онъ и тутъ не видалъ всего лица своей сожительницы, а замѣтилъ только изъ открытаго гроба одинъ ея носъ, и этотъ носъ показался ему очень знакомымъ. Онъ попробовалъ было вспомнить, гдѣ онъ видѣлъ этотъ носъ, но это ему не удалось, и, дойдя до своей завѣтной канавы, онъ, какъ мертвый, свалился въ нее и забылся богатырскимъ сномъ. Весь день и всю ночь, въ теченіе которыхъ онъ спалъ безпросыпно, ему все снился гробъ съ выглядывающимъ носомъ, и когда, наконецъ, Пупковъ проснулся, то, наскоро добѣжавъ до кабачка и спросивъ себѣ бутылку спирта, первымъ дѣломъ освѣдомился кого вчера хоронили. Кабатчикъ засмѣялся, глядя ему въ глаза, потомъ покачалъ головой и отвѣтилъ: „Али не знаешь? Твою же бабу, Палъ Палычъ!“ И только тутъ проснулась у Пупкова совѣсть; сердце у него сжалось, въ ушахъ загудѣло, а на глазахъ накипѣли двѣ едва замѣтныя слезинки. Ему стало жаль своей доброй покойной бабы, невыносимо жаль,—

ажъ самъ готовъ былъ въ петлю полѣзть! Но послѣ второго—третьяго стаканчика въ головѣ у него просвѣтлѣло и совѣсть его замолчала. Съ этихъ поръ спиртъ сталъ ему не менѣе нуженъ, чѣмъ воздухъ,—и безъ того и безъ другого онъ одинаково не могъ жить. Правда, черезъ годъ онъ совершенно успокоился душевно и даже не думалъ о своей бабѣ, но потребленіе спирта въ большомъ количествѣ вошло уже за это время у Пупкова въ закоренѣлую привычку, и онъ не могъ не пить.

Такимъ образомъ Пупковъ сдѣлался пьяницей.

Ежемѣсячно получаемое имъ за службу въ полиціи жалованье — пятнадцать рублей да доходъ отъ справокъ о долгахъ ссыльныхъ, выѣзжающихъ на материкъ,—рублей около 50—60, все это вмѣстѣ даетъ ему возможность пить каждый день. Ради выпивки Пупковъ ни передъ чѣмъ не задумается, и если бы онъ не служилъ въ полиціи, то, чтобы пить каждый день, пожалуй, рѣшился бы на разбой.

Какъ-то передъ отъѣздомъ моимъ съ Сахалина онъ зашелъ ко мнѣ на квартиру; по обыкновенію отъ него сильно пахло водкой.

— Уѣзжаете, ваше - скородіе? — какъ - то странно поводя плечами, спросилъ онъ меня.

— Да, братъ Пупковъ, уѣзжаю.

— Что же такъ мало послужили у насъ, ваше-скородіе?

— Что дѣлать, не могу больше, здоровье

не позволяетъ: доктора находятъ, что для меня вреденъ здѣшній климатъ.

— Гмъ!.. Тэкъ-съ, ваше-скородіе... Здѣсь ужъ всѣмъ хорошимъ господамъ климатъ вреденъ... Давно это у насъ такъ ведется... Рази только и могутъ такіе служить у насъ, какъ господинъ Мокрохвостовъ да Дрязгинъ, а тутъ баринъ добрый да коли за каторгу противъ ихъ пойдетъ, такъ и загрызутъ, какъ собаки... А жалѣетъ васъ, баринъ, шпана-то... „Не было у насъ еще такого секлетаря,—говорятъ про васъ,—да и не будетъ“...

— Да что тебѣ, Пупковъ, собственно надо отъ меня? Ты, навѣрно, ко мнѣ по дѣлу?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше-скородіе. Такъ только зашелъ—проститься съ вами, какъ со своимъ бывшимъ начальникомъ, пожелать вамъ всего хорошаго, счастливаго пути... Да, кстати, ваше высокоблагородіе, не прикажете ли сообщить вамъ какія-либо справочки изъ здѣшнихъ дѣлъ?.. Есть интересныя, ваше высокоблагородіе... такія свѣдѣнія имѣю, что а! (Тутъ Пупковъ подмигнулъ правымъ глазомъ и поцѣловалъ сжатые концы пальцевъ правой руки). Мокрохвостова, да Дрязгина, да еще... (тутъ онъ назвалъ мнѣ фамилію еще одного чиновника, которую сейчасъ я не могу вспомнить)—всѣхъ ихъ, ваше-скородіе, съ лишеніемъ правъ состоянія законопатить можете... Дѣльце здѣсь такое вышло въ родѣ какъ бы анжинерское... стройка казенныхъ...

— Да будетъ тебѣ, Пупковъ, я вовсе не

желаю знать этихъ пакостей, — не сдерживаюсь я.

Пупковъ замолчалъ. Онъ какъ-то странно переминается съ ноги на ногу, ехидно подмигивая мнѣ глазомъ, и вдругъ, точно собравшись съ силами, говоритъ густымъ бархатистымъ басомъ:

— На чаекъ бы съ вашей милости! Выпилъ бы за ваше здоровье...

Я смѣюсь, вынимаю изъ кармана кошелекъ и даю ему немного мелочи. Пупковъ слегка подбрасываетъ деньги на своей широкой ладони и говоритъ мнѣ все тѣмъ же голосомъ и такъ же подмигивая:

— Добавили бы, ваше-скородіе, четвертачекъ еще... въ аккуратъ бы на бутылку очищенной вышло... Сейчасъ даже самъ господинъ Дрязгинъ и то дешевле рубля за бутылку не торгуетъ, потому какъ запасы у него съ „Ярославля“ кончаются, а изъ фонда брать-то ему на книжку шибко много неохота...

— Ну вотъ тебѣ еще четвертакъ, только ты долженъ мнѣ за это разсказать, за что ты попалъ на Сахалинъ,—говорю ему я, глядя на его плутоватое лицо.

— Да такъ что ни за что, ваше высокоблагородіе... за самый пустякъ... Былъ я, какъ, можетъ, вамъ извѣстно, чиновникомъ въ Московской... да-съ... губернскимъ секретаремъ былъ-съ... Жилъ это я на Пятницкой улицѣ въ собственномъ деревянномъ домѣ...

Ну, домъ, конечно, былъ у меня и заложенъ и перезаложенъ, а тутъ—молодость, хочется повеселиться, выпить и все такое... Ну, я застраховалъ домишко еще до заклада его разовъ съ пятокъ дороже, чѣмъ онъ стоилъ по самой щедрѣйшей оцѣнкѣ, а тутъ, какъ мои дѣла стали не тово, и пустилъ краснаго пѣтушка... И такъ я эфто дѣльце оборудовалъ, что ко мнѣ и подкатиться не могли... Получилъ я за эфто 27 тысячъ. Понятно, надолго денегъ не хватило, потому какъ были у меня друзья и подруги. Словомъ, къ концу года, можно сказать, губернскій секретарь Палъ Палычъ Пупковъ опять остался безъ гроша... Вотъ и подумалъ я тутъ повторить ту же музыку снова, только уже на эфтотъ разъ не въ собственномъ домѣ, а въ чужомъ. Снялъ это я большущую фатеру, купилъ на толкучемъ рынкѣ старый чуть живой круглый столъ, громадную лампу—въ родѣ кастрюли артельной, фунтовъ на шесть, на семь керосина, да на Трубной площади здоровенную дворнягу и поволокъ все эфто къ себѣ на новоселье. На слѣдующій день въ родѣ какъ по знакомству съ однимъ человѣчкомъ изъ страхового обчества я застраховалъ свое имущество въ пятнадцать тысячъ рублевъ, а къ вечеру того же дня привязалъ собаку за хвостъ тонкой бечевочкой къ столу, зажегъ на ёмъ лампу, полную керосиномъ, а самъ айда... Ушелъ и двери за собой на ключъ, конечно, замкнулъ. Ну, понятно, у меня на

фатерѣ случилось несчастье... Я обрадовался ужъ было, что опять новая получка денегъ подходитъ, а тутъ-то и стряслась настоящая бѣда... Вышло дѣло-то, какъ оно было, наружу: кто-то запримѣтилъ мои репетиціи,—вотъ меня и законопатили... Совсѣмъ за пустякъ пошелъ, ваше - скородіе! — закончилъ свой разсказъ Пупковъ.

Онъ какъ-то неловко опять переступилъ съ ноги на ногу, помолчалъ съ минуту, а потомъ, подмигивая мнѣ глазомъ, сказалъ:

— Позвольте, ваше-скородіе, другой разъ зайдтить къ вашей милости,—я пораскажу вамъ про себя еще многое, коли антиресъ къ моей біографіи чувствуете, а теперь оченно здорово подъ ложечкой сосетъ... Пойду выпить за ваше здоровьице...

— Ну, будь здоровъ... Заходи, заходи, братъ,—отвѣтилъ я. И Палъ Палычъ Пупковъ, отвѣсивъ мнѣ поклонъ, торопливо исчезъ за дверями кухни.

— Счастливымъ оставаться, ваше высокоблагородіе!—еще разъ донесся со двора до меня его голосъ.

Съ новымъ годомъ!

— Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ!—обнявъ за шею только-что проснувшагося Матвѣя Андреевича, лепечетъ Муза Антоновна:—вставайте, баловникъ этакій, уже десять часовъ скоро...

— Съ новымъ годомъ, Музочка, съ новымъ счастьемъ, радость моя!—нѣжно цѣлуя тощую руку ея и любовно глядя ей въ лицо, отвѣчаетъ чиновникъ Дрязгинъ.

— Что, чай, небось, въ постелькѣ кушать будете, по обыкновенію, или встанете для новаго года и изъ ванны прямо одѣваться?

— Въ церковь надо сегодня,—говоритъ со вздохомъ Матвѣй Андреевичъ.—Какая ты у меня кокетка, не то что жена моя! Все къ лицу подбираешь... Ишь вѣдь, хитрая, даже и въ ночныхъ кофточкахъ розовенькія ленточки вплетены... Поцѣлуй меня, Музочка!.. вотъ такъ, вотъ такъ... Ну, еще разикъ, покрѣпче!..—обхватывая своими мясистыми губами тонкія губы Музы Антоновны, шепчетъ Дрязгинъ.

— Будетъ тебѣ, Мотя!.. Фуй, срамникъ этакій, съ самаго утра начинаетъ!..—смѣясь краснѣла она.

— Ты-то ужъ скромница! — весело глядя ей въ лицо масляными глазами, хохочетъ Дрязгинъ.

— Нѣтъ, полно тебѣ, Мотя, право, — стараясь высвободиться изъ его объятій, тревожно шепчетъ Муза Антоновна: — опять кофе уйдетъ и обольетъ всю скатерть на столѣ и спиртовку испортитъ изъ-за тебя...—Она вырывается изъ его рукъ и отскакиваетъ отъ постели, дѣлая ему носъ,—что, съѣлъ, молъ!.. Но въ эту минуту слышитъ въ сосѣдней комнатѣ чьи-то шаги и громко говоритъ:—Вставайте, Матвѣй Андреевичъ, опять въ церковь, когда всѣ расходиться станутъ, придете! — и съ этими словами выходитъ изъ спальни.

Нѣсколько минутъ Дрязгинъ лежитъ еще въ кровати съ веселой улыбкой на лицѣ и невольно сравниваетъ обворожительную Музу Антоновну со своей женой, проживающей въ Петербургѣ. Сравненіе выходитъ далеко не въ пользу послѣдней. „Эта Музочка такой цимпомпончикъ!—думаетъ онъ.—А та—баба какъ баба, и даже еще хуже, злоехидная баба, а ужъ лицомъ-то совсѣмъ противъ Музы уродлива“...

„Ахъ, чортъ возьми, вѣдь и правда десять,—думаетъ Дрязгинъ, слушая бой стѣнныхъ часовъ, доносящійся изъ столовой:— надо вставать!.. Переломлю себя для перваго дня новаго года, встану пораньше,—авось и правда буду тогда подыматься рано“...—Но ему лѣнь пошевельнуться; онъ любитъ понѣ-

житься въ постели, да къ тому же сейчасъ въ головѣ его тѣснятся все такія пріятныя мысли, что оторваться отъ нихъ прямо грѣшно, а встать съ кровати—значитъ разстаться съ ними... „Нѣтъ, полежу еще немного... пять минуточекъ, не больше,—рѣшаетъ онъ:—такъ хорошо подъ одѣяломъ“...

„Вотъ обрадуется Музочка моему подарку!—думаетъ Дрязгинъ.—Расцѣлуетъ, небось, меня, да и есть за что расцѣловать,—вѣдь подарокъ прямо-таки царскій! Жена тоже, навѣрно, довольна; теперь ужъ, должно-быть, получила мою посылку... Достаточно съ нея, чего ей еще?“...

И Матвѣй Андреевичъ вспоминаетъ, что было въ его посылкѣ. „Прекрасная ротонда выйдетъ для нея,—думаетъ онъ:—хоть и не особенно важныя крестовочки, а все же крестовочки, а шаль для ротонды—такъ ужъ, по чести, выйдетъ даже порядочная!.. Но что бы она сдѣлала, если бы знала, что у меня здѣсь есть Муза,—приходитъ ему въ голову:—и особенно, если бы узнала, что для Музочки я закатилъ такой подарокъ?... Ну, прямо бы съѣла живьемъ!“...—заключаетъ онъ, и ему даже страшно какъ-то становится на минуту, но вслѣдъ за этимъ онъ быстро успокаивается. „Пустяки! какъ она можетъ узнать!“..—и по лицу его скользитъ довольная улыбка. „Нѣтъ худа безъ добра!—думаетъ онъ, вспоминая, что у него есть дѣти:—не будь этихъ болвановъ, некому было бы теперь учиться

тамъ, и моя дрожайшая половина торчала бы у меня поперекъ горла".

„Эхъ, тепленькое мѣстечко, слава Богу, выпало мнѣ на долю, — съ удовольствіемъ сознаетъ Дрязгинъ:—три тысячи жалованья, цѣлый домъ подъ квартиру, отопленіе... Освѣщенія-то хотя и не полагается, ну, да вѣдь безразлично, керосинъ и свѣчи не покупать стать, казенное добро подъ рукой; да и худого въ этомъ особенно ничего нѣтъ: не все ли равно для казны, гдѣ сгоритъ ея керосинъ, у меня или въ полиціи?—резонно заключаетъ онъ въ свое оправданіе.—Но это еще все пустяки въ сравненіи съ доходностью моего мѣста,—соображаетъ Матвѣй Андреевичъ:—30 тысячъ за годъ одна организація поселенческихъ работъ дала,—радостно вспоминаетъ онъ подведенный имъ вчера итогъ годового дохода,—около шести тысячъ рублей торговля спиртомъ, пять тысячъ наскоблилъ съ японскихъ рыбопромышленниковъ, торговцевъ и ссыльныхъ за пустяковинныя поблажки да еще подарковъ охотниковъ не считалъ!.. А вѣдь это тоже кушъ,—соображаетъ онъ радостно, привставая на постели:—тысячъ 10 за однихъ соболей и лисъ дадутъ, не считая медвѣжьихъ шкуръ и выдръ!... И могъ ли я думать о такомъ счастьи, когда въ Забайкальѣ, 40 лѣтъ назадъ, игралъ въ бабки съ такими же чумазыми братченками, какъ и самъ"!..

И, умиляясь сердцемъ, съ улыбкой на гу-

бахъ, въ неподвижной позѣ, Дрязгинъ застываетъ на своей широкой кровати.

Всей своей фигурой вообще всегда Дрязгинъ сильно напоминаетъ деревяннаго идола грубой топорной работы. Громадная, точно пивной котелъ, голова его постоянно такъ коротко выстрижена, что кажется, будто она у него не болѣе недѣли назадъ была обрита; его смуглое, сѣроватое лицо съ заплывшими жиркомъ, подслѣповатыми глазами и съ опущенными книзу щетинистыми сѣдоватыми усами, закрывающими верхнюю губу, выглядитъ такъ, какъ будто оно сработано изъ чурбашки стараго дуба и слегка смазано деревяннымъ масломъ. Переходъ отъ головы къ туловищу у Дрязгина совершенно неуловимъ, развѣ только, сильно вглядываясь, можно замѣтить у него въ томъ мѣстѣ, гдѣ должна быть у человѣка шея, двѣ-три наплывающихъ одна на другую складки сала. Толстенькое короткое туловище съ объемистымъ брюшкомъ, маленькія толстыя руки и искривленныя, какъ у таксы, култышечки вмѣсто ногъ могутъ съ успѣхомъ дать читателю понятіе о его тѣлосложеніи.

Самъ Дрязгинъ считаетъ себя красивымъ мужчиной и находитъ въ своемъ лицѣ единственный недостатокъ, это—носъ. „Носъ мой, подлецъ, это—врагъ мой!“—постоянно говоритъ онъ объ этомъ важномъ украшеніи своего лица.

И, дѣйствительно, слѣдуетъ признаться, если

считать Матвѣя Андреевича красивымъ, что носъ его малость подгулялъ, — съ подмоченной репутаціей, такъ сказать. Вообразите себѣ спускающійся со лба къ верхней губѣ и расплывающійся по щекамъ... клювъ филина, и ваше воображеніе дастъ точный снимокъ съ носа бѣднаго Матвѣя Андреевича.

Я называю его бѣднымъ не только потому, что этотъ подлый носъ портитъ его „личность“, а потому главнымъ образомъ, что этотъ носъ постоянно повергаетъ его въ уныніе. Согласитесь сами, вѣдь не обидно ли человѣку должно быть, если его носъ не выноситъ красиваго пенснэ, а глаза въ то же время настойчиво требуютъ оптическихъ стеколъ?... Что придется ему дѣлать при такомъ положеніи вещей? Понятное дѣло, остается только одно: это—завести противныя очки. Такъ и поступилъ, скрѣпя сердце, въ силу необходимости чиновникъ Дрязгинъ. Правда, прежде чѣмъ одѣть ихъ онъ изломалъ о свой носъ около полудюжины пенснэ, стараясь укрѣпить ихъ на немъ; потомъ, когда эта попытка не увѣнчалась успѣхомъ, завелъ себѣ монокль, и цѣлую недѣлю вдавливалъ его передъ зеркаломъ въ заплывшій жиромъ глазъ, и уже только тогда, видя, что и монокль у него въ глазу не держится, со скрежетомъ зубовнымъ онъ прибѣгъ къ помощи очковъ.

Очки дѣйствительно нейдутъ къ нему. Но и это бы еще ничего: здѣсь есть причина

поважнѣе, заставившая Дрязгина возненавидѣть ихъ... Благодаря очкамъ, каторга дала ему прозвище, необыкновенно подходящее къ нему и приводящее его въ бѣшенство: его прозвали... филиномъ.

— Матвѣй Андреевичъ! скоро вы будете готовы или нѣтъ?—спрашиваетъ чрезъ дверь, неподвижно сидящаго на кровати Дрязгина, Муза Антоновна.

— Сію минуточку, сію минуточку, — отзывается, приходя въ себя, Дрязгинъ и опускаетъ обѣ ноги на коверъ.—Который часъ, Муза Антоновна?—одѣвая на ноги стоптанныя туфли, спрашиваетъ онъ.

— Половина одиннадцатаго... Опять въ церковь опоздаете!.. Что, вы одѣты или нѣтъ еще?—спрашиваетъ она.

— Сію минуточку,—отвѣчаетъ опять Дрязгинъ, беря со стула мохнатое полотенце, и уходитъ въ сосѣднюю со спальней ванную комнату принимать холодное купанье.

Муза Антоновна постояла еще съ минуту у дверей спальни и опять спросила: — Вы одѣты или нѣтъ еще?—и, не получая отвѣта, хотѣла уже войдти къ нему, но въ это время въ столовую вошелъ Степанъ, курьеръ Дрязгина.

— Барыня, тутъ пришелъ Стучалкинъ: спирта ведерко проситъ ему продать,—глядя какъ-то съ усмѣшкой въ сторону и заложивъ руки за спину, говоритъ онъ.

— Ахъ, Степанъ, тише пожалуйста говорите,

баринъ еще услышитъ!—притворяясь испуганной, шепчетъ Муза Антоновна:—просите его подождать минуточку внизу на кухнѣ; я сейчасъ приду.

— Знаемъ мы: „баринъ услышитъ!“ — сквозь зубы ворчитъ Степанъ, выходя изъ столовой.—Тоже барыня... собачья... Черти бы тебя задавили...—ругается онъ себѣ подъ носъ, скрипя сапогами.

А Муза Антоновна стремительно вбѣгаетъ въ ванную комнату къ Дрязгину и радостно докладываетъ ему:—Видишь, Мотя, что значитъ сбавить цѣну на спиртъ противъ другихъ чиновниковъ! Всѣ къ намъ такъ и валятъ... Сегодня три ведра ужъ продала, а сейчасъ опять пришелъ покупатель, ждетъ внизу—проситъ ведро отпустить... И знаешь кто? Тотъ, который всегда запасается у Мокрохвостова,—свой постоялый дворъ имѣетъ... Ну, забываю все его фамилію... Стук... Стук... Стучалкинъ... Не помогъ, значитъ, Мокрохвостову его поваръ-проныра: гдѣ дешевле, туда и идутъ... И какъ быстро всѣ узнали вѣдь!.. Удивительно!..—радостно восклицаетъ она.—По 2 рубля 60 копеекъ за бутылку все же дастъ отъ ведра 34 рубля чистой прибыли... Значитъ, моихъ денегъ за комиссію сегодня уже есть съ четырехъ ведеръ по 8 рублей 50 копеекъ... Ахъ, да!.. Что же я въ самомъ дѣлѣ? Четвертая часть прибыли моя,—значитъ, я заработала 34 рубля... Правда вѣдь, Мотечка?.. Да?.. Ну, спасибо, мой мальчикъ. Бѣгу внизъ!..

Одѣвайся скорѣй, мой котикъ!..—кидая игривый взоръ на Дрязгина, старательно драпирующагося въ полотенце, смѣется она и быстро выходитъ изъ ванной комнаты.

Муза Антоновна Догова—женщина необыкновенно счастливая. Цѣлый день она занята, весело смѣется и, не зная устали, хлопочетъ по хозяйству. Весь домъ Матвѣя Андреевича Дрязгина, такъ сказать, у нея на рукахъ; она и подруга самого, и нянька, и экономка его; она и приказчица въ его негласной бакалейно-винной лавочкѣ, находящейся въ его же квартирѣ и торгующей безъ вывѣски и карамельками, и махоркой, и сахаромъ, и селедками, и спиртомъ. Дѣла Матвѣя Андреевича она ведетъ такъ ловко, что и самъ онъ, уже на что человѣкъ бывалый, продувной, а и то удивляется ея способностямъ: „Ты, Музочка, у меня просто геній,—обыкновенно радостно улыбаясь, говоритъ онъ ей:—будь ты мужчиной, изъ тебя бы вышелъ чудный губернаторъ“... Въ отвѣтъ на это Муза Антоновна всегда только загадочно усмѣхается, гордо закидывая назадъ голову.

Про Музу Антоновну можно сказать, что лѣтъ 20 назадъ она была женщиной молодой и, судя по чертамъ ея лица, пожалуй, даже недурненькой... Но это было 20 лѣтъ назадъ, а въ настоящее время Муза Антоновна нѣсколько измѣнилась... Ей сорокъ третья весна, больше похожая на осень; увядающія розы ея ланитъ настойчиво требуютъ не только по-

мощи косметикъ химической лабораторіи, но и штукатурки для сглаживанья безчисленныхъ глубокихъ морщинъ. Отъ пышныхъ когда-то каштановыхъ косъ ея осталось одно только воспоминаніе, и, не будь на свѣтѣ волосъ поддѣльныхъ, она не могла бы теперь устраивать себѣ красивой прически, такъ же точно какъ и не могла бы показывать своихъ жемчужныхъ зубовъ, если бы на свѣтѣ не было фальшивыхъ челюстей. Роста Муза Антоновна средняго; сложена она пропорціонально. Вообще про нее можно было бы сказать, что она дама пріятной наружности, если бы не ея худоба... Худоба ея ужасно портитъ, придавая всей ея фигурѣ видъ тросточки.

Раньше она принадлежала къ дворянской фамиліи, но 8 лѣтъ назадъ, благодаря несчастному случаю, попала подъ судъ, и по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, была сослана въ каторжныя работы. Говорятъ, что, отправляясь на Сахалинъ, Муза Антоновна не жалѣла никого изъ родныхъ своихъ и родственниковъ, но буквально убивалась-плакала о своей единственной привязанности—громадномъ датскомъ догѣ. Каторга прозвала ее за это собачьей барыней, и когда вмѣстѣ съ другими каторжанками ее повели на смотрины на тюремномъ дворѣ для отдачи въ сожительство мужику, то всѣ отъ нея отказались изъ-за ея прозвища.

Оставшись не взятой, она какъ-то разъ

попала на глаза къ чиновнику Дрязгину и обратила на себя его вниманіе. Подумалъ, подумалъ Дрязгинъ, и хотя чиновникамъ не разрѣшается брать себѣ въ услуженіе каторжанокъ, какъ-то такъ уладилъ дѣльцо, что Муза Антоновна очутилась въ его домѣ въ качествѣ экономки. Съ этихъ поръ для „собачьей барыни“ началась на Сахалинѣ широкая масленица!...

Принявъ холодную ванну, Матвѣй Андреевичъ наскоро одѣлся и вышелъ въ столовую кушать кофе. Муза Антоновна уже сидѣла въ это время на своемъ хозяйскомъ мѣстѣ и что-то бѣгло записывала карандашикомъ въ маленькой книжечкѣ.

— Все считаетъ... Ахъ ты, министръ финансовъ!..—весело подходя къ ней въ парадномъ мундирѣ и оглядываясь по сторонамъ, нѣтъ-ли кого, говоритъ Дрязгинъ и, держа подъ лѣвой рукой объемистую шкатулку изъ наплыва красивой сахалинской работы „въ наборъ“, правой рукой онъ поспѣшно обхватываетъ ее за шею и крѣпко цѣлуетъ. — Съ новымъ годымъ, Музочка! съ новымъ счастьемъ!—говоритъ онъ, опуская шкатулку ей на колѣни и, довольный, садится рядомъ, не сводя съ нея глазъ.

— Мотя!.. милый!.. ты меня ужъ слишкомъ балуешь... — восклицаетъ Муза Антоновна, открывъ шкатулку и увидѣвъ въ ней пушистыхъ черныхъ, какъ жукъ, соболей, украшенныхъ слегка сѣдиною.—Ахъ, какая прелесть!..

ахъ, какая роскошь!.. всѣ на-подборъ, какъ одинъ! — восклицаетъ она, перебирая ихъ.— Мотя, дорогой мой, это ужъ слишкомъ... я не стою такого подарка, — томно закатывая глазки, говоритъ она.

— Что за пустяки, Музочка! — успокаиваетъ ее Дрязгинъ,—всего сорокъ пять шкурокъ по пятнадцати рублей, 675 цѣлковыхъ; да за пару чернобурокъ 400 далъ... По крайней мѣрѣ у тебя теперь будетъ приличная ротонда... Наливай кофе, Музочка... Надо въ церковь спѣшить,—какъ-то вдругъ прибавляетъ онъ.

— Ахъ, здѣсь еще и чернобурки?—взвизгиваетъ Муза Антоновна.—Милый мой, спасибо тебѣ... спасибо!—и она бросается къ Дрязгину—обнять его.

Не во-время вошедшій въ столовую Степанъ смущаетъ обоихъ; но Муза Антоновна быстро оправляется и дѣлаетъ видъ будто она чего-то ищетъ:

— Подвиньтесь, пожалуйста, Матвѣй Андреевичъ, — говоритъ она, — и, будто поднявъ что-то, берется за булавку на груди корсажа, какъ-будто только что ее прикалывая.

— Что вамъ надо, Степанъ?—говоритъ она, обращаясь къ курьеру.

Тотъ сразу не находитъ, что сказать, но потомъ, смущаясь, докладываетъ:

— Поваръ, барыня, просятъ васъ на минуточку.

— Скажите, что сейчасъ приду.

И едва выходитъ Степанъ за двери, какъ Муза Антоновна цѣлуетъ Дрязгина въ благодарность за подарокъ, наливаетъ ему кофе и говоритъ шопотомъ:

— Вѣрно опять покупатель на спиртъ,— и выходитъ, улыбаясь, изъ столовой.

Между тѣмъ Матвѣй Андреевичъ, кушая кофе, смотритъ на шкатулку съ мѣхами и думаетъ: „Славный этотъ Силихава, я бы ему разрѣшилъ, пожалуй, возводить постройки и безъ такого подарка... Положимъ, есть за что отблагодарить меня: никогда бы онъ не былъ хозяиномъ своего участка въ силу существующаго объ иностранцахъ закона... А все же любезный, любезный японецъ, какъ никакъ!— думаетъ Дрязгинъ.—Дѣйствительно мѣха даже по здѣшнимъ цѣнамъ стоятъ не дешевле тысячи рублей... Надо будетъ при случаѣ поблагодарить за подарокъ его... И какъ это тонко умѣютъ они спросить—эти иностранцы— сколько пожелаетъ чиновникъ взять съ нихъ за свою услугу,—пріятно улыбаясь, вспоминаетъ Матвѣй Андреевичъ, какъ спросилъ его объ этомъ Силихава: „Э!.. Э!.. Скажите пожалуйста, чѣмъ же мозьно будетъ благодарійтъ за васи любезній разрѣшенія?“

„И дѣйствительно честно, на совѣсть отблагодарилъ,—думаетъ Дрязгинъ:—не совралъ... „Самихъ черныхъ и пушистовыхъ отбираемъ“, обѣщалъ мнѣ; вамъ, спрашиваетъ, для чего надо: для кофточки или для пальто? — Для ротонды, говорю...— „Хоросё, мозьно, мозьно!“

„А все-таки, я увѣренъ, пошли я ему всѣ документы раньше, чѣмъ получить отъ него подарокъ, и я бы остался съ носомъ... такъ и съѣхалъ бы на одномъ обѣщаніи или прислалъ бы онъ такой дряни, что и взглянуть бы не захотѣлось.—Дрязгинъ даже разсмѣялся при этой мысли:—Ну, какой же дуракъ, правда, въ нынѣшній вѣкъ сдѣлаетъ вамъ что-нибудь, не получивъ впередъ за услугу благодарности?—подумалъ онъ.—Именно такъ и надо всегда дѣйствовать со всѣми! Тридцатаго получилъ отъ Силихавы подарокъ, а тридцать перваго кончилъ его дѣло и отослалъ ему всѣ документы“...

Матвѣй Андреевичъ допилъ свой стаканъ, взглянулъ на часы, нажалъ пуговку электрическаго звонка и подошелъ къ окну.

— Что прикажете, ваше высокоблагородіе?—останавливаясь въ дверяхъ, спрашиваетъ Степанъ, духомъ явившійся изъ кухни.

— Шапку и пальто подай.

— Здѣсь, ваше высокоблагородіе, въ передней все,—отвѣчаетъ Степанъ.

Дрязгинъ проходитъ въ переднюю и при помощи Степана одѣвается.

— Передай Музѣ Антоновнѣ, что я ушелъ въ церковь, — говоритъ онъ, переступая порогъ параднаго крыльца. Въ это время въ церкви ударяетъ колоколъ.

— Богомолъ тоже!.. Харя твоя филинская!..—съ омерзеніемъ сплевываетъ Степанъ, заперевъ за нимъ двери.—Въ церкви, поди,

ужъ и крестъ выносили, а онъ въ церковь Богу молиться собрался... стерва старая.

И, поскрипывая сапогами, Степанъ отправляется въ столовую убирать со стола. „Собачья барыня такъ расторговалась на кухнѣ, что сюда и не заманишь, поди“, думаетъ онъ, присаживаясь на ея мѣсто и наливая себѣ кофе съ густыми сливками.

„Грабители! — прихлебывая изъ стакана, думаетъ онъ:—сами съ „Ярославля“ снимаютъ, такъ по 90 копеекъ за спиртъ да по 45 за водку платятъ, а здѣсь съ несчастныхъ ссыльныхъ чуть не по три рубля за бутылку спирта да по полтора за водку дуютъ... Окаянные!.. Креста на нихъ нѣтъ!.. То же, что и воровство... Какъ есть воры подлые!.. Вотъ ужъ, по совѣсти, озолоти меня, — вѣкъ не возьму чужого... Замѣтитъ выдра, пожалуй, коли два еще взять,—думаетъ Степанъ, беря сухарь:— будетъ одного съ меня, пусть сама остальные дожираетъ, дуй ее горой!..“

„Ахъ, ты, лахудра!.. шушера!.. Ужъ не ей ли это подарокъ?—замѣчаетъ онъ шкатулку съ мѣхами.—Этакую орясину поганую въ соболя одѣть... Тфу, ты дьяволъ мерзопакостный!—плюетъ Степанъ:—женѣ въ Питеръ лысыхъ лисичекъ послалъ, а этой собачьей... соболей надарилъ... Погоди ты у меня, не дашь на праздникъ,—все въ Питеръ отпишу про тебя!“—злобно стуча посудой по подносу, думаетъ онъ и выходитъ изъ столовой.

Нѣкоторое время въ квартирѣ царитъ пол-

нѣйшая тишина, только часы постукиваютъ на стѣнѣ въ столовой да потрескиваютъ дрова въ печкахъ...

Но вотъ раздается звонокъ, и чрезъ всѣ комнаты, скрипя сапогами, пробѣгаетъ въ переднюю отпирать двери Степанъ.

Входитъ Дрязгинъ, а за нимъ слѣдомъ визитеры—Мокрохвостовъ и Обиралкинъ; всѣ раздѣваются и проходятъ въ гостиную.

— Ну, какъ праздники провели, господа?— пріятно улыбаясь, спрашиваетъ хозяинъ.

— Благодаримъ, ничего!.. Какъ вы, Матвѣй Андреевичъ?—отвѣчаютъ гости разомъ.

— Что же я? Я провожу всѣ дни одинаково, по-стариковски... Хе-хе-хе! — смѣется Дрязгинъ.

Сегодня Матвѣй Андреевичъ необыкновенно въ духѣ, и ему хочется даже отмочить какое-нибудь замысловатое колѣнце,—обнять, напримѣръ, Обиралкина и пуститься съ нимъ по сосѣднему залу въ лихой канканчикъ или сѣсть на плечи, что ли, этой скотинѣ Мокрохвостову,—и Дрязгинъ безпрерывно посмѣивается.

Но вотъ входитъ Степанъ, неся на подносикѣ письмо.

— Отъ кого? — спрашиваетъ Дрязгинъ.— Отъ Силихава?—удивленно переспрашиваетъ онъ, распечатывая конвертъ.—Что ему нужно отъ меня?

— Не могу знать, ваше высокоблагородіе!

— Па-длецъ!—вырывается изъ груди Мат-

вѣя Андреевича, и вдругъ онъ дѣлается мрачнѣе ночи.

А Мокрохвостовъ, еле сдерживая улыбку, чтобы не выдать себя въ томъ, что секретъ ему хорошо извѣстенъ, подходитъ къ окну и слегка наигрываетъ на стеклѣ зорю.

— Скажи, что отвѣтъ пришлю сегодня,—говоритъ Дрязгинъ Степану и, пересиливая себя, старается снова пріятно улыбаться гостямъ, но у него уже ничего не выходитъ.

Пробывши еще минуты двѣ и замѣчая разстройство хозяина, Мокрохвостовъ и Обиралкинъ откланиваются и уходятъ.

— Ахъ ты, макака безхвостая!—злобно восклицаетъ Дрязгинъ, вынимая изъ кармана письмо Силихава.—Каковъ мерзавецъ! А?.. Вотъ одурачилъ-то меня на старости лѣтъ!.. Что же мнѣ теперь дѣлать? Только и остается одно—послать ему за мѣха по этому счету тысячу сто семьдесятъ пять рублей или вернуть ихъ обратно... Но какъ вернуть, если я подарилъ ихъ уже ей!..

И въ страшной злобѣ онъ схватываетъ себя за голову руками и устремляетъ неподвижный взоръ на письмо.

А на письмѣ четкимъ красивымъ почеркомъ сверху написано:

„Съ новымъ годомъ!“

Еленка Бубелисъ.

— Бубелисъ!.. Гдѣ жъ ты, Бубелисъ?..— ходя волновался тюремный надзиратель, обводя толпу раздѣтыхъ арестантовъ сердитымъ взглядомъ.

Толпа зашевелилась; головы всѣхъ обратились въ одну сторону, по направленію къ атлетически сложенному человѣку; онъ не слышалъ какъ его окликали,—онъ крѣпко спалъ, сидя на скамейкѣ.

— Задрыхъ, чертова перешница!.. Вставай, вызываютъ!—послышалось съ разныхъ сторонъ.—Экъ спать здоровъ, дьяволъ!..

— Меня, што ль?—вопросительно глядя на товарищей звѣрскими глазами, пробасилъ разбуженный усердными толчками арестантъ.

— Ну, шевелись, барахло!.. Что мнѣ за тебя выговоръ принимать, што ли?.. Живо!—сердился надзиратель.

— Не околѣютъ, коли и погодятъ,—вставая со скамьи, ворчитъ Бубелисъ и направляется за надзирателемъ въ сосѣднюю комнату, позвякивая на ходу кандалами [1]).

---

[1]) Кандалы съ арестантовъ при раздѣваніи не снимаются, такъ какъ они на нихъ заклепываются наглухо.

— Стой здѣсь,—указываетъ ему надзиратель мѣсто у дверей, останавливаясь рядомъ съ нимъ.

Бубелисъ свирѣпо косится на него, молча дѣлаетъ еще шагъ впередъ и останавливается.

За длиннымъ широкимъ столомъ, покрытымъ красною скатертью съ мишурной бахромой, сидятъ человѣкъ восемь какихъ-то чиновниковъ; между ними Бубелисъ видитъ также губернскаго тюремнаго инспектора, барбоса [1]) и тюремнаго врача. Всѣ о чемъ-то говорятъ, передавая другъ другу листъ бумаги и поочередно расписываются на немъ.

Бубелисъ исподлобья оглядываетъ комнату; взглядъ его скользитъ по красивымъ портретамъ въ золотыхъ рамахъ съ коронами на верху, по расписному лѣпному потолку, по окнамъ, до половины завѣшаннымъ сборчатыми шторами съ длинной бахромой, и останавливается на какой-то странной „штукѣ“, стоящей на концѣ стола, „что бы это было?—думаетъ онъ,—шкапъ, такъ не шкапъ, потому какъ въ емъ три стѣнки всего, да и на нихъ пропечатано тамъ много чего-то... ишь, какъ сдѣлана-то штучка, ишь горитъ вся; видно углыто на ей, да и низъ, и верхъ съ орломъ, изъ золота чистаго сработаны, не иначе, потому какъ мѣдь, такъ блестѣть не можетъ, какъ не чисти ее... Вотъ бы свистнуть, да барахоль-

---

[1]) Барбосами арестанты называютъ чиновниковъ тюремнаго вѣдомства.

щикамъ продать, поди, много, бы денегъ выручить можно“...

— Бубелисъ здѣсь?.. Ты Бубелисъ?—спрашиваетъ какой-то чиновникъ.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе,—вытягивается тюремный надзиратель, указывая рукой на арестанта,—здѣсь.

— Я,—окидывая всѣхъ злобнымъ взглядомъ, и отворачиваясь въ сторону, отвѣчаетъ Бубелисъ.

— Ну, иди сюда,—зоветъ его тюремный врачъ.

Бубелисъ подходитъ.

— Не болитъ ли у тебя что?—осматривая его, спрашиваетъ врачъ.

— Нѣтъ.

— На Сахалинъ отправляться можешь?

— Могу.

— Отлично... Можешь итти... Кто тамъ слѣдующій?—торопится врачъ, проглядывая списокъ арестантовъ, назначенныхъ къ освидѣтельствованію комиссіей губернскаго правленія,—позвать Валупчика!..

— Ваша милость, такъ никакъ не можно, чтобы это мнѣ въ мущинскомъ отдѣленіи быть, — неожиданно раздался въ это время грубый басъ Бубелисъ.

Всѣ удивленно взглядываютъ на него

— То-есть, какъ это?—изумленно спрашиваетъ врачъ.

— Потому какъ я—женщина,—отвѣчаетъ арестантъ, извольте освидѣтельствовать меня...

Всѣ кругомъ озадачены; только на губахъ барбоса появляется усмѣшка и, махнувъ рукой, онъ говоритъ:

— Стара штука!.. симуллируетъ!.. Иди-ка вонъ отсюда, любезный!..

— Никакъ не можно, ваша милость... Этакое дѣло закономъ не допущается, чтобы женщину въ мущинскомъ отдѣленіи содержать... Извольте освидѣтельствовать... Да къ тому и кандалы съ меня снять надо бы, потому, какъ нашу сестру тоже не заковываютъ... Сами понимать изволите, ваша милость, гдѣ же слабой женщинѣ этакую тяжесть носить подъ силу...

— Ну, пошелъ вонъ!.. Надзиратель, выведи его,—приказываетъ Барбосъ.

— Ну, иди, ты,—говоритъ надзиратель.

Но Бубелисъ не идетъ, стараясь доказать, что онъ женщина, онъ настойчиво проситъ себя освидѣтельствовать. Барбосъ готовъ уже вспылить и собирается повторить свое приказаніе тюремному надзирателю, но въ это время взглядъ врача падаетъ на Бубелисъ и убѣждаясь, что это дѣйствительно женщина, онъ останавливаетъ его, „погодите, погодите... вѣдь это правда!“ говоритъ врачъ.

— Какъ же не правда... извольте освидѣтельствовать,—повторяетъ свое Бубелисъ.

И всѣ только тутъ неожиданно убѣждаются, что это правда.

— Собственно говоря, и правда, и неправда,—рѣшаетъ врачъ.

— Чортъ знаетъ, что такое! вотъ штука то!—удивляется барбосъ,—я слыхалъ, что бываютъ такіе субъекты, но только до сихъ поръ не вѣрилъ этому... вѣдь это въ миѳахъ есть, въ древне-греческой исторіи... Какъ же вы находите?.. А?.. какъ онъ по-вашему—ни то, ни се?—обращаясь къ врачу, спрашиваетъ его Барбосъ, и, не давая ему отвѣтить, громогласно заключаетъ:—арестантъ средняго рода Бубелисъ!.. Вотъ случай-то!..

— Да!.. За мою двадцатипятилѣтнюю практику это первый случай,—замѣчаетъ врачъ,—это замѣчательный субъектъ!.. И замѣчательный субъектъ потому главнымъ образомъ, что онъ не средняго рода, какъ вы заключаете,—ни то, ни се, а совершенно напротивъ—и то, и другое въ одинаковой мѣрѣ... Вотъ такъ случай, батенька мой, я вамъ скажу!..

— А какъ твое имя?—спрашиваетъ тюремный инспекторъ у Бубелисъ,—видите, здѣсь даже въ бумагахъ не отмѣчено имя,—говоритъ онъ сосѣду.

— Какъ тебя зовутъ?—повторяетъ онъ свой вопросъ арестанту.

— Да Еленкой,—густымъ басомъ отвѣчаетъ Бубелисъ.

Кругомъ слышится подавленный смѣхъ.

Барбосъ совѣтуется о чемъ-то въ полъ-голоса съ тюремнымъ инспекторомъ, а потомъ обращается къ Бубелисъ и говоритъ:

— Ну, теперь можешь итти; кандалы съ

тебя будутъ сегодня же сняты, и ты будешь переведена въ женское отдѣленіе.

Еленка Бубелисъ выходитъ, и въ комнатѣ поднимается оживленный разговоръ.

— Вотъ такъ случай!—повторяютъ всѣ въ голосъ.

Вскорѣ послѣ освидѣтельствованія въ губернскомъ правленіи, Бубелисъ оффиціально признана женщиной, и ее перевели въ женское отдѣленіе центральной тюрьмы.

Переводъ Бубелисъ вызвалъ въ мужскомъ отдѣленіи сильное волненіе, многіе изъ арестантовъ, узнавъ, что Бубелисъ уходитъ отъ нихъ, были повержены въ глубокое горе; напротивъ, въ женскомъ отдѣленіи извѣстіе о переводѣ къ нимъ нового лица изъ мужской половины, вызвало буквально праздничное настроеніе, среди громаднаго большинства арестантокъ.

Двое женщинъ даже, къ общему удовольствію, подрались между собою, споря о мѣстѣ, которое должна будетъ занять, сдѣлавшаяся сразу извѣстной всей тюрьмѣ, Еленка Бубелисъ; каждой изъ арестантокъ хотѣлось быть сосѣдкой вновь прибывшей къ нимъ товарки.

Бубелисъ была очень довольна своимъ новымъ положеніемъ, и вскорѣ пріобрѣла на женской половинѣ всеобщее расположеніе. Она обладала вообще необыкновеннымъ умѣніемъ дружиться, какъ съ мужчинами, такъ и съ женщинами и въ одинаковой мѣрѣ нравилась, какъ тѣмъ, такъ и другимъ.

— Славный парень, этотъ Бубелисъ, — лукаво подмигивая глазомъ обыкновенно говорили про него, когда Бубелисъ былъ еще на мужской половинѣ тюрьмы, всѣ арестанты.

— Бѣда, хорошая баба! — прихваливали Еленку въ тюрьмѣ и арестантки, хохоча во все горло,—душа у ей больно добрая.. дружественная бабенка!.. Только лицомъ малость не вышла, нельзя сказать, чтобъ ужъ очинно красиво лицо у ей было... Ну, да вѣдь на лицо наплевать!..

Еленка Бубелисъ лицомъ дѣйствительно не вышла. Черты у нея крупныя, неправильныя; вся она изъѣдена оспой. Глаза у нея большіе свѣтло-сѣрые на выкатѣ, носъ хотя и прямой, но онъ такъ великъ, что производитъ впечатлѣніе приставного; губы толстыя, волосы, обыкновенно зачесанные назадъ, подстриженные и словно у нея ихъ никогда не подстригали, а рвали клочьями, цвѣтъ ихъ свѣтло-желтый, словно вылинявшій; брови у нея хотя и есть, но ихъ почти совсѣмъ не замѣтно; зубы здоровые, бѣлые. Сложена она, какъ женщина, очень некрасиво и даже, пожалуй, уродливо: у нея мало развитая для женщины грудь и слишкомъ ужъ объемистая талья, въ тоже время ей можетъ позавидовать любой мужикъ-крючникъ, такія у нея громадныя ручищи и ножищи; въ плечахъ у нея косая сажень, и она обладаетъ такой силой, что можетъ ломать подковы и даже, говорятъ, связала узломъ желѣзную ка-

зенную кочергу, толщиной чуть ли не въ полъ-вершка.

На видъ ей, приблизительно, около сорока лѣтъ.

Выраженіе лица у нея злое; взглядъ свирѣпый, голосъ басистый, грубый. Въ довершеніи всего у нея „такъ и претъ“ щетина изъ подбородка и верхней губы, но она терпѣливо, чуть ли не кждый день, подстригаетъ ее.

Вообще, Еленка Бубелисъ могла бы служить для художника прекрасной натурщицей, если бы ему понадобилось написать злую вѣдьму.

Съ переходомъ въ женское отдѣленіе, Бубелисъ такъ хорошо зажила, что „и помирать бы не надо“; у нея было все, чего бы она не захотѣла: и чай, и сахаръ, и булки, и табакъ, и водка, и деньги, и даже появилась здоровая мужицкая трубка; трубка—это была единственная, въ своемъ родѣ, страсть Еленки, она распаливала ее, какъ добрый сапожникъ. Все это сыпалось на Еленку со всѣхъ сторонъ, какъ изъ рога изобилія, отъ обожающихъ ее товарокъ-арестантокъ.

— Ужъ очинно полюбили ее бабы; бѣда, хорошая женщина!—захлебываясь, отзывались о ней въ тюрьмѣ.

Но время шло, и съ каждымъ часомъ приближался день, когда Еленку Бубелисъ должны были взять изъ *** центральной тюрьмы для отправленія на Сахалинъ. Вспоминая это,

многія грустно вздыхали и, желая оставить у Еленки въ памяти о себѣ, что-либо пріятное, проводили съ ней все свое свободное время, и дѣлали ей различные подарки. Еленка охотно принимала все, въ свою очередь услуживая и угождая каждой изъ своихъ подругъ, чѣмъ могла, но ни къ одной изъ нихъ она не привязалась.

Наконецъ, въ тюрьмѣ объявили всѣмъ, кто отправляется на Сахалинъ, что на другой день по утру партія будетъ отправлена: чтобы приготовились къ отъѣзду.

Еленка отнеслась къ этому совершенно равнодушно, а между ея подругами это приказаніе вызвало потоки горькихъ слезъ. Весь день и всю почти ночь арестантки провели около нея и на прощанье буквально засыпали ее подарками. Но неблагодарная Еленка не удовольствовалась этимъ; она нашла, что этого мало и рѣшила передъ разлукой свистнуть у кого, что можно, и между прочимъ у Дашки Луниной, любившей ее больше всѣхъ, — деньги, „потому какъ у Дашки двадцатипятирублевую видала надысь своими собственными глазами, а ей куда, дурищѣ, такую уйму денегъ дѣвать“. И Еленка ловко привела въ исполненіе свое намѣреніе, такъ что никто ничего и не замѣтилъ за ней.

Когда партія ссыльныхъ прибыла въ Одессу, то арестанскіе вагоны были подведены къ самой пристани; здѣсь ихъ оцѣпили

конными казаками и солдатами конвойной команды.

— Приготовься къ освидѣтельствованію, дохтуръ смотрѣть будетъ,—объявилъ всѣмъ, переходя изъ вагона въ вагонъ, тюремный надзиратель.

И дѣйствительно, въ скоромъ времени въ вагонъ вошелъ докторъ, какой-то офицеръ и фельдшеръ; нѣкоторыхъ докторъ осматривалъ, раздѣвалъ, выслушивалъ грудь, а другихъ, которыя были поздоровѣе, только спрашивалъ,—здоровы ли?

Онъ уже окончилъ осмотръ арестантокъ и хотѣлъ было выходить изъ вагона, но, вдругъ, словно что вспомнилъ, остановился и спросилъ:

— Не ѣдетъ ли между вами ссыльно-каторжная Еленка... чортъ ее раздери, фамилію-то и забылъ...

Въ вагонѣ всѣ молчали. Еленка догадалась, что докторъ хотѣлъ спросить про нее, но не говорила ни слова, „потому какъ мало ли дѣло какое могло случиться; можетъ статься, еще вышло наружу дѣло о Дашкиныхъ двадцатипяти рубляхъ,—думала она,—лучше не сказываться, коли хфамилію упомнилъ“. Другія арестантки, тоже понимавшія о комъ шла рѣчь, молчали также, соображая, что „въ чужія дѣла соваться не слѣдоваетъ; разъ сама Еленка молчитъ, такъ намъ-то какое же дѣло“.

Докторъ постоялъ немного молча, еще

разъ „чертыхнулся“, потеръ себѣ рукою переносицу, вспоминая Еленкину фамилію и, наконецъ, обвелъ арестантокъ радостнымъ взглядомъ.

— Постой, я и такъ узнаю ее по описанію,—проворчалъ онъ, какъ бы самъ себѣ подъ носъ, и взглядъ его, дѣйствительно, остановился на лицѣ Бубелисъ.

— Тебя зовутъ Еленой?—спросилъ онъ.

— Еленкой,—пробасила Бубелисъ.

— Ну, вотъ и нашелъ!.. Она самая,—засмѣялся докторъ,—а фамилія твоя какъ?

— Бубелисъ.

— Вотъ, вотъ, вотъ—Бубелисъ!... Ну, милая, у меня есть къ тебѣ просьба... Я хочу тебя освидѣтельствовать и затѣмъ снять съ тебя, съ научной цѣлью, фотографію... Я тебѣ заплачу за это... Согласна ты, или нѣтъ?

— А сколько дашь, ваша милость? — пробасила Еленка.

— Ну, сколько?... три рубля довольно съ тебя будетъ?

— Три? маловато... пять бы надоть, ну, да, все едино... вали, сымай карту, ваша милость,—отвѣтила Бубелисъ, и уже стала разстегивать свою кофту.

— Погоди, погоди, какъ же я съ тебя буду „снимать карту“, когда у меня и аппарата нѣтъ,—засмѣялся докторъ,—надо пригласить сейчасъ сюда фотографа, вотъ онъ намъ эту музыку и оборудуетъ.

Докторъ обратился къ фельдшеру и попросилъ его съѣздить въ ближайшую фотографію, а потомъ, отойдя немного въ сторону, сталъ вполголоса объяснять, что-то офицеру. Офицеръ широко улыбался и нѣсколько разъ даже громко произнесъ, „это очень интересно, очень интересно“, и, наконецъ, попросилъ, въ заключеніе, у доктора карточку и себѣ.

Еленку Бубелисъ сняли, и уплатили ей три рубля. И докторъ, и фотографъ, и офицеръ, и Еленка всѣ были довольны.

Вагонъ, въ которомъ была Бубелисъ, былъ крайнимъ, и докторъ осмотрѣлъ уже ранѣе всѣхъ остальныхъ арестантовъ, такъ что, едва комиссія вышла изъ этого вагона, какъ всѣхъ каторжныхъ стали изъ него выпускать.

— Забирай вещи, живо! — торопилъ арестантовъ, крича на нихъ во всю глотку, тюремный надзиратель.

Всѣ вокругъ засуетились, забирая съ полокъ свои котомки, мѣшки, сундученки и крашеные и некрашеные ящики, а черезъ минуту еще всѣ были уже на свѣжемъ воздухѣ и, оцѣпленные солдатами конвойной команды, ждали приказанія двигаться впередъ. Кругомъ стоялъ гулъ голосовъ, и слышался звонъ кандаловъ.

— Дяденька, а дяденька, а что оно заряжено у тебя, али нѣтъ?—приставалъ маленькій мальчуганъ къ простоватому солдатику, указывая пальцемъ одной руки на ружье, а

другой рукой, крѣпко держась сзади за юбку матери.

— Заряжено, малый.

— А зачѣмъ?

— Надоть такъ, по закону полагается.

— А зачѣмъ полагается, чтобы стрѣлять?— допытывается мальчикъ.

— Чтобы стрѣлять,—отвѣчаетъ солдатикъ.

— А въ кого стрѣлять?...

— Въ арестанта, коли онъ бѣжать схочетъ.

— А въ мамку, если она побѣжитъ, тоже стрѣлять будешь?

— Тоже буду, потому какъ законъ для всѣхъ одинъ, стрѣляй, да и шабашъ.

— А въ ворону тоже стрѣлять будешь?

— Ну, въ ворону зачѣмъ?... Ворона такъ и останется вороной, пущай живетъ себѣ на здоровье, вотъ, коли, ежели арестантъ, такъ дѣло другое.

— А Колька ворону застрѣлилъ; не вчера, а давно, давно, когда еще мамка въ тюрьмѣ не была...

— Да отвяжись ты, дьяволенокъ, всю юбку оборвалъ на мнѣ, — сердится на мальчика мать.

Она такъ бы и надавала ему шлепковъ, да обѣ руки ея были заняты—одной она держитъ грудного ребенка, запрятаннаго подъ бортомъ салопа, а другой конецъ мѣшка съ вещами, перекинутаго черезъ плечо.

Невдалекѣ отъ этой группы конвойный

солдатъ награждаетъ тяжеловѣсными пинками сѣдого, закованнаго въ кандалы, старика; еще въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія конвойный заигрываетъ съ молодой, красивой, но блѣдной арестанткой. А вонъ тамъ, черезъ цѣпь солдатъ, молча смотритъ на молодого арестанта старушка, видно его мать, и утираетъ свои заплаканные красные глаза и морщинистыя щеки.

— Пиши, Саша... пиши... не забывай меня!— черезъ силу выкрикиваетъ какъ-то она,— Господь тебя бла...—Но старушка не можетъ кончить своей рѣчи, рыданія подступаютъ къ ея горлу, спазмы душатъ ее, и изъ груди ея вырывается нечеловѣческій крикъ.

— Впередъ, шагомъ маршъ!—раздается въ это время громкая команда.

Толпа заколыхалась, загудѣла, какъ рой пчелъ, забряцала кандалами и тяжело двинулась впередъ...

— Пиши, Сашенька!.. Заступи, спаси, сохрани и помилуй тебя Господи!—крестя молодого арестанта, со слезами на глазахъ молится старушка, порываясь къ нему чрезъ цѣпь конвойныхъ, но ее задерживаютъ.

— Нельзя, бабушка, ни какъ не можно эфтаго,—говоритъ конвойный, заграждая ей рукой дорогу, но арестантъ быстро бросается къ ней съ другой стороны и цѣлуетъ ея морщинистыя руки; все его тѣло конвульсивно вздрагиваетъ, изъ груди его вырывается тяжелый болѣзненный стонъ; онъ хочетъ ска-

Похороны арестанта на Сахалинѣ.

зать что-то, но не можетъ, ему словно веревкой перетянуло горло, и изъ него вылетаетъ только какой-то неопредѣленный крикъ, словно крикъ боли; лицо его искажено судорогой, глаза широко открыты, но на нихъ нѣтъ ни единой слезинки, онъ давно уже выплакалъ всѣ ихъ до послѣдней... А по обезумѣвшему лицу старушки онѣ такъ и льются ручьями.

— Господи!... спаси тебя! — говоритъ она хриплымъ голосомъ, крѣпко цѣлуя его въ голову и хочетъ еще разъ, послѣдній, послѣдній разъ перекрестить его, но въ это время одинъ конвойный грубо отталкиваетъ его въ сторону и, толкая въ спину, не давая ему оглянутся назадъ, подгоняетъ его, за идущими впереди арестантами.

Всѣхъ погнали на пароходъ.

Когда всѣ были уже на суднѣ, то ихъ размѣстили по громаднымъ люкамъ, и арестанты снова начали размѣщать свои вещи. Черезъ нѣсколько часовъ на пароходъ явился какой-то генералъ и произнесъ арестантамъ напутственную рѣчь, въ которой объяснилъ имъ, что они поступаютъ подъ власть командира судна, и что власть его надъ ними неограничена.

— Онъ вашъ царь и богъ, онъ можетъ безъ суда, по своему личному усмотрѣнію, каждаго изъ васъ въ отдѣльности и всѣхъ вмѣстѣ повѣсить, разстрѣлять и выбросить въ море; помните это и ведите себя хорошо,

останавливайте другъ друга... Ну, счастливый путь, ребята!—заключилъ онъ свою рѣчь.

— Счастливо оставаться, ваше превосходительство!—отвѣчали арестанты.

Въ тотъ же день пароходъ снялся съ якоря и выступилъ въ открытое море.

На слѣдующій день плаванья, утромъ, по приказанію командира парохода со всѣхъ арестантовъ были сняты кандалы и, благодаря этому, многіе вздохнули свободнѣе.

Плаваніе до Сахалина отъ Одессы со всѣми остановками въ различныхъ портахъ заняло около пяти недѣль. За это время изъ восьмисотъ пятидесяти человѣкъ арестантовъ умерло отъ морской болѣзни, отъ свирѣпствующихъ обыкновенно на добровольцахъ, перевозящихъ каторжныхъ, дифтерита и оспы — около 50 человѣкъ.

Но Еленка Бубелисъ перенесла плаваніе очень легко, всего два - три дня поболѣла отъ качки; ей тяжелѣе всего приходилось въ дорогѣ отъ неимовѣрной жары во время слѣдованія черезъ тропики и особенно когда пароходъ слѣдовалъ черезъ Суэцкій каналъ и Красное море; здѣсь она, дѣйствительно, порядкомъ-таки помучилась.

Особенно пріятное впечатлѣніе произвело на Бубелисъ за дорогу не волшебная природа тропическихъ странъ, не красота моря, не красота ночного неба подъ тропиками... Нѣтъ!—Неотразимое впечатлѣніе произвели на нее морскія похороны и она съ какимъ-то

страннымъ удовольствіемъ всегда вспоминаетъ о нихъ и разсказываетъ. Когда она описываетъ бѣлый мѣшокъ съ зашитымъ въ него трупомъ и баластомъ, когда она описываетъ, какъ его кидаютъ за бортъ, и какъ онъ въ волнахъ, оставляемыхъ винтомъ парохода, раза по три, по четыре „стоймя“ подымается до половины вверхъ, то глаза ея горятъ лихорадочнымъ блескомъ, и на лицѣ ея выражается нескрываемый восторгъ. „Вотъ живого бы человѣка такъ бросить,—обыкновенно заканчиваетъ она этими словами свой разсказъ, — антересно бы посмотрѣть было!“...

Прибывшая на Сахалинъ партія въ посту Александровскомъ была освидѣтельствована врачемъ и, по распоряженію начальника округа, 450 человѣкъ арестантовъ были сняты съ парохода и оставлены въ Александровскѣ, а остальныхъ пароходъ повезъ въ Корсаковскъ.

Въ Корсаковскѣ, куда попала и Еленка Бубелисъ, вся партія была заключена въ большой баракъ, родъ сарая, носящій названіе карантина. Въ этомъ карантинѣ арестантовъ продержали ровно недѣлю и, наконецъ, къ нимъ явился свидѣтельствовать ихъ окружный врачъ. Свидѣтельствованіе онъ произвелъ съ пятаго на десятаго, и вслѣдъ за этимъ всѣхъ ихъ собрали толпой и, подъ присмотромъ двадцати солдатъ мѣстной команды и двухъ

тюремныхъ надзирателей, погнали вдоль берега по направленію къ пристани, а потомъ свернули направо и повели пустынной, почти не застроенной улицей вглубь острова.

Съ версту отъ берега всѣхъ остановили около высокаго, полуразвалившагося забора; привратникъ открылъ ворота, и ихъ ввели во дворъ тюрьмы.

Вскорѣ на тюремный дворъ прибылъ начальникъ округа — маленькій, горбатенькій, худой и сѣденькій старичокъ съ звѣрскими глазами, Ланинъ, и необыкновенно тучный, громаднаго роста начальникъ корсаковской ссыльно-каторжной тюрьмы Шилкинъ.

Началась сортировка арестантовъ.

На нѣкоторыхъ приказано было сейчасъ же одѣть кандалы и наручни, другимъ еще приковывали къ наручнямъ тачки, а многихъ оставили совсѣмъ „раскованными". Женщинъ помѣстили въ особый баракъ.

Еленку Бубелисъ сильно поразило то обстоятельство, что выходъ и входъ съ тюремнаго двора за ограду былъ для арестантовъ и арестантокъ совершенно свободный. „Ай, да важно,—подумала она,—совсѣмъ не то, что въ Россіи; да здѣсь и помирать не надо, а тамъ то стращали Сахалиномъ!" И Еленка на радостяхъ, что почувствовала себя на свободѣ, пробродила по Корсаковску почти цѣлый день и еле-еле, да и то случайно совсѣмъ, поспѣла въ баракъ на вечернюю повѣрку.

На слѣдующій день, проснувшись рано по-

утру, она услыхала отъ своихъ товарокъ новость: разсказывали, что сегодня на тюремномъ дворѣ будутъ устроены всѣмъ бабамъ смотрины, „пріѣдутъ за ними мужики, будутъ брать въ сожительницы къ себѣ,“ радостно разсказывали ей нѣсколько женщинъ.

И дѣйствительно, часовъ въ десять утра всѣхъ арестантокъ выгнали на тюремный дворъ и выстроили, какъ солдатъ, въ одну шеренгу, и передъ ними одинъ за другимъ молодцовато проходили мужики.

Каждый изъ мужиковъ останавливался у какой-либо изъ женщинъ и заявлялъ тюремному надзирателю, что онъ беретъ ее себѣ; тюремный надзиратель записывалъ имя и фамилію мужика и бабы, и коротко отвѣчалъ каждый разъ: „завтра возьмешь“.

Еленку Бубелисъ взялъ послѣдній, потому что больше уже и бабъ не было кромѣ нея. Ее рѣшился взять себѣ въ сожительницы пожилой, хлипкій мужиченко Митрофанъ Нефедьевъ. Еленка посмотрѣла на него съ презрѣніемъ и подумала. „Ну, ужъ, и буду же я дуть тебя, дурака стараго!..“

Она была вообще очень недовольна, что досталась въ сожительницы такой „слякоти“, но ее утѣшила сразу вѣсть о томъ, что Нефедьевъ очень богатый мужикъ.

На слѣдующій день на дворѣ корсаковской тюрьмы творилось, буквально, что-то невозможное: тутъ былъ слышенъ и смѣхъ, и пошлыя шутки и раздирающій душу плачъ нѣ-

сколькихъ женщинъ, умоляющихъ оставить ихъ въ тюрьмѣ на какія угодно тяжелыя работы, только не отдавать ихъ въ сожительство.

— Батюшка, отецъ родной, — валяясь въ ногахъ у начальника тюрьмы, молили двѣ женщины,—заступись за насъ, Богомъ обиженныхъ, не дай погибнуть намъ окаяннымъ... Скажи слово твое начальническое, чтобы насъ оставили здѣсь... Подъ землю пошли насъ работать, приковать къ тачкѣ закажи, только не отдавай на поруганіе насъ съ робятишками малыми... Отецъ родной, мужъ съ Рассеи ужъ за мной ѣдетъ сюда, за что жъ семью мою губить будешь?.. Ну, хоша ради ихъ-то, дѣтокъ моихъ несчастныхъ, жалѣючи ихъ-то хоша, закажи оставить меня здѣсь пока мужъ съ Рассеи пріѣдетъ. Сдѣлай милость Божескую... Не губи ты меня съ робятишками... Не лишай отца ты ихъ бѣдныхъ на вѣки вѣчныя!..

Обѣ женщины громко рыдали; одна изъ нихъ рвала на себѣ волосы и ударяла себя по головѣ кулаками; а за ними въ голосъ ревѣли пятеро ребятъ, прижавшись къ своимъ матерямъ дрожащими пальцами.

Тучный начальникъ тюрьмы, осклабясь глядѣлъ на бабъ и, какъ паровозъ, сопя носомъ, нараспѣвъ говорилъ имъ:—Глупыя вы бабы, работъ здѣсь подземныхъ нѣтъ, если бы я захотѣлъ исполнить ваши просьбы, то и тогда, значитъ, я бы не могъ этого сдѣлать; а, что

касается до вашихъ мужей, что вы говорите, они ѣдутъ сюда за вами, такъ чтожъ съ того? пускай ѣдутъ, вамъ же лучше будетъ, а пока вы поживите съ тѣми парнями, которые васъ взяли къ себѣ... У васъ изъ этого ни убудетъ нисколько, наоборотъ, еще какъ бы не прибавилось черезъ ихъ старанія чего!—и разражаясь гаденькимъ смѣхомъ, онъ прибавлялъ имъ потомъ наставническимъ тономъ:—здѣсь, вѣдь, красавицы мои, каторга, а не богадѣльня, и, стало-быть, надо дѣлать у насъ не то, что захочется, а то, что велятъ... Такъ-то, мои милыя!.. Ну, благослови васъ Господи, идите, идите съ Богомъ!.. чьи это бабы? Забирай ихъ, кто хотѣлъ взять къ себѣ,—высокой фистулой выкрикивалъ Шилкинъ.—Это твоя баба, развѣ?.. А?.. такъ, такъ молодчина!.. А эта—твоя?.. ну, ладно, ладно... Ну, ребята, смотри не зѣвай!.. ровно черезъ девять мѣсяцевъ, чтобы меня крестить къ себѣ звали... бабы у обоихъ здоровыя, сочныя!..

Еленка Бубелисъ, увидя Митрофана Нефедьева, пришедшаго за ней въ тюрьму, уже не обдавала его на этотъ разъ презрительнымъ взглядомъ, она питала къ нему даже нѣкоторое уваженіе. А когда она вошла полчаса спустя къ нему въ домъ, находящійся въ Корсаковскѣ же, то даже подумала, что Митрофана можно и полюбить.

Домъ Митрофана Нефедьева былъ полной чашей; у него всего было вдоволь: и скотинки,

и птицы разной домашней, и корма для всѣхъ нихъ, и провіанта разнаго для себя, и даже всевозможнаго варенья и соленья, а въ погребкѣ, подъ поломъ его огромнаго дома, находились богатые запасы водки, спирта, пива, настоекъ и наливокъ. Кухня была полна всевозможной посудой, а въ комнатахъ была, какъ у господъ, „небель“, и на окнахъ висѣли чистенькія шторки и даже тюлевыя занавѣски.

При видѣ всего этого на Еленку даже нахлынулъ какой-то странный приливъ нѣжности и, стараясь придать своему голосу какъ можно больше ласковыхъ нотокъ, она обняла Митрофана Нефедьева за талью своей громадной ручищей и хрипло пробасила: „Сталобыть, Митроша, мы будемъ съ тобой жить теперь, какъ мужъ съ женой?.. Да, вѣдь, Митрончикъ, да?.. А ты не будешь меня обижать?“ Но задавъ ему послѣдній вопросъ, она уже не могла удержаться отъ смѣха, у него было въ это время такое глупое и потѣшное лицо, что она такъ и раскатилась на весь домъ дикимъ хохотомъ.

Митрончикъ тоже разсмѣялся вмѣстѣ съ нею, но онъ смѣялся не потому, что ему было смѣшно, а потому, что чувствовалъ уже непреодолимый страхъ передъ Еленкой и старался ей угодить.

Еленка этого хотя и не поняла, но какъ-то почувствовала и рѣшила воспользоваться своимъ выгоднымъ положеньемъ.

— А хлипкій ты братъ, Митрончикъ!.. Я,

поди, однимъ пальцемъ тебя, какъ муху, раздавлю,—засмѣялась она, и такъ давнула Нефедьева, что у него даже ребра хрустнули, и онъ слегка вскрикнулъ.

— Да, ты у меня, слава Богу, здоровая!— сказалъ онъ, а самъ въ то же время подумалъ: „Ну, пришелъ мой конецъ... Эта какъ ударитъ, такъ и духъ вонъ“.

— Да, Митрончикъ, мотри,—какъ бы угадывая его мысли, продолжала между тѣмъ Еленка, выходя съ нимъ на дворъ, и съ этими словами она подошла къ боченку съ известью, вѣсившему около пятнадцати пудовъ, слегка крякнула, потомъ обхватила его обѣими руками, подняла и совершенно свободно, не торопясь, прошла до противуположнаго конца двора, а потомъ вернулась обратно и поставила его бережно на прежнее мѣсто.

— Да!—могъ только протянуть растерявшійся Митрончикъ, а потомъ прибавилъ еще:—поди у насъ во всемъ округѣ ни одинъ мужикъ не подыметъ этакую тяжесть.

Еленка ни слова не отвѣтила на это, а только опять во всю глотку расхохоталась. А у Нефедьева такъ и упало опять сердце, и на душѣ сдѣлалось тоскливо, тоскливо.

Черезъ два мѣсяца жизни съ Еленкой, Митрофанъ Нефедьевъ перевелъ все свое движимое и недвижимое имущество на ея имя.

Онъ положительно трепеталъ передъ своей грозной сожительницей и исполнялъ, какъ святыню, всѣ ея малѣйшіе капризы и же-

ланья. Слово ея было для него закономъ, а тяжеловѣсные кулаки—кара за непослушаніе въ первые дни жизни и праздное развлеченіе подвыпившей сожительницы послѣ его окончательнаго порабощенія.

Нефедьевъ, проходя мимо Еленки, каждый разъ читалъ про себя: „Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его", но иногда молитва не помогала—Еленка все же награждала его тяжеловѣснымъ ударомъ. Увертываться отъ ея ударовъ онъ не смѣлъ, потому что зналъ, что это разсердитъ ее еще больше и ему за это будетъ всыпано еще здоровѣе, а сносить побои ему становилось уже не подъ силу.

Спросить Еленку, за что она его бьетъ онъ тоже боялся: „Еще пуще, поди, разсердится,—а не спросить тоже плохо,—потому такъ никогда не отдѣлаешься отъ ея побоевъ, коли ежели самъ не догадаешься, какъ потрафлять ей надо!"

Два мѣсяца Митрофанъ былъ въ такомъ затруднительномъ положеніи,—и молчать тяжело, и спросить боязно,—такъ что, наконецъ, поборолъ себя и спросилъ Еленку обо всемъ.

— Скажи мнѣ, Бога ради, Еленушка, по что ты серчаешь на меня такъ постоянно,—набравшись духу какъ-то заговорилъ онъ съ нею.

Еленка, по своему обыкновенію, въ отвѣтъ на его вопросъ расхохоталась только дикимъ голосомъ и уже размахнулась на него кула-

комъ, чтобы всыпать ему хорошенько, но вдругъ остановила свою руку, и нѣжно обнявъ его за талью, сказала:

— Митрончикъ, коли правду тебѣ сказывать, такъ бью я тебя потому, что больше жизни своей полюбила, а сама-то въ твоей любви къ себѣ не увѣрена; все приходитъ мнѣ на умъ, что ты меня бросишь, да возьмешь себѣ другую бабу... Вотъ, коли, ежели бы ты отказалъ на бумагѣ мнѣ все свое добро, что у тебя есть, тогда бы я покойна была, и тебя никогда бы пальцемъ больше не тронула.

— Господи, Еленушка, неужели жъ это такъ? — обрадовался Нефедьевъ,—да ты бы давно мнѣ сказала сама!—И черезъ два-три дня Нефедьевъ все перевелъ на ее имя. Но это на повѣрку тоже не помогло, Еленка не „поливала“ его только эти два-три дня, а сдѣлавшись хозяйкой всего добра его, принялась снова за старое.

Нефедьевъ опять собрался съ духомъ и заговорилъ съ нею опять совершенно такъ же, какъ и прошлый разъ, но теперь уже Еленка, расхохотавшись дикимъ голосомъ, размахнулась на него кулакомъ и уже не сдержала своей руки, и всыпала ему очень здорово, и притомъ еще прибавила. „Что самъ-то не понимаешь что ли, за что я сержусь? Да за то, что ты, балда старая, не околѣваешь до сихъ поръ, вотъ за что! Что мнѣ самой объ тебя, эфіопа такого, руки пачкать что ли?..“

И только тутъ Нефедьевъ понялъ какъ его

любила Еленка Бубелисъ и зачѣмъ она его била.

Она достигла своего,—отъ постоянныхъ ударовъ въ грудь и спину у него началось кровохарканіе, и онъ день ото дня таялъ, какъ свѣча.

Но еще нѣсколько дней и онъ уже не вставалъ съ постели и ничего почти не ѣлъ.

Войдя какъ-то утромъ въ комнату Нефедьева, Еленка застала его въ какомъ-то странномъ положеніи: глаза у него были широко вытаращены, ротъ полуоткрытъ, какъ у сонной рыбы, выброшенной на землю, и онъ часто, часто дышалъ.

— Что, околѣваешь?—спросила его Еленка.

— Еленушка, прости... прости Га... — Нефедьевъ не договорилъ, рука его, которою онъ хотѣлъ перекрестить ее, плетью упала внизъ, изъ груди его вырвалось протяжное хрипѣнье, его словно подбросило всего на кровати, и вдругъ онъ пересталъ дышать и затихъ.

Еленка равнодушно подошла къ нему и пощупала его сердце:—оно не билось.

Продажная.

Звали ее Наташкой.

Это было маленькое, тщедушное существо, вѣчно грязное, вѣчно растрепанное; платья на Наташкѣ, всегда рваныя, висѣли, какъ на огородномъ чучелѣ; ноги ея постоянно были обуты или въ теткины изношенные башмаки, или въ дядькины громадные смазные сапожища безъ подошвъ, съ необъятно-длинными и широкими голенищами.

Лицо у Наташки было блѣдно-лимоннаго цвѣта; свѣтло-голубые глазки ея были окружены темно-синей каймой и такъ глубоко сидѣли въ ея личикѣ, что придавали ему видъ измученный, усталый, болѣзненный Жиденькіе, блѣдно-желтые волосы ея неровными прядями выбивались изъ-подъ ея платка на усѣянный веснушками лобъ.

Съ головнымъ платкомъ Наташка никогда не разставалась; это была ея любимая вещь; она чуть ли даже не спала со своимъ платкомъ на головѣ.

Наташкѣ было пятнадцать лѣтъ, но на видъ ей можно было дать не больше одиннадцати—двѣнадцати.

Родилась Наташка въ Россіи; мать ея, произведя ее на свѣтъ Божій, черезъ часъ умерла, а отца у нея совсѣмъ не оказалось, потому что покойная была дѣвицей и, слѣдовательно, мужа не имѣла; словомъ, родилась Наташка по какому-то неизвѣстному ей недоразумѣнію.

Мать Наташкина жила въ домѣ своей родной сестры и потому, когда она умерла, новорожденная осталась на шеѣ своей тетки.

Правда, что прежде чѣмъ оставить дѣвочку у себя, тетка все село „перекопала", отыскивая виновника ея рожденія; наводила она вездѣ самыя точныя справки, но ничто не помогло,— такъ его и не отыскала.

Ударилась тогда тетка Параскева къ знахаркѣ:

— Такъ и такъ,—говоритъ,—случилось у меня горе такое, родилась дѣвчурка, а отца ейнаго не знаю, и отыскать его не могу...

— А откеда ты будешь?—спросила ее знахарка.

— Да съ Заметаевки.

— Съ Заметаевки?—переспросила та.

— Ну, да, съ Заметаевки!.. тридцать верстъ отседова: сперва Косицыно будетъ, потомъ Возерное, а потомъ...

— Знаю, знаю,—перебила ее знахарка, и принялась шептать что-то на ковшъ съ водой.

— Ну, доподлинно сказать тебѣ не могу, красавица, кто отецъ рабенка твово, только сказываетъ вода мнѣ такъ, что родилось дите отъ дяди не то Миколая, не то Микиты...

Вотъ, стало быть, и ищи теперичка такого! А больше тебѣ и сказывать мнѣ нечего!

Какъ услышала тетка Прасковья это, такъ и ахнула.

— Мать Ты моя, Царица Небесная! — застонала она,—вѣдь Миколка же это, окаянный!.. Кому же и быть, какъ не ему, лиходѣю проклятому... Такъ и выходитъ, что онъ это все... Вѣдь на всемъ селѣ одинъ онъ Миколаемъ Микитичемъ зовется!

И вдругъ Параскеву обуяла такая ненависть къ мужу, что ей даже страшно стало.

Она стала наблюдать за Миколаемъ и чутко прислушиваться къ каждому слову сосѣдей про него. Ей вспомнилась каждая мелочь отношеній Миколая къ покойной сестрѣ, и съ каждой минутой въ сознаніи ея виновность его все болѣе и болѣе возрастала, а вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивалась къ нему и ея ненависть.

Наконецъ Прасковьѣ стало не въ моготу жить со своимъ мужемъ, и она задумала съ нимъ порѣшить.

Она стала такъ ласкова съ нимъ, какъ еще никогда, и, какъ никогда еще, стала похваляться своимъ мужикомъ сосѣдямъ, а между тѣмъ въ умѣ ея уже созрѣлъ планъ расплаты съ мужемъ, и она только ожидала наступленія у него „запойчика“.

Миколка пилъ черезъ каждые два мѣсяца дня по три, по четыре, и время его запойчика приближалось. Прасковья знала это и

приготовилась, — подъ печкой у нея лежалъ отточенный топоръ.

Она рѣшила покончить не съ однимъ Миколаемъ, но и съ Наташкой „за одно“, но въ роковую ночь, когда она подошла къ безмятежно спавшей Наташкѣ и замахнулась уже надъ ней облитымъ кровью мужа топоромъ, дѣвочка проснулась и, повернувъ къ ней головку, улыбнулась, ласково глядя на нее своими большими голубыми глазенками.

И вдругъ, въ глазахъ у Прасковьи помутилось, она уронила топоръ за спину и упала въ безпамятствѣ на полъ, подъ люльку.

Когда Наташку привезли на Сахалинъ, ей шелъ уже четвертый годъ.

Тетка Прасковья не то, чтобы любила ее, нѣтъ, но она какъ-то жалѣла ее, и незамѣтно для себя самой привыкла къ ней и даже привязалась.

Сожитель тетки Прасковьи—ссыльно-поселенецъ Щупальцевъ, Емельянъ, или, какъ его называли, Амельянъ, тоже не любилъ Наташку, видя въ ней только лишній ротъ для своего бѣднаго семейства.

Иногда онъ сердился и говорилъ Прасковьѣ:

— Вотъ, расти ее дармоѣдку, пои, корми, утробу ея ненасытную, а для ча все энто?.. Вырастетъ и будетъ животина животиной... Помяни слово мое, Прасковья, не будетъ намъ съ ее радостевъ, ни въ жисть не будетъ!

Потому какъ вижу я ее всю скрозь и карахтеръ ейный напередъ тебѣ весь разскажу, какой онъ у ей будетъ. Да!.. Будетъ дѣвка упрямая, злая, непокорная волѣ родителевъ своихъ... Мы-то съ тобой, чай, все едино для ей, что родители!.. Такъ вотъ, я сказываю, не будетъ намъ корысти съ ее... Не такъ какъ у другихъ прочихъ будетъ она дѣвка... Ни!.. У добрыхъ людей, мотри-ка ся, дѣвка въ десять лѣтъ ужъ во какъ зарабатываетъ, а энта... Да чо тутъ!.. И сказывать-то тошно... Ажъ сердце мое кровью обливается иной разъ, какъ подумаю, что всю то жизть мнѣ такое несчастье во всемъ!

— Да чего ты, словно зубъ гнилой ноешь, несчастье, да несчастье,—передразнивала тогда его Прасковья,—ничего напередъ сказать ты не можешь! Дите, какъ дите растетъ. Можетъ и не доживетъ она до десяти годочковъ-то, а можетъ и насъ съ тобой Господь приберетъ до той поры, покеда вырастетъ дѣвка, а то и вырастетъ... оно и такъ еще много будетъ...

Прасковья обыкновенно не договаривала; она не любила говорить о заработкахъ Наташки, и, дойдя до рокового слова, обыкновенно махала рукой и поднимала Наташку съ пола.

А Емельянъ сердился и долго ворчалъ послѣ этого.

Человѣкъ онъ былъ пожилой; вообще, мужикъ это былъ смирный, но ужъ очень ворч-

ливый; на работу онъ былъ лѣнивъ, сильно любилъ поспать и всегда жаловался на „болѣсти“, кромѣ того, онъ былъ вѣчно пьяненькій. Лѣтъ ему было около пятидесяти.

Жизнь всѣхъ троихъ шла на Сахалинѣ необыкновенно однообразно—сегодня, какъ вчера, завтра, какъ сегодня. Постоянно въ домѣ ощущался недостатокъ во всемъ, начиная отъ денегъ и кончая соломой для подстилки единственной лошаденкѣ ихней—Пѣгашкѣ; но водка у Амельяна не переводилась никогда.

Прасковья понемножку тоже начала потягивать какъ-то; сначала съ горя попробовала „баночку“—хорошо! Потомъ съ радости какъ-то пропустила—лучше! А тамъ и такъ себѣ, безъ причины дернула—и совсѣмъ хорошо вышло! Незамѣтно для самой себя она тоже „пристрастилась“ къ винцу и стала раздѣлять радости съ Амельяномъ.

А время шло и шло.

Совершенно незамѣтно пробѣжали для Прасковьи на Сахалинѣ двѣнадцать лѣтъ, и не успѣла она опомниться, какъ превратилась въ сгорбленную, беззубую старушку.

Амельянъ давно уже совсѣмъ не вставалъ съ печи—не могъ; онъ только охалъ, стоналъ, жаловался на свои „болѣсти“, ругалъ „дылду Наташку“ за то, что дармоѣдничаетъ, „сосалъ мархилевку“ и, вспоминая свои предсказанія о Наташкѣ, „скулилъ“.

— Что, не сказывалъ я тебѣ нешто, Прасковья, что не будетъ толка съ дѣвки?.. То-то!.

Вотъ оно и выходитъ, что моя правда! Глянько-ся—Сонька Монашкина съ десяти годовъ ужъ доходъ приноситъ, а нашей животинѣ шестнадцать скоро, а ни пиля съ ей не получили до сей поры!.. Сказывалъ я—непокорная волѣ родителевъ будетъ... Не то, что бы самой догадаться помощь намъ оказать, а и словъ-то добрыхъ не хочетъ слушать. Вона, чиновникъ-то эстотъ... ну, какъ его?.. хвамилію все забываю... Знаешь, чай?.. Тоже запамятовала?.. Ну, такъ вотъ: вѣдь двадцать пять цалковыхъ даетъ за ее... хорошій господинъ, дай Богъ ему добраго здоровья! Ну, что стоитъ ей, паскудѣ несчастной, согласиться-то? что стоитъ, я те спрашиваю! Такъ нѣтъ же, вѣдь, я, говоритъ, замужъ пойду!.. Вотъ какъ у насъ! Ерцогиня какая, боярышня отыскалась!.. Она замужъ пойдетъ, вишь, а на насъ, стариковъ, ей и наплевать не охота... Пропадайте, молъ, вы пропадомъ, окаянные, хоть съ голодухи околѣвайте совсѣмъ, а я, молъ, не обвязана вамъ помочь оказывать, да и весь сказъ! Такъ-то, Прасковья!.. Старая хлѣбъ-соль забывается, и за добро нынче всѣ зломъ платятъ... Э-эхъ!..

Амельянъ тяжело вздыхалъ и, поискавъ подъ подушкой рукой, прикладывалъ бутылку темнаго стекла къ губамъ, жадно глотая живительную влагу.

Въ комнатѣ нѣкоторое время слышалось бульканье, ворчанье Прасковьи, ставшей съ нѣкоторыхъ поръ солидарной съ Амельяномъ,

и тихое, сдерживаемое всхлипыванье Наташки.

Но еще немного погодя, съ палатей раздавался мѣрный храпъ Амельяна съ легкимъ присвистомъ; Прасковья взбиралась молча на палати, шарила въ свою очередь осторожно рукой подъ подушкой сожителя, доставала оттуда ту же самую бутылку, дѣлала изъ нея нѣсколько объемистыхъ глотковъ, потомъ не слышно клала ее на мѣсто и вскорѣ безмятежно засыпала рядомъ съ нимъ.

Тогда Наташка, прислушавшись къ дыханью стариковъ, вытирала грязной юбкой, ползущія по щекамъ слезы, безшумно вставала съ своего мѣста и украдкой выходила въ сѣни, а оттуда на дворъ.

На душѣ у нея было тяжело, сердце щемило и она съ тоской опиралась локтями въ стѣну избы и такъ затихала. Но это продолжалось недолго.

Наташка вспоминала Тришу, и вдругъ всю ее охватывало словно радостью какой; въ глазахъ ея свѣтилось счастье, и на блѣдныхъ губахъ появлялась улыбка. Словно опомнившись отъ тяжелаго страшнаго сна, она глубоко вздыхала и, оглядываясь вокругъ, торопливо выходила за околицу избы.

На небѣ плыветъ луна.

Зеленовато-золотистымъ свѣтомъ облила она клочекъ неба около себя и расцвѣтила пышные, волнообразные края окружающаго ее темнаго облачка; едва замѣтно мѣняются его очертанія, и мягкими переливами играетъ ра-

дуга цвѣтовъ на его прихотливыхъ изгибахъ, обращенныхъ къ лунѣ.

Словно свѣтляки, разсыпались вокругъ по небу мерцающія звѣзды; задумчиво, грустно глядятъ онѣ на землю, „и меркнутъ, гаснутъ и снова горятъ“...

Вонъ одна звѣздочка упала... Сорвалась и быстро понеслась внизъ, словно камень самоцвѣтный, брошенный невидимой рукой.

Наташка видѣла, какъ эта звѣздочка дрогнула высоко на небѣ и какъ-то вдругъ покатилась стремительно внизъ; разъ или два она вспыхнула зеленоватымъ свѣтомъ и исчезла гдѣ-то за деревьями.

„Померла чья-нибудь душа христіанская,“— подумала Наташка и набожно перекрестилась.

Ей вспомнились разсказы, слышанные ею на Сахалинѣ, о томъ, что когда звѣзды падаютъ, безпремѣнно гдѣ-нибудь на землѣ люди помираютъ.

„У каждаго человѣка своя звѣзда есть,— вспомнилось ей,—и какъ енъ,—человѣкъ,— кончается, такъ и звѣзда его обрывается на небѣ“.

„Гдѣ-то моя звѣздочка,“—окидывая небо взоромъ, подумала Наташка.

Ей стало грустно.

„И она, можетъ, скоро оборвется,“—мелькнуло у нея въ головѣ.

„Господи, Господи! зачѣмъ я родилась такой глупой, бѣдной, слабенькой!.. Ни къ чему не гожусь я, никому и въ помочь быть

не могу!.. И за что любитъ меня Триша, такую дурнушку?.. Триша, дорогой, милый... только въ тебѣ одномъ и есть моя радость... Господи, какъ я буду тебя любить, какъ я буду беречь тебя... буду служить тебѣ, чѣмъ только сумѣю... умру для тебя, коли прикажешь... Все, все сдѣлаю для тебя, только люби меня, обласкай меня сиротинушку...

Наташка незамѣтно для самой себя прошла весь поселокъ и только тогда опомнилась, когда была уже у обрыва своего завѣтнаго оврага.

Она заглянула внизъ.

Косые лучи луны обливали холоднымъ свѣтомъ его обвалившійся противоположный глинистый склонъ. Голубоватымъ матомъ дробилось лунное сіяніе на густой листвѣ молодыхъ кудрявыхъ березокъ и освѣщало дымки легкаго сѣдого тумана, клубившаго на самомъ его днѣ.

Внизу слышалось металлическое журчаніе ручейка, да изрѣдка шуршалъ кое-гдѣ песокъ, обсыпаясь по склонамъ оврага на дно.

— Триша!.. Тришечка!..—вполголоса окликнула Наташка,—здѣсь ты, милый?

— Я, Наташа,—послышался отвѣтъ снизу,—давно здѣсь, иди!..

Наташка пробѣжала нѣсколько шаговъ краемъ оврага въ сторону, потомъ прыгнула внизъ въ большую, но неглубокую выемку, образовавшуюся изъ обвала, и быстро спустилась на дно оврага.

Тришка ждалъ ее у самой подошвы склона.

— Что такъ поздно сегодня? — спросилъ онъ, помогая ей спуститься внизъ и заглядывая украдкой въ ея лицо.

— Не можно было, милый, раньше... никакъ не могла... Старики улеглись только что... А ты давно здѣсь?..

— Я-то? Во какъ давно... Пойдемъ сюда, на постоянное наше мѣсто... Неужто жъ опять нельзя? Опять торопишься?..

— Милый Триша, рада бы съ тобой душу отвести, самъ знаешь, да коли не могу я... Вѣдь съѣдятъ меня поѣдомъ дома, ежели хватятся, что ушла я... Ни за что не пошла бы, коли день безъ тебя прожить бы могла... Сядемъ здѣсь на минутку. Ну, что, какъ ты, Триша?

Наташка сѣла на поросшій травой бугорокъ и взглянула на своего жениха; тотъ тяжело вздохнулъ и примостился у ея ногъ.

Съ минуту оба молчали, повернувъ головы въ одну сторону, — туда, гдѣ сквозь клубы сѣдого тумана вспыхивали кованымъ серебромъ, подъ ласками лунныхъ лучей, звенящія струйки ручья.

— Прокляну, говоритъ,—несмѣло какъ-то началъ Тришка, не поворачивая головы къ Наташкѣ,—нѣтъ тебѣ, гритъ, родительскаго моего благословенія, чтобы съ ей (съ тобой значитъ) вѣнчаться... Крѣпокъ старикъ... и слушать не хочетъ...

Тришка на минуту замолкъ; Наташка тоже

молчала; она хотѣла было что-то сказать ему, но вдругъ, словно кто-то сдавилъ ей горло, подъ самую гортань какъ-будто что-то подкатилось, и шевелящіяся губы не издали ни единаго звука. Грудь ея судорожно заволновалась, она отвернула потихоньку лицо въ сторону отъ Тришки; по щекамъ ея поползли теплыя слезы, попадая на губы и въ слегка открытый ротъ; она не хотѣла чтобы Тришка видѣлъ, что она плачетъ и всѣми силами старалась скрыть это, но вдругъ тяжелыя подавленныя рыданья, независимо отъ ея воли, вырвались изъ ея груди.

— Наташа, а, Наташа, — всполошился Тришка, — ты чего это?.. Плюнь, глупая!... Нешто я къ тому сказываю это тебѣ, чтобы за сердце брать тебя... такъ я сказалъ только, по-просту... Сама знаешь, вѣдь,—не покорюсь старику... Вѣдь не съ имъ мнѣ жить, не въ деньгахъ его счастье мое!.. Коли, ежели, послѣ Бога, тебя, солнце мое, больше всѣхъ люблю въ свѣтѣ, стало быть... Не убивайся ты зря, краля моя!.. Потерпи малость, долго терпѣла вѣдь!.. Ну, пожди еще маленько, ей-Богу поженимся!..

Тришка обнялъ Наташку за талью и потянулся къ ней,—поцѣловать ее, но Наташка локтемъ правой руки уперлась ему въ грудь, и еще больше отвернувшись отъ него, стала лѣвой рукой быстро утирать слезы.

— Не тронь, Тришка, грѣхъ энто большой

цѣловаться до свадьбы... Слышь, не обиждай, говорю...

Тришка не сразу оставилъ ее, онъ долго не хотѣлъ ей уступить, но, наконецъ, звучно чмокнулъ ее въ плечо, какъ-то передернулся весь при этомъ, потомъ тяжело вздохнулъ, и вдругъ грузно опустился снова на землю у ея ногъ.

Наташка уже больше не плакала; она повернулась къ нему лицомъ и молча глядѣла на него своими задумчивыми, печальными глазами.

Оба молчали.

На поселкѣ, гдѣ-то неподалеку, сиплымъ голосомъ прокричалъ молодой пѣтухъ, за нимъ другой, этимъ двумъ откликнулся третій, и вскорѣ со всѣхъ концовъ села раздалось пѣтушиное пѣнье.

Легкая дрожь пробѣгала по тѣлу Наташки; она уперлась локтями въ колѣни, подобрала подъ себя руки и какъ-то вся съежилась. Ей было холодно. Нижняя челюсть ея слегка вздрагивала.

— Триша,—словно черезъ силу, вдругъ заговорила она,—пожалѣй меня, милый... Коли люба я тебѣ, бери меня—женись скорѣй... Нѣтъ — скажи прямо... Не могу я больше... силъ моихъ нѣтъ... Пропаду я, коли ежели еще ждать долго надоть будетъ...

— Краля ты моя... зорька ты моя ясная... анделъ ты жисти моей... видитъ Богъ, вотъ те хрестъ святой, не долго ждать.

— Ну, Триша, вѣрю тебѣ, вѣрю какъ себѣ самой... Только скорѣй, Триша, какъ можно скорѣй...

Наташка вдругъ порывисто встала, посмотрѣла кругомъ, потомъ положила свою руку на плечо жениха, нагнулась къ самому лицу его, пристально взглянула въ его глаза и, вдругъ, крѣпко охвативъ его голову обѣими руками, горячо поцѣловала его въ лобъ и бросилась бѣжать изъ оврага.

Сегодня въ избѣ Щупальцева, Емельяна словно праздникъ свѣтлый справляютъ, да и есть съ чего радоваться бѣднымъ людямъ,— у нихъ дорогой, завидный гость—надворный совѣтникъ Іакинфъ Пахомычъ Вермишелевъ-Колупаевъ. Онъ навезъ съ собой и для Емельяна, и для Прасковьи, и для Наташки цѣлыя горы подарковъ изъ порта К.....скаго; чего-чего не привезъ онъ: тутъ и спиртъ, тутъ и „очищенная“, тутъ и сладенькой двѣ бутылочки—одна рябиновая, другая запеканка; тутъ и ситцы—на платье Прасковьѣ потемнѣе, и на платье Наташкѣ свѣтленькій, голубенькими цвѣточками.

— Ну и добрый баринъ,—мотаетъ головой съ полатей больной Амельянъ,—пошли вамъ Господь Богъ утѣшеніе по гробъ жисти вашей, за милости ваши къ намъ, несчастнымъ...

— Дай вамъ Богъ, Царица Небесная сто

лѣтъ здравствовать,—пришептываетъ и Прасковья, суетясь у стола,—наградилъ ты насъ по-царски, благодѣтель нашъ, пошли тебѣ Господь царство небесное...

А Вермишелевъ-Колупаевъ и слушать не хочетъ ихъ благодарностей, вотъ какой скромный баринъ!

— Да полно вамъ, старички,—конфузливо говоритъ онъ,—это наша обязанность—помогать своему ближнему... Самъ Господь заповѣдалъ намъ помогать бѣднымъ... Давай-ка, бабушка, лучше намъ закусить поскорѣй, проголодался я сильно съ дороги.

— Сейчасъ, сейчасъ, все готово, благодѣтель, милостивецъ ты нашъ,—волнуется Прасковья.

И на столѣ появляется красная кэтовая икра, зеленый лукъ, малороссійское сало, молоко, творогъ, сметана, масло, яйца и хлѣбъ.

— Не взыщите, ваше благородіе, нѣтъ у насъ великатныхъ господскихъ кушаньевъ,—извиняется Прасковья передъ Вермишелевымъ-Колупаевымъ,—не побрезгуйте, ваша милость, откушать чѣмъ Богъ послалъ...

Вермишелевъ-Колупаевъ садится, а Емельянъ, Прасковья и Наташка смотрятъ на него.

— А вы-то, что же сами не сядете? — удивленно спрашиваетъ онъ.

— Что вы, что вы, милостивецъ?—бормочетъ смущенная Прасковья.

Но Колупаевъ разражается такимъ неподдѣльнымъ смѣхомъ и такъ просто самъ уса-

живаетъ рядомъ съ собой съ одной стороны Прасковью, а съ другой Наташку, что имъ и въ умъ не приходитъ больше съ нимъ спорить, и обѣ онѣ охотно уступаютъ ему.

Вермишелевъ-Колупаевъ человѣкъ галантный, онъ умѣетъ вести себя въ обществѣ, а главное съ нимъ не соскучишься, онъ во-время сумѣетъ разсказать вамъ что-нибудь интересное, во-время посмѣшить, во-время и самъ посмѣется; все у него выходитъ такъ просто, такъ естественно.

Незамѣтно для самихъ себя и Прасковья, и Наташка черезъ нѣсколько минутъ уже такъ свободно чувствовали себя рядомъ съ бариномъ, точно бы онъ и не сидѣлъ между ними.

У Вермишелева-Колупаева оказался дѣйствительно прекрасный аппетитъ, онъ съ такимъ удовольствіемъ ѣлъ, что даже не желавшая ни къ чему на столѣ притронуться Наташка, такъ и та съѣла маленькій кусочекъ хлѣба съ икрой и лукомъ, глядя на него.

Вермишелевъ-Колупаевъ налилъ ей до половины чайный стаканъ малороссійской запеканки, а себѣ и „теткѣ“ Прасковьѣ, какъ онъ выразился, по полъ-стаканчика очищенной, дядѣ же Емельяну послали на полати бутылочку со спиртомъ отводить грѣховную душу.

— Ну-съ, за здоровье дяди Емельяна,— предложилъ Вермишелевъ-Колупаевъ, поднимая свой стаканъ.

— Побойтесь Бога, благодѣтель вы нашъ,—

возопилъ въ отвѣтъ ему Емельянъ,—вамъ ли за экаго пса смердящаго пить?.. За ваше здоровьице, баринъ!..

— За ваше здоровьице драгоцѣнное, милостивецъ вы нашъ, дорогой баринъ,—разчувствовалась и Прасковья, — за ваше здоровьице!..

Прасковья чокнулась съ нимъ и потянулась къ Наташкѣ, но та не дотрогивалась до своего стакана.

— Что жъ ты, Наташенька?—спросила смущенная старуха.

— Не могу я, тетка... не въ привычку, да и голова болитъ что-то,—отвѣтила дрогнувшимъ голосомъ Наташка.

— Да полно вамъ, Наташенька,—расхохотался Колупаевъ,—вѣдь это не водка, а самое дамское вино, ей-Богу, мои ребятишки по цѣлой бутылкѣ каждый день его выпиваютъ за обѣдомъ, а жена, такъ одна, случается, двѣ выпиваетъ!—и онъ снова расхохотался. Вотъ скромная дѣвушка, а я и не зналъ, что она у васъ такая... Впрочемъ, это хорошо, но я долженъ все-таки вамъ объяснить, что это все равно, что квасъ, и голова отъ этого напитка болѣть не можетъ, а на вкусъ это очень хорошая вещь. Попробуйте, душенька, ей-Богу!..

Вермишелевъ-Колупаетъ подставилъ ей стаканъ поближе и просительно заглянулъ ей въ глаза.

— Да пей ты, Наташка, чего ломаешься,—

укоризненно замѣтилъ съ полатей Емельянъ.

— А правда это, что я не опьянѣю съ нея?—спросила Наташка у Колупаева, густо краснѣя и нерѣшительно берясь за стаканъ.

— Да, честное слово, хоть всю бутылку выпить разомъ,—отвѣтилъ ей Вермишелевъ-Колупаевъ.

Наташка поднесла стаканъ къ губамъ и прихлебнула немного. Видимо, запеканка ей понравилась, но она опять поставила стаканъ на столъ.

Вермишелевъ - Колупаевъ повернулся въ сторону Прасковьи и заговорилъ съ ней о чемъ-то.

Наташка снова взялась за стаканъ, отхлебнула еще разъ и выпила затѣмъ все до дна; въ это время, какъ бы невзначай, Вермишелевъ-Колупаевъ повернулся въ ея сторону.

— Что, понравилась?—улыбаясь, спросилъ онъ, и дрожащею рукой сталъ наливать ей еще полный стаканъ.

— Ну, теперь можно выпить и за здоровье того, кто любитъ кого,—весело смѣясь, предложилъ опять Вермишелевъ-Колупаевъ.

Наташкѣ это очень понравилось; она тоже смѣясь, взяла свой стаканъ и смѣло уже чокнулась съ бариномъ.

— Какъ вы складно сказывать умѣете,—замѣтила она, и осушила весь стаканъ до дна.

— Вкусно!.. хорошо!.. А это тоже такое же вкусное вино?—спросила она, указывая на рябиновку.

— Такое же вкусное, Наташечка,—отвѣтилъ Колупаевъ,—вотъ кончайте это, а сейчасъ будемъ пить вмѣстѣ и то,—и онъ вылилъ оставшуюся запеканку ей въ стаканъ, а самъ снова повернулся въ сторону Прасковьи и опять заговорилъ съ нею.

Наташка выпила черезъ нѣсколько минутъ и этотъ стаканъ.

— Ну, Наташенька, теперь попробуемъ и этого винца,—ласково обратился къ ней опять Вермишелевъ-Колупаевъ.

Но Наташка смотрѣла на него безсмысленными глазами и хохотала какъ ребенокъ.

— Весело, хорошо... хорошо!—какъ-то не естественно выкрикнула она ему въ отвѣтъ, покачнувшись на своей табуреткѣ и отваливаясь неожиданно спиной къ стѣнкѣ.

Вермишелевъ-Колупаевъ подмигнулъ лѣвымъ глазомъ „теткѣ“ Прасковьѣ и налилъ Наташкѣ еще полный стаканъ рябиновки.

— Пей, дѣточка, пей, мое солнышко,—подходя къ ней невѣрными шагами, заговорилъ онъ вдругъ дрожащимъ голосомъ и налилъ рябиновкой до краевъ и свой стаканъ.

— Весело!.. Хорошо!..—выкрикнула опять Наташка не своимъ голосомъ и опять прильнула губами къ стакану; она выпила все до дна и выронила стаканъ; онъ съ какимъ-то жалобнымъ звономъ покатился по полу, но не разбился, а Наташка принялась хохотать.

Глаза ея странно блестѣли, ротъ полуоткрылся, головной платокъ ея съѣхалъ ей на

плечи, жиденькіе волосы разсыпались у нея по лицу, а грудь порывисто опускалась и подымалась.

Вермишелевъ-Колупаевъ выпилъ тоже свой стаканъ; онъ тоже былъ не трезвъ.

— Дѣточка моя,—зашепталъ онъ, становясь передъ ней на колѣни,—дѣточка моя!.. люблю я тебя больше жизни... Сдѣлай ты меня счастливымъ... Полюби меня, моя радость, и я душу тебѣ свою отдамъ... Будешь ты у меня какъ куколка, вся въ шелку и въ бархатѣ ходить, будешь жить, какъ барыня, какъ принцесса!.. Обними только меня... горячо... страстно!.. рученками твоими непорочными обними меня только!.. Ахъ... А-а-а!.. Наташенька!..

Вермишелевъ-Колупаевъ застоналъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ, прижался къ Наташкѣ.

Прасковья стояла тутъ же, рядомъ; съ ея лица не сходила счастливая улыбка, и слезы тихой старческой радости сверкали на ея морщинистыхъ щекахъ.

— Милостивецъ, благодѣтель ты нашъ,— шептала она заплетающимся языкомъ,—дай Богъ тебѣ царствіе...

А съ полатей пьяный Щупальцевъ, Емельянъ, держа въ одной рукѣ до половины пустую бутылку со спиртомъ, другой рукой дѣлалъ Прасковьѣ какіе-то таинственые знаки и рычалъ, чтобы привлечь къ себѣ ея вниманіе.

— Милый, дорогой... скоро ли... скоро ли... ты Три... Три... шуточка ты моя, будешь ты

моимъ?... Люблю я тебя... Пропаду я безъ тебя,—плакала Наташка, кладя руки на плечи Вермишелева-Колупаева, а тотъ покрывалъ ея мертвенно-блѣдное лицо горячими поцѣлуями и тянулъ ее къ себѣ.

Прасковья въ замѣшательствѣ взглянула на полати, гдѣ лежалъ пьяный Емельянъ; онъ, точно обрадовавшись этому, торопливо указалъ ей на двери и махнулъ рукой—„уходи, молъ“, а самъ повернулся лицомъ къ стѣнѣ и приложилъ бутылку къ губамъ.

Прасковья торопливо вышла на дворъ и плотно прикрыла за собой дверь.

Въ избѣ воцарилась тишина; только сначала нѣсколько секундъ еще слышался прерывистый шопотъ Вермишелева-Колупаева, да на полатяхъ у Емельяна булькала глухо бутылка со спиртомъ, пока совсѣмъ неопорожнилась.

Солнце садилось за горой...

Косые лучи его обливали кровавымъ свѣтомъ тесовыя крыши Со....вскихъ избенокъ, золотили верхи стволовъ корявыхъ пихтъ и елей, румянили стволы березъ, листвянокъ и боярокъ, и превращали вверху зелень деревьевъ въ изумрудную сѣть.

Въ воздухѣ было тихо; ни одна вѣтка, ни одинъ листокъ не шелохнется.

Весь поселокъ словно замеръ въ заколдованномъ снѣ, только изъ недалекаго оврага

доносится слабое журчанье ручейка, да какіе-то неясные звуки, словно щебетаніе птички или трескъ кузнечиковъ.

На травѣ лежитъ роса.

Солнце еще не закатилось совсѣмъ, а на небѣ уже ясно виднѣется молодая луна и невдалекѣ отъ него величаво мерцаетъ зеленоватымъ свѣтомъ.

Наташка только сейчасъ поняла все, что случилось съ нею вчера; все тѣло ея болѣло, точно ее кто-нибудь избилъ, или словно по ней проѣхала телѣга; голова ея была тяжела и вся разламывалась, въ ушахъ у нея гудѣло, руки и ноги дрожали и она ощущала такую слабость, какъ-будто только что встала въ первый разъ на ноги послѣ тяжелой болѣзни.

Она поняла все; все почти припомнила, и все же не могла какъ-то повѣрить всему тому, что съ ней случилось; ей казалось, что она и понимаетъ и припоминаетъ сейчасъ все „не по настоящему“, „не взаправду“, а что это все сонъ; но когда взглядъ ея упалъ на подушку,—она увидала, что изъ-подъ кончика ея глядитъ уголокъ двадцатипятирублевой бумажки; она схватила ее, потомъ скомкала, бросила тутъ же на полъ, словно обожглась, и вдругъ со стономъ повалилась снова на постель.

— Да, значитъ, это все было; все это правда,—пронеслось у нея въ головѣ и эта

мысль словно каленымъ желѣзомъ пронизала ея мозгъ.

Наташка до боли сжала тщедушными своими рученками изможденное лицо, какъ - будто желая закрыть свои глаза навсегда и на все; горло ея сдавили спазмы, ей хотѣлось рыдать, плакать долго, громко плакать, — какъ плачутъ дѣти, но слезъ у нея не было.

И вдругъ она почувствовала, что у нея въ груди не хватаетъ воздуха; лицо ея исказилось отъ боли и ужаса, она вскочила съ кровати и на минуту замерла безъ движенья и безъ сознанья.

Когда она очнулась, рядомъ съ нею стояла тетка Прасковья; расправляя кредитку и слегка покачиваясь туловищемъ впередъ и назадъ, она хвалила Наташку „за поведеніе", говоря ей:

— Ты не чета какой-нибудь Монашкиной Сонькѣ... Мы съ тобой имъ во какъ еще нюхала-то утремъ...

Наташка смотрѣла на нее, слушала, и ничего не видѣла и не понимала.

Она думала только о томъ, что жизнь ея кончена, что для нея нѣтъ больше на этомъ свѣтѣ радостей, что теперь ей осталось только одно утѣшеніе, это—смерть...

Она вспомнила своего Тришу, свои недавнія встрѣчи съ нимъ въ оврагѣ, минуты чистой любви, раздѣленной съ нимъ, и вдругъ ей невыразимо жаль стало и себя и его: по груди ея пробѣжала судорога, все ея тѣло задрожало,

затрепетало, и изъ глазъ ея хлынули потоки горькихъ слезъ.

Она вскочила съ кровати и бѣгомъ выбѣжала на дворъ, а оттуда побѣжала къ оврагу.

Солнце, между тѣмъ, сѣло, и по небу величаво плыла молодая луна, среди бриллiантовыхъ звѣздъ,—словно королева окруженная свитой.

Мягкiй фосфорическiй свѣтъ ея обливалъ крыши и стѣны избушекъ, которыя казались теперь вылитыми изъ серебра съ чернью; деревья, сверкая вверху тонкимъ филиграномъ серебристо-матовыхъ листьевъ своихъ, кидали на землю фантастическiя причудливыя тѣни, а трава, въ освѣщенныхъ мѣстахъ, такъ и искрилась алмазами и самоцвѣтными камнями.

За оврагомъ, въ тайгѣ, пѣла какая-то полуночная птичка, да легкiй теплый вѣтерокъ едва шелестилъ листьями деревьевъ.

Наташка остановилась у обвала оврага, перевела духъ и быстро стала спускаться внизъ. Невдалекѣ она услышала звукъ шаговъ и, достигнувъ дна оврага, остановилась и оглянулась кругомъ. Въ лицо ей пахнуло сыростью, запахомъ воды и грибовъ. Легкая дрожь пробѣжала по ея тѣлу. Она хотѣла позвать по имени того человѣка, котораго любила больше своей жизни, но языкъ не повиновался ей...

И вдругъ... онъ,—ея Триша,—безъ всякаго зова ея, словно изъ-подъ земли выросъ передъ

нею. Лицо его было страшно: мертвенная блѣдность покрывало его, судорожная улыбка искривляла его губы, а глаза исказила невыразимая злоба. Онъ подошелъ вплотную къ Наташкѣ, взялъ ее обѣими руками за плечи, молча долгимъ взглядомъ посмотрѣлъ ей въ лицо и, наконецъ, подавленнымъ голосомъ, сдерживая рыданія, сказалъ ей:

— А я любилъ тебя, продажную!..

Потомъ съ силой оттолкнулъ ее отъ себя и быстро пошелъ изъ оврага вверхъ.

Наташка хотѣла его остановить, молить о пощадѣ, о прощеніи, но у нея не хватило на это силъ. Когда Тришка былъ уже наверху, у края оврага, она собрала послѣдній остатокъ своей воли и нечеловѣческимъ голосомъ крикнула:

— Триша!..

Но онъ даже не отвѣтилъ ей, а только рукой махнулъ на нее, не оборачиваясь, и скрылся у нея изъ вида.

— Триша!.. и-ша!..—два раза повторило по оврагу ея голосъ эхо и затѣмъ все смолкло; только ручей жалобно звенѣлъ здѣсь, да какая-то полуночная птичка выводила тоскливыя нотки неподалеку отъ оврага, вверху, въ чащѣ тайги.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
Надзиратель Воробей	3
Маркизъ Иванъ Кузьмичъ Ламброзо	22
Жиганъ Никуленко	44
Елка у бродягъ	62
Аѳиногоръ Ивановичъ Мокрохвостовъ	79
Поэтъ Гришка Варшавскій	92
„Монашка“	106
Выѣздъ на материкъ	131
Психопатъ	141
Въ гостяхъ	160
Ѳаддей Сапуновъ	173
Людоѣдъ	197
Бабай Ивановичъ	227
Губернскій секретарь Пупковъ	254
Съ новымъ годомъ!	276
Еленка Бубелисъ	292
Продажная	319

Изданія книжнаго склада Д. П. Ефимова. Москва, Б. Дмитровка, д. Бахрушиныхъ.

Альтенбергъ, П. „Эскизы". 50 к.
Ачкасовъ. Пѣсни русскихъ писателей о волѣ. Изд. 2-е дополненное. 75 к.
— Образцы изящной русской рѣчи. Сборникъ. 1 р.
Ауэрбахъ. Дача на Рейнѣ. Изд. 2-е. 2 р.
— Три единствен. дочери. Изд. 2-е. 50 к.
Бильзе, лейтен. Изъ жизни одного маленькаго гарнизона. 1 р.
Браунъ, Лили. Женскій вопросъ. 2 р.
Бернштейнъ. Проблемы соціализма. 1 р.
Бейерлейнъ, Фр. А. Іена или Седанъ? Романъ. 2 р.
Бурже, П. Изъ-за любви. 50 к.
— Трагическая идиллія. 1 р. 50 к.
— Дѣловой человѣкъ. 75 к.
— Призракъ. 1 р.
— Этапъ. 1903 г. 1 р. 50 к.
Бьернсонъ. Свыше нашей силы. 50 к.
Викторовъ П. Ученіе о личности. Изд. 2-е. 1 р. 50 к.
— Новый взглядъ на природу любви и брака. 30 к.
Вербицкая. Освободилась. 1 р.
— Преступленіе Маріи Ивановны. 1 р.
Вогюэ. Голоса мертвыхъ. 1 р.
— Антонъ Чеховъ. 20 к.
— Максимъ Горькій. Изд. 2-е. 30 к.
Гартманъ Эд. Современ. психологія, подъ ред. М. М. Филиппова. 2 р. 25 к.
Гауптманъ Г. Роза Берндъ. 40 к.
Герцъ. Аграрные вопросы въ связи съ соціализмомъ. 1 р.
Геффдингъ, Г. Философскія проблемы. Перев. съ нѣм. Г. А. Котляра. 50 к.
Денисюкъ. Краткій повторительный курсъ теоріи и исторіи **политической экономіи** примѣнительно къ курсу университета. 75 к.
Джеромъ К. Джеромъ. Павелъ Кельверъ. 1 р. 50 к.
Додэ, А. Первое путешествіе. 30 к.
Записки Горона. Отъ нашествія до „анархіи". Среди преступленій. 1 р.
— Мошенники высшей школы и воровскія шайки. Полиція будущаго. 80 к.
Золя. Нана. Ром. 1 р.
— Плодородіе. Ром. 1 р. 50 к.
— Трудъ. 1 р. 50 к.
Ирвингъ, В. Жизнь Магомета. 1 р.
Крестовская, М. Артистка. 2 р.
— Исповѣдь Мытищева. Вопль. 1 р.
— Сынъ и др. разсказы. 1 р.
— Ревность и др. разсказы. 1 р
— Внѣ жизни и др. разсказы. 1 р.
Кюльпе. Современная философія въ Германіи. 80 к.
Ли, Іон. Дочери командора. Ром. Изд. 2-е. 60 к.
Лухманова. Институтка. Изд. 2-е. 1 р. 25 к.
— Тайны жизни. 1 р. 25 к.
— Избранные разсказы. 1 р.
— 20 лѣтъ назадъ. 1 р. 25 к.
— Вопросы и запросы жизни. 1 р.
— Недочеты жизни современной женщины. 50 к.
Любичъ-Кошуровъ. Братъ человѣчества. 75 к.
Мясницкій И. Проказники. 1 р. 25 к.
— Гостинодворцы. Пов. 2 р.
— Милые люди. Изд. 3-е. 1 р.
— Мануфактуръ-совѣтникъ. 2 р.
— Наши ближніе. 1 р.
— Свадьба и др. разск. 1 р.
— Бѣсъ-дѣвка. 1 р.
— Омосквичился! 25 к.
— Безъ языка. Изд. 2-е. 1 р.
— Смѣшная публика. Изд. 3-е. 1 р. 25 к.
— Ихъ степенства. Изд. 3-е. 1 р. 50 к.
— Житейскія комедіи. Юмор. сб. 1 р.
— Отъ скуки. Юмор. сборникъ. 1 р.
— Струйки смѣха. Изд. 2-е. 1 р.
— Приключенія Жоржа Бантикова и Сержа Кантикова. 1 р.
— Мужья и жены. 1 р.
— Веселые разсказы. 1 р.
— Господа коммерсанты. 1 р.
— Блестки юмора. 1 р.
— Юмористическія шалости. 1 р.
— 24 юморист. разсказа. 1 р.
— Старообрядка. Романъ. 2 р.
— И смѣхъ и грѣхъ. Юмор. сб. 1 р.
— Безъ претензій. Юмор. сб. 1 р.
Метерлинкъ, М. Собр. сочин. Піесы. 1 р. 50 к.
Маминъ-Сибирякъ. Именинникъ. 1 р.
— Уральскіе разсказы, т. 4-й. 1 р.

Маминъ-Сибирякъ. Преступники. 1 р.
— Повѣсти. 1 р.
— Безъ названія. 1 р. 25 к.
— Золото. Изд. 2-е. 1 р. 50 к.
— Приваловскіе милліоны. Изд. 2-е. 2 р.
— Золотая муха и др. разск. 1 р.
— Человѣкъ съ прошлымъ 1 р.
— Вкругъ ракитова куста и др. разсказы. 1 р.

Мопассанъ. Дядя Милонъ. 60 к.
— Воскресные дни парижскаго буржуа. 1 р.

Негри, Ада. Борьба и любовь. 50 к.

Немировичъ-Данченко, Вас. Гроза. 1 р. 50 к.
— Новые разсказы. 75 к.
— Вольный Шамхоръ. 1 р. 25 к.
— Городской голова. 1 р. 25 к.
— Царица Тамара. 1 р.
— Семья богатырей. 1 р. 50 к.

Наживинъ. Дешевые люди. 1 р.

Немировичъ-Данченко, Влад. Сны. 1 р.
— Губернаторская ревизія. 1 р.
— Въ степи. 1 р. 25 к.

Нордау, М. Комедія чувства. 1 р.
— Современные французы. 1 р. 25 к.
— Болѣзнь вѣка. 1 р. 50 к.

Николаевъ, П. Ѳ. Вопросы жизни. 2 р.

Ницше, Фр. Такъ говорилъ Заратустра. Изд. 2-е. 1 р.
— По ту сторону добра и зла. 1 р.
— Сумерки кумировъ. Изд. 2-е. 1 р.
— Происхожд. трагедіи. 1 р. 25 к.
— Человѣческое, слишкомъ человѣческое. 1 р. 25 к.
— Человѣкъ, какъ онъ есть. 1 р. 25 к.
— Странникъ и его тѣнь. 1 р.
— Утренняя заря. 1 р. 25 к.
— Веселая наука. 1 р. 25 к.

Ольденбергъ. Будда, его жизнь, ученіе и община. Изд. 3-е. 2 р.

Оржешко. Аргонавты. 1 р. 25 к.
— Дымъ. 30 к.
— Открытое письмо къ нѣмецкимъ женщинамъ и французамъ о полькѣ. 40 к.
— Анастасія. 60 к.

Оствальдъ. Натур. философія подъ ред. М. М. Филиппова. 2 р.

Прево, М. Полудѣвы. Ром. 1 р.
— Послѣднія письма женщинъ. 60 к.
— Женское движеніе. 1 р.
— Счастливое супружество. 60 к.

Прево, М. Желтое домино. 50 к.
— Мелкіе разсказы. 60 к.

Пелисье. Критическіе этюды современной литературы. 1 р.

Ресслеръ, Р. Электродвигатели перемѣннаго и трехфазнаго тока. 1 р. 50 к.

Риль. Введеніе въ современную философію. 1 р.

Скопинъ, В. Средняя Азія и Индія. 75 к.

Сенкевичъ. Крестоносцы. 2 р. 50 к.
— Камо грядеши. 1 р. 50 к.
— Панъ Володыевскій. 1 р. 50 к.
— Потопъ. 2 т. 3 р.

Саловъ. Мелочи жизни. 1 р. 25 к.
— Несобравшіяся дрожжи. 60 к.
— Босоножка. 40 к.
— Три разсказа. 75 к.

Сайсъ. Хеттеи или исторія забытаго царства. 60 к.

Тагѣевъ, Бор. По Афганистану. 50 к.

Уваровъ, П. С. Типы и нравы Сахалина. 1 р. 25 к.

Фулье. Исторія философіи. 2 р. 50 к.

Флери, д-ръ. Физическое и нрав. воспитаніе ребенка. 75 к.

фонъ-Хейденфельдъ. Изъ женской жизни. По поводу Крейцеровой сонаты. Изд. 3-е. 40 к.

фонъ-Поленцъ. Крестьянинъ. 1 р. 20 к.

Шнитцлеръ. Трилогія. 50 к.
— Тетралогія. 75 к.

Шопенгауэръ. Міръ, какъ воля и представленіе. Том. 1-й 3 р. Томъ 2-й. 3 р.
— О четвероякомъ корнѣ закона достаточнаго основанія. 75 к.

Щепкина-Куперникъ. Мои стихи. 1 р.
— Ничтожные міра сего. Изд. 3-е. 1 р.
— Незамѣтные люди. Изд. 3-е. 1 р.
— Письма издалека. 1 р.
— Около кулисъ. 1 р.
— Труждающіеся и обремененные. 1 р.
— Странички жизни. 1 р.
— Счастье. Изд. 2-е. 1 р.
— Изъ женскихъ писемъ. Изд. 2-е. 1 р.
— Принцесса Греза (пер. въ стих.).
— Соч. Ростана. 1 р.
— Монна Джіованна (пер.), соч. Метерлинка. 60 к.
— Бѣдный Генрихъ (пер.), соч. Гауптмана. 75 к.
— На солнцѣ и въ тѣни. 1 р.

Японія, Корея и Манчжурія. Справочн. книга. 30 к.

Собраніе сочиненій А. КОНАНЪ-ДОЙЛЯ.

1-я СЕРІЯ.

1 т. Красное по бѣлому. Ц. 60 к. 2 т. Знакъ четырехъ. Ц. 60 к. 3 т. Приключенія Шерлока Гольмса. Ц. 70 к. 4 т. Баскервильская собака. Ц. 75 к. 5 т. Разсказы о Шерлокѣ Гольмсѣ. Ц. 70 к. 6 т. Новыя похожденія Шерлока Гольмса. Ц. 60 к. 7 т. Воспоминанія о Шерлокѣ Гольмсѣ. Ц. 60 к. 8 т. Возвращеніе Шерлока Гольмса. Ц. 60 к. Тома 9 и 10 печатаются. Цѣна по подпискѣ за 10 томовъ 4 р., съ пересылкой 5 р.

2-я СЕРІЯ.

1 т. Изгнанники, ист. ром. Ц. 1 р. 2 т. Новые разсказы. Ц. 60 к. 3 и 4 т. Торговый домъ „Гёрдльстонъ и К°", ром. (Печатаются).

Собраніе сочиненій Э. ВЕРНЕРЪ. 1-я серія.

1) Разорванныя цѣпи. Заговоръ. Ц. 1 р. 2) У алтаря. Германъ. Ц. 1 р. 50 к. 3) Цвѣтокъ счастья. Вѣстники весны. Ц. 1 р. 50 к. 4) Дорогой цѣной. Ц. 1 р. 25 к. 5) У Орлиной скалы. Ц. 1 р. 50 к. 6) Сила воли. Ц. 1 р. 50 к. 7) Въ добрый часъ. Ц. 1 р. 8) Горная фея. Ц. 1 р. 25 к. 9) Освобожденный отъ проклятія. Ц. 1 р. 50 к. 10) Герой пера. Голоса родины. Ц. 1 р. 25 к.

Цѣна за 10 т. 1-й серіи 10 р., съ пер. 11 р.

2-я серія.

1) Вольной дорогой. Ц. 1 р. 25 к. 2) Орлиный полетъ. Ц. 50 к. 3) Судъ Божій. Ц. 1 р. 4) Фата-Моргана. Ц. 1 р. 50 к. 5) Эгоистъ. Высшая точка зрѣнія. Ц. 1 р. 6) Смѣлымъ Богъ владѣетъ. Ц. 1 р. 7) Заколдованное золото. Ц. 1 р. 8) Блуждающіе огни. Ц. 1 р. 25 к.

Цѣна за 8 т. 2-й серіи 6 р., съ пер. 7 р.

За 18 томовъ 1 и 2 серіи соч. Э. Вернеръ 15 р., съ пер. 17 р.

Собраніе сочиненій ДЖЕРОМЪ К. ДЖЕРОМА.

1) Замѣтки романиста. Ц. 1 р. 25 к. 2) На лодкѣ. (Три человѣка въ лодкѣ и съ ними собака). Ц. 1 р. 3) Объ умѣніи обращаться съ женщинами. Ц. 1 р. 4) Трое на двухъ велосипедахъ. Ц. 1 р. 5) Очаровательная женщина. Ц. 1 р. 6) Праздныя мысли лѣнтяя. Ц. 1 р. 7) Міръ сцены. Ц. 1 р. 8) Дневникъ путешественника. Ц. 1 р.

Цѣна собр. соч. Джеромъ К. Джерома 5 р., съ пер. 6 р.

Собраніе сочиненій Е. МАРЛИТТЪ.

1) Тайна старой дѣвы. Ц. 1 р. 25 к. 2) Имперская графиня Гизела. Ц. 1 р. 50 к. 3) Въ домѣ коммерціи совѣтника. Ц. 1 р. 50 к. 4) Въ домѣ Шиллинга. Ц. 1 р. 50 к. 5) Вторая жена. Ц. 1 р. 6) Эльза. Ц. 1 р. 50 к. 7) Степная принцесса. Ц. 1 р. 50 к. 8) Совиный домъ. Ц. 1 р. 50 к. 9) Женщина съ рубинами. Ц. 1 р. 50 к. 10) Повѣсти и разсказы. Ц. 1 р. 50 к. За 10 т. 10 р., съ пер. 11 р.

...ки. 1 р.
...о к.
...р. 50 к.
...оны. Изд. 2-е. 2 р.
...др. разск. 1 р.
...дрошлымъ 1 р.
...атова куста и др. раз-
...р.
...Дядя Милонъ. 60 к.
...сные дни парижскаго бур-
...а. 1 р.
...Ада. Борьба и любовь. 50 к.
...ировичъ-Данченко, Вас. Гроза. 1 р. 50 к.
— Новые разсказы. 75 к.
— Вольный Шамхоръ. 1 р. 25 к.
— Городской голова. 1 р. 25 к.
— Царица Тамара. 1 р.
— Семья богатырей. 1 р. 50 к.
Наживинъ. Дешевые люди. 1 р.
Немировичъ-Данченко, Влад. Сны. 1 р.
— Губернаторская ревизія. 1 р.
— Въ степи. 1 р. 25 к.
Нордау, М. Комедія чувства. 1 р.
— Современные французы. 1 р. 25 к.
— Болѣзнь вѣка. 1 р. 50 к.
Николаевъ, П. Ѳ. Вопросы жизни. 2 р.
Ницше, Фр. Такъ говорилъ Заратустра. Изд. 2-е. 1 р.
— По ту сторону добра и зла. 1 р.
— Сумерки кумировъ. Изд. 2-е. 1 р.
— Происхожд. трагедіи. 1 р. 25 к.
— Человѣческое, слишкомъ человѣческое. 1 р. 25 к.
— Человѣкъ, какъ онъ есть. 1 р. 25 к.
— Странникъ и его тѣнь. 1 р.
— Утренняя заря. 1 р. 25 к.
— Веселая наука. 1 р. 25 к.
...льденбергъ. Будда, его жизнь, ученіе и община. Изд. 3-е. 2 р.
...ржешко. Аргонавты. 1 р. 25 к.
— Дымъ. 30 к.
— Открытое письмо къ нѣмецкимъ женщинамъ и французамъ о полькѣ. 40 к.
— Анастасія. 60 к.
...ствальдъ. Натур. философія подъ ред. М. М. Филиппова. 2 р.
...ево, М. Полудѣвы. Ром. 1 р.
— Послѣднія письма женщинъ. 60 к.
— Женское движеніе. 1 р.
— Счастливое супружество. 60 к.

Прево, М. Желтое домино. 50 к.
— Мелкіе разсказы. 60 к.
Пелисье. Критическіе этюды современной литературы 1 р.
Ресслеръ, Р. Электродвигатели перемѣннаго и трехфазнаго тока. 1 р. 50 к.
Риль. Введеніе въ современную философію. 1 р.
Скопинъ, В. Средняя Азія и Индія. 75 к.
Сенкевичъ. Крестоносцы. 2 р. 50 к.
— Камо грядеши. 1 р. 50 к.
— Панъ Володыевскій. 1 р. 50 к.
— Потопъ. 2 т. 3 р.
Саловъ. Мелочи жизни. 1 р. 25 к.
— Несобравшіяся дрожжи. 60 к.
— Босоножка. 40 к.
— Три разсказа. 75 к.
Сайсъ. Хеттеи или исторія забытаго царства. 60 к.
Тагѣевъ, Бор. По Афганистану. 50 к.
Уваровъ, П. С. Типы и нравы Сахалина. 1 р. 25 к.
Фулье. Исторія философіи. 2 р. 50 к.
Флери, д-ръ. Физическое и нрав. воспитаніе ребенка. 75 к.
фонъ-Хейденфельдъ. Изъ женской жизни. По поводу Крейцеровой сонаты. Изд. 3-е. 40 к.
фонъ-Поленцъ. Крестьянинъ. 1 р. 20 к.
Шнитцлеръ. Трилогія. 50 к.
— Тетралогія. 75 к.
Шопенгауэръ. Міръ, какъ воля и представленіе. Том. 1-й 3 р. Томъ 2-й. 3 р.
— О четвероякомъ корнѣ закона достаточнаго основанія. 75 к.
Щепкина-Куперникъ. Мои стихи. 1 р.
— Ничтожные міра сего. Изд. 3-е. 1 р.
— Незамѣтные люди. Изд. 3 е. 1 р.
— Письма издалека. 1 р.
— Около кулисъ. 1 р.
— Труждающіеся и обремененные. 1 р
— Странички жизни. 1 р.
— Счастье. Изд. 2-е. 1 р.
— Изъ женскихъ писемъ. Изд. 2-е. 1 р.
— Принцесса Греза (пер. въ стих.).
— Соч. Ростана. 1 р.
— Монна Джіованна (пер.), соч. Метерлинка. 60 к.
— Бѣдный Генрихъ (пер.), соч. Гауптмана. 75 к.
— На солнцѣ и въ тѣни. 1 р.
Японія, Корея и Манчжурія. Справочн. книга. 30 к.

Собраніе сочиненій А. КОНАНЪ-Д

1-я СЕРІЯ.

1 т. Красное по бѣлому. Ц. 60 к. 2 т. Знакъ четырехъ. 3 т. Приключенія Шерлока Гольмса. Ц. 70 к. 4 т. Баскерв собака. Ц. 75 к. 5 т. Разсказы о Шерлокѣ Гольмсѣ. Ц. 6 т. Новыя похожденія Шерлока Гольмса. Ц. 60 к. 7 т. Вос минанія о Шерлокѣ Гольмсѣ. Ц. 60 к. 8 т. Возвращеніе Шерлок Гольмса. Ц. 60 к. Тома 9 и 10 печатаются. Цѣна по подпискѣ за 10 томовъ 4 р., съ пересылкой 5 р.

2-я СЕРІЯ.

1 т. Изгнанники, ист. ром. Ц. 1 р. 2 т. Новые разсказы. Ц. 60 к. 3 и 4 т. Торговый домъ „Гёрдльстонъ и К°", ром. (Печатаются).

Собраніе сочиненій Э. ВЕРНЕРЪ. 1-я серія.

1) Разорванныя цѣпи. Заговоръ. Ц. 1 р. 2) У алтаря. Германъ. Ц. 1 р. 50 к. 3) Цвѣтокъ счастья. Вѣстники весны. Ц. 1 р. 50 к. 4) Дорогой цѣной. Ц. 1 р. 25 к. 5) У Орлиной скалы. Ц. 1 р. 50 к. 6) Сила воли. Ц. 1 р. 50 к. 7) Въ добрый часъ. Ц. 1 р. 8) Горная фея. Ц. 1 р. 25 к. 9) Освобожденный отъ проклятія. Ц. 1 р. 50 к. 10) Герой пера. Голоса родины. Ц. 1 р. 25 к.

Цѣна за 10 т. 1-й серіи 10 р., съ пер. 11 р.

2-я серія.

1) Вольной дорогой. Ц. 1 р. 25 к. 2) Орлиный полетъ. Ц. 50 к. 3) Судъ Божій. Ц. 1 р. 4) Фата-Моргана. Ц. 1 р. 50 к. 5) Эгоистъ. Высшая точка зрѣнія. Ц. 1 р. 6) Смѣлымъ Богъ владѣетъ. Ц. 1 р. 7) Заколдованное золото. Ц. 1 р. 8) Блуждающіе огни. Ц. 1 р. 25 к.

Цѣна за 8 т. 2-й серіи 6 р., съ пер. 7 р.

За 18 томовъ 1 и 2 серіи соч. Э. Вернеръ 15 р., съ пер. 17 р.

Собраніе сочиненій ДЖЕРОМЪ К. ДЖЕРОМА.

1) Замѣтки романиста. Ц. 1 р. 25 к. 2) На лодкѣ. (Три человѣка въ лодкѣ и съ ними собака). Ц. 1 р. 3) Объ умѣніи обращаться съ женщинами. Ц. 1 р. 4) Трое на двухъ велосипедахъ. Ц. 1 р. 5) Очаровательная женщина. Ц. 1 р. 6) Праздныя мысли лѣнтяя. Ц. 1 р. 7) Міръ сцены. Ц. 1 р. 8) Дневникъ путешественника. Ц. 1 р.

Цѣна собр. соч. Джеромъ К. Джерома 5 р., съ пер. 6 р.

Собраніе сочиненій Е. МАРЛИТТЪ.

1) Тайна старой дѣвы. Ц. 1 р. 25 к. 2) Имперская графиня Гизела. Ц. 1 р. 50 к. 3) Въ домѣ коммерціи совѣтника. Ц. 1 р. 50 к. 4) Въ домѣ Шиллинга. Ц. 1 р. 50 к. 5) Вторая жена. Ц. 1 р. 6) Эльза. Ц. 1 р. 50 к. 7) Степная принцесса. Ц. 1 р. 50 к. 8) Совиный домъ. Ц. 1 р. 50 к. 9) Женщина съ рубинами. Ц. 1 р. 50 к. 10) Повѣсти и разсказы. Ц. 1 р. 50 к. За 10 т. 10 р., съ пер. 11 р.